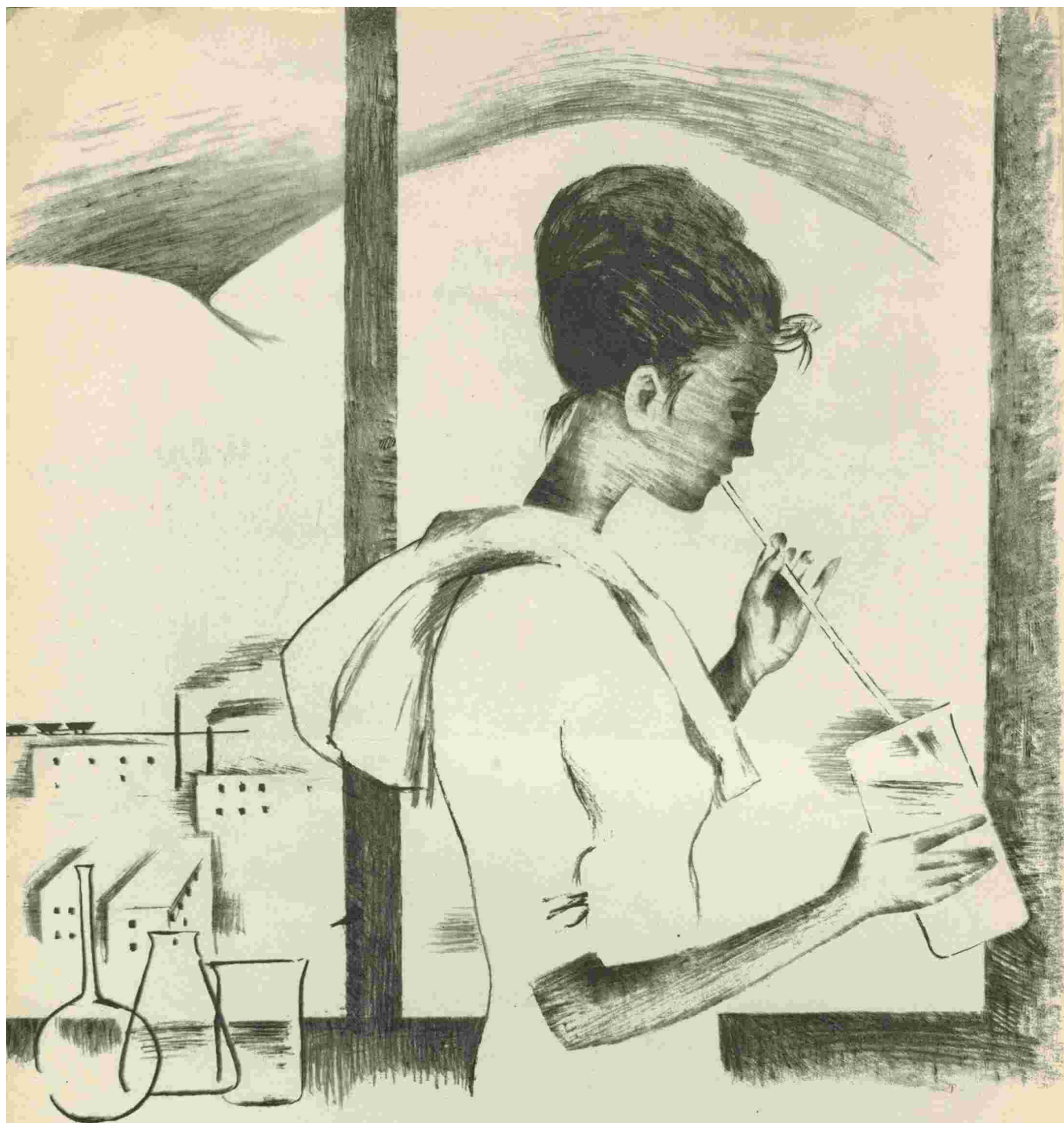




ЮНОСТЬ

12

1968



К. НАЗАРОВ.

Хозяйка лаборатории.

Автолитография из серии «Большая химия».

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания
четырнадцатый

12

(163)

ДЕКАБРЬ
1968

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА

• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

● ПРОЗА

- Владимир АМЛИНСКИЙ. Жизнь Эрнста Шаталова. Повесть (Послесловие Бориса Полевого) . . . 2
- Юрий АНТРОПОВ. Роевник дедушки Ераса. Рассказ . . . 23
- Сергей ЛЬВОВ. Друг моего детства. Рассказ . . . 33
- Борис КАЗАНОВ. Афоня. Рассказ . . . 43
- Александр СИЛЕЦКИЙ. Обыкновенный уникум. Иронический рассказ . . . 50

● ПОЭЗИЯ

- Евгений ВИНУКОВ. Кама. 1941. Настроение. Рабле. Омар Хайям. Абсурд. Я понимаю... . . . 20
- Юстинас МАРЦИНКЯВИЧУС. В это утро. Из летних впечатлений. Каникулы. «Ты, что идешь и проходишь...». Гром, елка и портной. Почти серьезно. (Перевод с литовского Ю. Левитанского) . . . 21
- Леонид ХРИЛЕВ. «Маша, будь умницей...». «Года из памяти восходят чередой...». Багульник . . . 31
- Тамара НЕВСКАЯ. «Мы горожане. Мы привыкли так...». Поют протяжно плотгоны. «Я разучилась находить грибы...» . . . 32
- Дмитрий ГОЛУБКОВ. Осенние прогулки. «Дождя конец. Опять смуглеют лица...». «Наука уходить. Уменье в срок...». Женщине . . . 42
- Николай РЫЛЕНКОВ. «И сам бы я хотел забыть...». «Не затем ли бродил я по дебрям лосиным...». «Как пчелы летят к цветам медоносным...» . . . 59

● ПУБЛИЦИСТИКА

- Егор ЯКОВЛЕВ. Такой вот старик . . . 60
- Ф. МАХОВ. Каникулы в «ТОС» . . . 65
- С. ЕЗЕРСКИЙ. Прогулка на Волково . . . 72
- Анастас МИКОЯН. Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год). Из воспоминаний (Продолжение) . . . 79

● НАУКА И ТЕХНИКА

- Виктор ТРОСТНИКОВ. А может быть, вы математик? . . . 91

● ТЕАТР

- Юлиу ЭДЛИС. Возраст таланта (Заметки драматурга) . . . 55

● СРЕДИ КНИГ

- Маленькие рецензии и аннотации . . . 74

● ПОЧТА «ЮНОСТИ»

- Продолжаем разговор о профессии . . . 76

● ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

- * Семнадцатилетний комиссар. * Юрий ИВАНОВ. Любимый стул «папы Хэма» . . . 97

● СПОРТ

- Борис МАЙОРОВ. Три дня в Гренобле . . . 100

● «ПЫЛЕСОС»

- Марк ЗАХАРОВ. Садовый участок. Рассказ . . . 106

- Содержание журнала «Юность» за 1968 год . . . 108

● НА СТЕНДАХ «ЮНОСТИ»

- Д. САРАБЬЯНОВ. Шестеро из Армении . . . 112

ПОПРАВКА

Текст на третьей странице обложки в № 11 «Юности» за этот год следует читать:

«И. Очаури. Пироманишвили. (Чеканка). По залам выставки произведений изобразительного искусства, допущенных на соискание Государственных премий СССР 1968 г.».

На 1-й — 4-й страницах обложки рисунки художника Л. ХАЙЛОВА.

И. о. художественного редактора И. Оффенгенден.

Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52, тел. 255-17-83.

Рукописи не возвращаются.

А 00510. Подп. к печати 22/XI—1968 г. Формат бумаги 84 × 108¹/₁₆.

Объем 12,18 усл. печ. л.

17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 000 000 экз. Изд. № 2230. Заказ № 2471.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

Владимир
Амлинский



ЖИЗНЬ ЭРНСТА ШАТА- ЛОВА



ПОВЕСТЬ

Рисунки М. Лисогорского.

Подымаюсь по лестнице крепкого, довоенного московского дома, звоню в дверь, где живет Эрнст Шаталов. Звоню и жду, а на душе предчувствие тяжкого и, может быть, бесполезного свидания и разговора. Тишина. Никакого движения там, в квартире, за дверью. Жду, не уйду, потому что знаю: хозяин всегда дома...

Наконец резковатый голос спрашивает: «Кто?» Отвечаю, и дверь открывается сама. Вхожу в сумрачную по-вечернему квартиру, тот же голос говорит: «Раздевайтесь, пожалуйста». И кажется, что это не человек, а какой-то прибор, который сам открыл дверь и теперь велит раздеваться и указывает, куда идти. Я раздеваюсь, иду неловко, жестко, скрипя половицами в тихой, безжизненной квартире. Вхожу в комнату, слегка зашторенную, чистую, небольшую. И вижу человека...

— Садитесь, пожалуйста, — сказал он, торопясь и как бы смущаясь. — Пусть вас не стесняет... Вот это кресло придвиньте сюда. Знаете, некоторые, когда приходят ко мне, чувствуют себя не в своей тарелке... Их, видно, травмирует мое состояние. А меня уже мое состояние не травмирует. Я привык, а они не привыкли... — Так говорил этот человек, торопливо, нервно, резким, сильным голосом, который я уже знал и к которому еще не привык.

— И, знаете, по первому шагу, по первому звуку уже чувствую, что они думают обо мне, и даже знаю, придут еще или нет.

Он был один — странный хозяин этой квартиры.

Никого: ни родных, ни общественников, ухаживающих за прикованным к постели человеком, никого — просто хозяин, дружелюбно и вместе с тем напряженно и изучающе глядящий на меня. Отчего же я отвожу глаза? Оттого, что инстинктивно не хочу обидеть его любопытством, оттого, что еще не нашел себя, не знаю, что говорить и как держаться, оттого, наконец, что я стою, а он лежит, и в этом пропасть между нами. И чем я могу ему помочь? А если ничем помочь, так зачем я здесь?..

— Очень многие не приходят снова. И действительно, тяжело со мной общаться. Да, тяжело, — повторил он, и это уже звучало не иронически, не с издевкой, а печально, потухше. Потом он замолк, видимо, утомившись от этого нервного всплеска, и в комнате стало тихо, видимо, так же тихо, как час назад, как десять часов, как год или три, как бывало по девятнадцать-двадцать часов в сутки, когда он был не с людьми, не с гостями и не с врачами, а только лишь с самим собой. Поэтому, видимо, и возникала внутренняя не совсем уже поддающаяся контролю потребность говорить вот так горячечно, нервно и с обидой...

Я вспомнил его письмо ко мне:

«Приходите, если будет возможность, если найдется время. Мне нужно поговорить с вами по очень важному вопросу».

По важному вопросу...

Он лежал на металлической высокой кровати. Рядом стоял пульт управления — кнопки, которые он нажимал для того, чтобы открыть дверь или включить приемник, или дать сигнал, чтобы зашли. Эта техника была в его распоряжении. Руки еще слушались его; пальцы обладали силой, они могли чуть напрячься, нажать кнопку, потом другую, третью... Вот и все, чем он владел.

Впрочем, как я узнал впоследствии, кнопку вызова он нажимал редко: старался не беспокоить людей. Длительные и точно рассчитанные отрезки дня он находился один. Скажем, с девяти до часу, по-



том заходит брат, вернувшийся из института. Он дома с часу до пяти. Потом придет мать с работы.

Он уже тренирован, и в этом отрезке времени он спокойно существует один, посторонняя помощь ему не нужна. Да еще много отрезков времени, много длительных отрезков, когда он один: ночи, рассветы, когда человек вдруг просыпается и, забыв о болезни, хочет встать... И еще много, много этих отрезков, из них можно сшить целую жизнь, более долгую, чем нормальное человеческое существование.

— Да, я написал вам по важному вопросу. Вы, наверное, подумали: будет что-нибудь просить. Все они, калеки, инвалиды, что-то просят... Разве не так?..

— Так это и понятно, что просят,— говорю я.— Кому же просить, как не им?

— Да... Но я ничего не прошу. Чего мне просить? Чтобы ноги ходили, чтобы руки слушались? Чего? Никто не поможет мне, нет такой силы, чтобы помогла мне... Если только бог. Но его-то как раз и нет. Я ведь абсолютный чемпион среди себе подобных. Я лежу уже десять лет, а последние годы не могу повернуться на бок... А все остальное мелочь... детали. Все остальное у меня есть: новейшее достижение техники, средства информации и зрелища на дому, телевидение и автоматика и даже средства сигнализации, в чем вы могли убедиться. Вот, пожалуйста! — Он приподнял восковую, гладкую руку, слабо повел ею, указывая на старенький телевизор первого выпуска, радиоприемник, тоже пятидесятих годов, по-моему, «Рекорд», и грубовато сработанный, самодельный пульт управления, позволяющий ему

без посторонней помощи открывать дверь. И тут я подумал, что ему, отделенному от мира и лишённому всего, почти всех радостей естественной человеческой жизни и пытающемуся в какой-то степени компенсировать это, именно ему хорошо бы было иметь — впрочем, не то слово, — полагалось бы иметь новейший, большой телевизор, приемник с проигрывателем, обладающий стереозвуком. То ли он прочитал мою мысль, то ли протестующее выражение уловил на лице, но он сказал:

— Да, мне действительно ничего не нужно. Я ведь не преувеличивал. Конечно, все это небогатая аппаратура, ну да работает, и изображение есть и звук. Так что меня устраивает, а на другое возможности нет. Болезнь ведь не только кровь, она и деньги высасывает. И не об этом разговор. А разговор здесь о другом... Да и никакого, собственно говоря, специального разговора. Это, может, для привлечения, просто чтобы вы подумали, что важное какое-то дело, и поскорей пришли. Ну, а если точнее, то дело, может быть, вот в чем.

Он задумался надолго, а может, просто устал, и вот тут-то я посмотрел на него впервые, впервые в упор и пристально. Руки лежали, сложенные на простыне, по-покойнички. Голова была стрижена ежиком, лоб высокий, сильные, резкие брови, щеки одутловатые, опухшие, опухшие очень, ненормально — от постоянного лежания. Теперь глаза. Есть величайшая банальность писать о так называемых «живых глазах». Человек весь болен, разбит, слаб, глаза только у него живые. О глазах Эрнста мне сейчас было трудно судить: он закрыл их то ли от усталости, то ли в раздумье. Я спросил негромко:

— Вы устали?

— Да нет, — сказал он, не открывая глаз. — Я думаю, и вот о чем... У нашего брата, у таких вот неподвижных, часто спрашивают: чувствуете ли вы себя одиноким? Спрашивают иногда журналисты, если этот человек привлёк чем-то внимание, спрашивают иногда знакомые, родственники. Ну, что ли, на откровенность тянут. И такие, как я — впрочем, таких-то совсем мало, можно сказать, единичный случай, — ну, в общем, коллеги мои, неходячие, отвечают: нет, не чувствуют себя одинокими, потому что вокруг люди, друзья. Отвечают так и врут. Впрочем, неправильно сказать «врут», это слишком грубо. Не врут, а не хотят обнажаться, не хотят и в этом обнаруживать неполноценность. И действительно не чувствуют себя одинокими в тот момент, когда работают, или читают, или разговаривают с людьми. Только все время не может человек работать и читать, есть еще много часов, когда он просто лежит и думает. И мало кому он расскажет эти свои думы. Может быть, никому и никогда.

Эрнст открыл глаза. Я еще раз внимательно посмотрел на него. Глаза были выпуклые, карие... и живые. Да, и тут не придумаешь ничего другого и не скажешь иначе, пусть банально, но все другое будет неправдой. У этого неподвижного человека со скрещенными на простыне руками все было нарушено, изломано, исковеркано болезнью. Она переехала его, как танк, втоптала в землю, в простыни, в кровать, в неподвижность. Только ясный мозг не задело ничто, и он излучал свое свечение, работал с неистребимой силой, с горькой остротой, со сверхнагрузками, с полным и удивительным ощущением своей несоразмерной телу силы, мобильности, отточенности, с недоверчивым, но уже привычным ощущением своего бессилия.

И глаза были карие, выпуклые, страждущие, иронические и такие жи и в ы е.

Сейчас я поделюсь наблюдением, возникшим в первый день и укрепившимся во все дальнейшее время нашего знакомства. Это о том, как разговаривает Эрнст. Говорил он с паузами. То прилив, то отлив. То возбуждение, острый, почти физически мною ощутимый, как при гипнозе, контакт с мгновенной реакцией не только на мою фразу, но, кажется, на самое ее зарождение, на мысль, которую она вот-вот должна оформить. Правда, я не преувеличиваю... Локатор какой-то был в этом человеке... Пульсация тока, нервного излучения становилась столь явственной — возможно, оттого, что нервы были обнаженными проводами.

Но наступали вдруг глухие паузы. Спады. Все обрывалось на полуслове, он уходил, угасал... Паузы эти были разные. То просто усталость, и тогда он лежал тихо, покойно, с прикрытыми веками, как бы остудив, заморозив на мгновение слово и мысль, перегорающую от переизбытка, от непосильного напряжения. То, вспомнив о чем-то или ощутив вдруг бездну, о которой я мог лишь догадываться, он замыкался холодно, безучастно, иногда, как мне казалось, враждебно. И почти всегда в эти минуты, после очередного спада, он начинал говорить вяло, с огромным усилием, глаза его не сразу обретали блеск, живость. Казалось, шла внутренняя борьба, что-то болезненно и сокрушительно сталкивалось в нем, какой-то мускул характера напрягался и сжимал ядрышко раздражения, сжимал и раздавливал, как щипцы орех; ядрышко, а может быть, маленькая опухоль не определяла его настроение, он умел подавить, загнать это внутрь, а отчего это проявлялось, порой было так понятно, так удивительно понятно.

И были еще другого рода паузы, когда он неразборчиво бормотал что-то, как бы слегка, вполголоса напевая...

Я сначала пугался. Мне порой чудилась какая-то психическая аномалия. Только потом я понял, что просто он бормотал строчку из стихов или напевал вдруг один ритм какой-то вспомнившейся ему, мелодии. И если стихи он читал почти шепотом, неразборчиво, неясно, то такт мелодии он воспроизводил с удивительной музыкальностью и точностью. Так однажды из этой голосовой невнятицы, похожей на шорох настраиваемого приемника, прозвучали несколько тактов из фильма «Восемь с половиной».

Заметив удивление на моем лице, он сказал:

— Фильма я, конечно, не видел, а музыку передавали однажды по радио, и я запомнил ее. Вообще во всех фильмах Феллини одна и та же мелодия, с некоторыми вариациями. Так вот я ее запомнил и положил на нее слова из стихов. Догадываетесь — из каких?

— Не знаю. Стихов много.

Он откинул голову и, прося глазами, прочитал:

— «Жизнь моя? Иль ты приснилась мне?» Помни-те?

— Конечно. — В моих ушах звучал оборванный такт мелодии из фильма. Это была прощальная мелодия. Все кончается. Прощальная цирковая мелодия. Цирк уезжает. Куда? Неизвестно. В другой город. В какой еще, не знаем сами. До свидания. До свидания — с кем? С вами, со зрителями, но не только с вами. И с собой тоже, с представлением, которое отжило свое и устарело, с городом, где мы были, с мнимым волшебством, с минутным обманом, с блеском, с игрой в счастье, в праздник, в парад-алле, в абсолютную гармонию жизни. Но это только

одна тема... А что же еще? А еще прощание с юностью, с дебютом, с восторгом удачи, прощание с верой в чудо, в счастливую звезду, в победу. Да, прощание, но все равно знаем и верим: ничто не кончилось; знаем и верим: будет. Верим во все: и в успех, и в музыку нашу, даже в серебро и золото на картоне, даже в папье-маше и в трюк... И еще во что?.. Да, еще в мгновение, которое остановилось, — ты прекрасно! В ту женщину, с которой сегодня последний вечер и, по правде, уже никогда, уже все, жизнь развела, но знаем и верим: встретимся, и все начнется опять. — Жизнь моя? иль ты приснилась мне?»

Вот такой был смысл этой мелодии, так она для меня звучала. И все это имело свой фон, почти необъяснимый фон черного неба, южных звезд, теней, тревоги ожидания. А какой фон виделся ему? Что в нем пробуждала эта музыка горестноторжественной кавалькады, мотив юности, внезапно нахлынувшей, но уже нереальной?

— А ты думаешь, мне нечего вспомнить? Конечно, меньше, чем другим, но зато все памятнее и острее. Я ведь не всегда такой был. Я мог ходить, сидеть, бегать, прыгать, играть в футбол. Я все мог, я был как все... Только я это не ценил, да как ценить — это было ведь нормально! Человек же не может ценить, что он дышит. Вот когда он заболит астмой, он поймет, что это за божий дар — дышать, тогда он и начнет вспоминать, как ему чисто, легко дышалось. Так вот, я был, как все. Кончилась война. Мне было двенадцать лет... Ах, как было скучно и как хорошо! Как нам завтраки в школе выдавали бесплатно, два пирожка с картошкой и кисель. После урока гоняем в футбол консервную банку или тряпичный мячик, девочек видим только издали. Раздельное обучение! Собственно, даже не видим, зачем нам их видеть, мы их и не замечаем. Зачем нам девочки, я их замечать стал только в пятнадцать, в Крыму, когда я уже был на костылях.

Поздно я, понимаешь, их заметил... Я ведь не знал, что всю мою остальную жизнь буду воспринимать только два вида женщин: тележенщин и женщин-врачей. В тележенщин я влюбляюсь иногда, а потом меняю свое увлечение: сегодня дикторша из первой программы, потом какая-нибудь из передачи «Для дома, для семьи» или театральная обозревательница... В общем, ты понимаешь, я ветреный мужчина. Ну, а с женщинами-врачами мы слишком давно знакомы, чтобы как-нибудь воспринимать друг друга... Но сейчас я не об этом. Все у меня, значит, было хорошо. Семья была редкая, не разорвана ни войной, ни разладом. Родители мои метростроевцы. Нас, детей, двое: я и брат Мишка.

И вдруг все у меня перевернулось. И страшно перевернулось, так и нарочно не выдумалось. И началось все как-то неправдоподобно просто. Играл с ребятами в хоккей, вдруг один как саданет клюшкой, нечаянно, как говорится, в борьбе за мяч, и я падаю на лед. Лежу, испугался, думал, сломалась нога. Ребята игру прекратили, тот, который ударил, стоит надо мной, лицо у него белое, как наш лед. Полежал я, полежал, потом встал. Доковылял до дому. Два дня пролежал, нога опухла. Пошел к врачу, надели гипсовый сапожок... Прошла неделя, сняли, сделали рентген голеностопного сустава. Как будто ничего не нашли. И снова жизнь вошла в колею. Прошел месяц, другой. Началась весна, уже хоккей был забыт, после уроков гоняли в футбол на пустыре после школы. Две стопки учебников на земле — это штанги, мяч не тряпичный, а настоящий, только тертый в играх, почти лохматый, один на два класса. И я гоняю футбол, стучу по воротам, забиваю свои

голы. Мне еще пятнадцати нет — где тут быть осторожным!

И снова удар по той же самой ноге, и снова хирург, гипс уже надолго, и вот я уже не игрок, а болельщик. Теперь я смотрю из-за ворот на играющих, сижу на портфеле, кричу, подаю советы и не знаю, что не играть мне в футбол уже никогда, да и сидеть за воротами тоже осталось недолго. Нога болит, боль ползет вверх к бедру, постепенно отвоёвывает еще один участок тела, потом другой, ползет неуклонно и страшно, как танк, подминает гипсовую защиту. Меня водят к врачам, сначала к районным, потом к консультантам, затем к доцентам и, наконец, к профессорам. К самым главным профессорам, которые единственные. Никто из моих одноклассников не знает таких странных слов, которые не сразу и выговоришь: «деструктивные изменения», «сакрилеит», «артрит». Привыкаю к полумгле рентгеновских кабинетов, к подсвеченным лицам врачей-рентгенологов, к ласковому шепоту сестры: «Поближе, сюда ножку, вот так, чуть повыше колено...» А потом разговор врача с мамой, разговор озабоченный и вместе с тем успокаивающий, потому что врач говорит: костных деструктивных изменений нет.

А эти слова я уже знаю наизусть и уже понимаю, что когда изменений нет, то это хорошо. Постепенно я отрываюсь от своей школы, от ее интересов и дел, теперь половина моей жизни — это очереди к врачам, а вместо моих одноклассников я вижу таких же напуганных ребят с мамами, ждущих приема. Я почти наизусть выучил надписи на стенах: о гриппе, о немытых овощах, о собаках, разносящих инфекцию. Я уже различаю платные и бесплатные поликлиники, знаю, что в бесплатных с тобой разговаривают коротко и деловито, а в платных долго, с подробностями и сочувствием... И в тех и в других стены с диаграммами, с гриппом и немытыми овощами. Ох, как скучно мне! Но ничего не поделаешь. Так и шло время, так и не было понятно, отчего все-таки болит нога, хотя и нет в ней никаких изменений. Консультанты, доценты, профессора... Ортопеды, травматологи, рентгенологи, курортологи не приходили к единому выводу. Одни находили признаки артрита, другие — левостороннего сакрилеита. И вот наконец меня везут в Соколы, где меня должна принять профессор Антонина Юрьевна Лурье¹, крупнейший специалист по костному туберкулезу. Помню ожидание, ощущение, что сейчас все это выяснится, узкий, как пенал, кабинет, худенькая, маленькая женщина, которая сильными пальцами мнет и гладит мою спину, велит пройти по кожанате, слушает дыхание, долгим, ничего не выражающим взглядом рассматривает снимки. Она спрашивает, болел ли я пневмонией. Мать отвечает за меня: болел. Она снова глядит на снимки, на меня, обдумывает и наконец, качнув головой, произносит: «По всей вероятности, это коксит. Надо срочно ехать на юг, в Евпаторию».

3

И вот я еду в Евпаторию, без путевки, но с жалостным личным письмом к главврачу санатория. Я еду один, без провожатых, по просьбе родителей соседи по купе приглядывают за мной. Впервые еду на юг. Выхожу на станциях, жду последнего гудка. Когда он раздастся, прихрамывая, иду по перрону, прыгаю на ходу. Я еще не забыл старые времена, когда люди не садились нормально, когда они прыгают на ходу, потому что эти люди — маль-

¹ Некоторые имена и фамилии в повести изменены.



чики. Часами смотрю на поля, где тонкие закопченные деревца полезающей полосы, читаю красные надписи на откосах: «Миру — мир».

И вот я в Евпатории. Я еще не дошел до санатория, не отдал главврачу просительное рекомендательное письмо, не определился на лечение. Но вот море — я его вижу в первый раз. И я ставлю на землю чемодан, прошу кого-то поглядеть за вещами и иду в море. Плавать я умею по-собачьи, сильно лупя ногами по воде. Но здесь не надо сильно, не надо по-собачьи... Здесь оно само мягко и тяжело трогает тебя, и ты чувствуешь его запахи — соли, солнца, глубины, и оно само несет тебя дальше от берега, от черного цвета к зеленому, от зеленого к синему и от синего к солнечному, голубому. Впереди качается флажок. Я не понимаю его назначения, я не знаю, что это предел, и думаю: дай-ка я доплыву до этого флажка. Руки и ноги движутся ритмично, складно: раз, два, — я еще никогда так не плыл; снова раз, два — никакого коксита; раз, два — я здоров, как бык, а если что и есть, так я лягу на волну, купанью разок, другой, и все пройдет само собой. И почему-то вспоминается фраза, где-то слышанная или прочитанная: «Пройдет и это».

Проходит все, кроме этого.

Я принят в санаторий после хлопот, упрасиваний, после долгого, мучительного изолятора. Живу здесь месяц, два, три. Затем мой первый год в Евпатории. Я перехожу в следующий класс. Проходят учителя, врачи, ребята. Время проходит. Проходит все, кроме этого.

Я двигаюсь все хуже. Море теперь — воспоминание, одно из моих немногих воспоминаний. Лечат разными способами. Терплю все. Врачи мною довольны. Да и мне они нравятся. Только что у меня, они все-таки не знают. Они лечат костный туберкулез, а он не поддается, и выявляются признаки какой-то другой болезни. И вот я случайно установил, что профессор Лурье, та самая, здесь, на юге. Она консультирует в каком-то другом городе. Обращаюсь к Стенину, главному консультанту крымского облздора, он часто бывал у нас в санатории и меня, как «старичка», уже знал:

— Позовите ее сюда, пусть посмотрит.

— Трудно, — говорит Стенин. — У нее сейчас другой маршрут, другие заботы.

— Только она может помочь, — прошу я. — Она меня уже смотрела в Москве. Она и диагноз поставила. Только она мне и может помочь.

Стенин-таки уговорил ее... Приехала Антонина Юрьевна, осмотрела нескольких ребят, в том числе и меня. Сидела долго у моей постели, смотрела рентгеновские снимки, листала историю болезни. История огромная — тома и тома. И где-то вначале, в первых московских томах — попробуй разыщи, — запись ее рукой: инфекционный коксит — диагноз, который идет за мной и по сей день. И так, смотрит Антонина Юрьевна, щупает мои ноги, суставы и говорит, обращаясь к нашим врачам, сопровождавшим ее:

— Нет, это не коксит. Это инфекционный полиартрит, тут и стопы поражены и коленные суставы.

Я хочу крикнуть ей: «Как же так, Антонина Юрьевна?! Ведь вы вспомните только Сокольники, три года назад, узенький кабинет, и вы так же внимательно смотрите снимки и говорите: скорее всего коксит, туберкулезное поражение левого тазобедренного сустава. Как же так?.. Ведь вы же сами сказали. И все поверили вам».

Так хочу я крикнуть, но сдерживаю себя, смотрю на нее, на профессора Лурье, губы мои пересохли. Она тоже смотрит на меня, в глазах ее как бы тень



воспоминания, ассоциация какая-то, но вот все это погасло, она скользнула по моему лицу взглядом, отвернулась к врачам, и вот они уже пошли цепочкой, она впереди, маленькая, уверенная, походкой главнокомандующего.

— Как же так?! — кричу я ей вслед, и крик раскатывается и гремит на весь санаторий. Только никто его не слышит. Никто даже не оборачивается, потому что кричу я беззвучно. А перед самым отбоем ко мне подходит Стенин, садится прямо на постель, говорит, сцепляя сухие пальцы, давая астматический кашель:

— Я-то твою историю болезни прочитал всю. Особенно внимательно московский период. И старый диагноз Лурье я видел. Рад, что ты вел себя как мужчина, что ты не устроил ей истерику. Конечно, ты мог раскричаться, никто бы тебя не осудил... Ведь Лурье не виновата. Да, не виновата. Она прекрасный диагност, эти вопросы знает идеально, насколько это возможно. Но не больше. Виновата болезнь. Да, твоя болезнь. Потому что она похожа на тысячу других, казалось бы, абсолютно таких же заболеваний, у нее аналогичная симптоматика, ее развитие совпадает с сотней других случаев... Почти. Но есть что-то отличное, маленькие, почти неуловимые отклонения. Они накапливаются с годами, и вот уже развитие идет не так, как в сотне других случаев. Четыре года назад тщательное сопоставление всех симптомов привело ее к выводу: коксит. А сейчас, за эти годы, болезнь видоизменилась незаметно и неожиданно, а с ней и диагноз. В девяноста девяти случаях она была бы права, в одном — нет. Такова медицина сегодня. И никто не виноват, что этот

один пал на тебя. Понимаешь, твое тело, про которое все вроде бы известно, оказывается загадкой. Оно таит в себе нечто, такое, чего не могут открыть и нащупать врачи. Человек не похож на другого, он только схож с другим. То же самое и болезни. Я понимаю, тебе было бы гораздо легче обвинить Лурье: она во всем виновата, она ошиблась. Это — инстинктивное желание человека обвинить кого-то в своей беде... Эту извечную особенность человека часто использовали и в историческом масштабе; когда людям худо, находят виновных, и освобожденная энергия идет на ненависть. И тебе, возможно, еще когда-нибудь захочется найти виноватого, тебе будет больно, тяжело: и вот такой-то был невнимателен, или сестра о своем думала, или что еще... Постарайся не винить. Ты разберись для себя сначала. А то обвинишь впопыхах — и боль не уменьшится, да еще тяжелее станет. Но если уж уверился и знаешь, что прав, тогда гни свое до последнего...

Так он мне говорил, с долгими паузами, глуховато, астма в нем гудела, и он как бы прислушивался к чему-то в себе, к тому инструменту, что протяжно, расстроенно хрипел в глубине его.

Он часто приходил ко мне. Не знаю, почему он выбрал именно меня. Он пришел ко мне однажды и долго молчал, постукивая палкой по полу, потом посмотрел на меня остро и как-то диковато и сказал без голоса, почти шепотом:

— Собери все силы, браток, скверную весть я тебе принес. Не хочу тебе морочить голову, врать, в доме твоём московском горе. Умер отец...

Я плакал, он гладил меня по голове. Почему я плакал при нем, почему я не скинул его руку с мо-

ей головы? Ведь это было мое горе, а я терпеть не могу, когда меня жалеют.

Когда я перешел в десятый класс, он принес мне подарок. Не книги, не что-нибудь интеллектуальное, а набор крымских вин.

— Тебе это можно... немного, ведь ты уже взрослый, десятиклассник. Давай немножко выпьем.

Мы выпили, помолчали. Голова у меня чуть закружилась, блаженно, удивительно... Так не было еще никогда. Я посмотрел в окно: море было видно и слышно, я улыбнулся и прочитал, освобождаясь от стеснения, неподвижности, от болезни, взлетая вдруг вверх, туда, где только и есть вдохновение, а значит, погибель, счастье, я прочитал стихи любимого мною поэта, полузапретного в школе, упаднического Сергея Есенина:

Любимые! Ну, что ж, ну что ж!
Я видел вас и видел землю,
И эту гробовую дрожь
Как ласку новую приемлю.

— Дурачок, — тихо сказал мне Григорий Акимыч Стенин.

— Это почему ж?

— А потому, что твоя гробовая дрожь — это дрянь, это ничто, пустота, гнилая, червивая пустота.

— А жизнь не пустота? А впрочем, у всякого своя жизнь. И вы мою не знаете и не поймете никогда. Моя — это сплошная пустота.

— Я твою не знаю, конечно, но я тоже знал пустоту. Каждый человек иногда знает... У каждого это по-своему. Ты еще маленький, ты дурачок, тебе больно, грустно, ты беспомощен, но у тебя еще кое-что есть...

— Это что же?

— У тебя есть будущее.

— Это у меня-то?

— Да, именно у тебя. У тебя есть будущее, вера, наивность, наконец. У тебя многое еще есть. И не будем меряться, кому ноша тяжелее. Оставим это штангистам, а только с этими гробовыми штучками кончай. Это пусть здоровые тешатся, с жиру. А тебе это ни к чему. Тебе надо иметь ясный ум.

— Ладно, я перемену репертуар. И жизнь хороша, и жить хорошо, а в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше! Не так ли?

— Если хочешь — так... Если б так не чувствовали себя люди хоть ненадолго, хоть на мгновение, жизнь потеряла б смысл.

— А в моей жизни и так не много смысла... Вот нам часто учителя говорят: не падайте духом, берите пример с Павки Корчагина, с Маресьева. Но это легко сказать — пример бери. К тому же и Павка и Маресьев уже что-то успели, они уже многое познали в жизни, они уже себя проявили. У Павки была революция, бои, победы, у Маресьева — авиация, война, у них за спиной были интересная молодость, здоровье, удача. Ведь болезнь накрыла их уже взрослыми. Они уже знали, в чем смысл жизни, а у меня что за спиной: начальная школа, эвакуация, барахолка, футбол на пустыре, десяток книг... Что еще? У меня еще и кости не затвердели, когда меня ударило. Единственное, что у меня осталось, — это то, как я плыл к флажку.

— К какому еще флажку? — спросил Стенин.

— К маленькому флажку в волнах. Ну да ладно. Что теперь говорить... Есенин все-таки правильно сказал: «...как ласку новую приемлю».

— Смотри, прямо всего наизусть вызубрил, — сказал Стенин. — Значит, приемлешь ее, как ласку. Это ты-то ее приемлешь?

— А кто же еще?

— А я думаю, ты все врешь. Привираешь малость. Вернее, напускаешь на себя туману, интересничает сам с собой... Ничего ты, дружок, не приемлешь, никакой гробовой дрожи, ты даже еще и не понимаешь, что это такое. Ты не понимаешь, что такое смерть. И не кокетничай со смертью, не надо с ней... Она ведь подла, так и всерьез нарваться можно.

— Ну и пусть.

— Вот ты говорил насчет учителей, которые учат: бери пример с тех-то и с тех-то. Я это тоже не совсем понимаю. Не люблю, когда тычут самыми прекрасными именами без конца. Пример человек выбирает себе сам, как судьбу, его нельзя заставить взять пример. Да к тому же нелепо все время повторять: вот и ты должен быть таким же героем. Так это просто: захотел и стал героем. Я не стану тебе это говорить. Я ведь все понимаю, понимаю, как тебе не повезло. Но ты должен усвоить: пока у тебя есть голова и сердце, ты обязан существовать не как обрубок, не как инвалид — раб своей немоги, а как личность. Как личность, которая знает то, что и другим неведомо. Пока у тебя варят мозги, мир еще принадлежит тебе и ты еще живой, кое на что способный. Ты его еще можешь перевернуть, этот мир, понимаешь?

— А надо?

— Не знаю. Тебе переворачивать, ты и подумай. Никогда ничего не надо переворачивать просто так, без необходимости.

Мы с ним замолчали, хлебнули еще по стаканчику. В огромные окна и занавешенную белым дверь просвечивало море, уже закатно-торжественное, темное. Час отбоя наступал, но никто из наших еще и не думал спать. Ведь был праздничный день окончания экзаменов. И сестры не ходили с термометрами, с порошками. Все, кто мог, сидели на кроватях, а ходячие бродили по коридорам, по палатам, смеялись, пели, громыхали костылями. Моя койка была в стороне, в закуточке. Мы со Стениным были только вдвоем. И мне вдруг послышался мотив песенки, модной тогда: «Море спит, а закат догорал, на скамейках влюбленные пары, а я счастье свое потерял на широком приморском бульваре».

После этого Стенин долго ко мне не приходил. Я спрашивал о нем, говорили: то занят, то болеет. Я по нему скучал. Мне с ним было интересно разговаривать и спорить. Я с ним часто не соглашался. Но то, что он говорил, все-таки в меня западало, и еще мне нравилось, что он говорит не то, что полагается, а то, что думает. Как-то он приехал, посидел около меня, спросил, куда я собираюсь поступать. Я сказал, что еще не знаю... Вроде бы по всем предметам занимаюсь ровно. Он сказал мне:

— В технический тебе нельзя. Нельзя рисковать. В ближайшее время ты не сможешь заниматься практической работой и должен отчетливо понимать это. Тебе надо заниматься делом, где твой инструмент — перо, бумага и книги.

Он замолчал, лицо у него было осунувшееся, серое.

— Только бумага, книги, перо и голова, — повторил он шелестящим, как бы пересохшим голосом, — и характер.

Затем он пришел через два месяца, постоял надо мной, улыбнулся, погладил легкой, теплой рукой по лбу и уехал.

Однажды весь наш персонал куда-то исчез. Это было время «мертвого часа». Как бы уже в полу-

сне я помню, что все куда-то собирались, спешили на автобус и говорили о цветах. Все уехали. Только няня одна тихо брела между кроватями.

— А где все? — спросил я у нее. — Куда уехали?

— Куд-куда, — ворчливо сказала она и помолчала. — На божье место, на кладбище. Стенина хронют.

Так кончилась моя школа. Товарищи излечивались, прощались, прихрамывая, шли к автобусам... Автобус повезет их до поезда, поезд — домой. Я оставался здесь. Стал старожилом, почти достопримечательностью. Я вырос, кровати становились мне малы. Меня переселяли на новые — пошире, подлиннее. Приезжали новые мальчишки, девочки, начинались новые дружбы. Можно много говорить о ребятах, которые здесь жили... Болезнь интересно влияет на людей. Некоторые не понимали, перед чем они стоят, что над ними нависло, и без конца капризничали, ссорились, интриговали из-за пустяков.

Другие считали себя здоровыми, плевали на все, нарушали режим, не хотели ни признать болезнь, ни примириться с ней. Третьи иступленно занимались, зарывались в учебники, в книги, а в паузы, когда они учебники откладывали в сторону и оставались наедине с собой, пугались себя, будущего, болезни... Четвертые становились добрее, взрослее своих лет, терпимее. Пятые не хотели заниматься ничем, все время просились домой, как будто дома спасение... Занятый, в общем, был колллектив.

Я часто вспоминал Стенина. Мне его не хватало. Да что там — не хватало... Мне обо всем хотелось говорить только с ним. Обо всем, что я думал и переживал. Какой он был человек? Я тогда об этом не задумывался. Уже позднее я стал анализировать. Интересный? Яркий? Мне казалось, что так. А может, я по молодости преувеличивал. В общем-то, он был неудачник, я это позднее понял. Он был способный врач, с будущим, но попал под пресс времени: война, послевоенные годы, хотел заниматься наукой, но не сумел отказаться от административной работы и все думал: потом, потом... А потом он понял, что «потом» не бывает. Но уже поздно было. И ничего изменить он уже был не в силах. К тому же еще он болел. Но если он и был неудачником, то особого рода, из тех, кого неудачи не загоняют в грязь, а, наоборот, делают в чем-то мудрее и выше. Не знаю, какой он был. Мне казалось, что он единственный. Он был незаменим. Боже, как я по нему тосковал!.. Потом эта острая тоска прошла, и осталась лишь память, да голос его, да черты лица, которые не совсем складываются в портрет, — лишь в отдельные штрихи его... И лицо это теперь мне уже ни вспомнить, ни забыть...

Я занимался много. Даже после мучительных, долгих процедур, занимался и ночами. У меня была буквально мания учебы. В 1952 году я закончил школу с медалью.

Потом я уехал из Евпатории. Что я там оставил, что взял с собой? Оставил годы, которые называются школьные. Говорят, они лучшие, даже есть вальс про школьные годы, помнишь? Так вот, оставил я позади эти самые лучшие школьные годы. Что еще? Белую палату оставил, старшего друга в крымской земле, товарищей... Товарищи мои бедовые тоже вышли на широкие просторы — «вышли» не совсем, правда, точное слово, — поковыляли они на своих костылях к иным берегам, кто как умел. Это я о своей палате говорю. Очень у нас тяжелые лежали, а из других палат уходили налегке, без ко-

стылей. Многие сейчас и не помнят, что болели. Так вот я уезжал из Евпатории. На вокзале было шумно, курортные люди прощались с теми, кто уже завтра-послезавтра перестанут быть курортниками, а станут «обычными», а я прощался с друзьями, с которыми прожил четыре года вместе. Когда поезд тронулся, я снова вдруг вспомнил, как впервые увидел море, как вошел в него и плыл до флажка. Какое оно было податливое и теплое! В первый раз я увидел тогда море.

Но если подумать хорошенько, если как следует подумать, то, наверное, и в последний. Зачем же обманывать себя?

И когда поезд тронулся, курортники остались позади, замахали платочками, а мои друзья с палками и на костылях застыли на перроне, я понял с полной ясностью и отчетливостью, что в эти края я уже никогда не приеду, что с морем я прощаюсь навсегда и что монета, которую я бросил в море, уже ничему не поможет. Даже если бы я бросил в волны свою серебряную медаль, завернутую в аттестат зрелости, — все равно ничего, ничего, ничего не поможет.

Потом началась московская жизнь, подготовка в институт. Я решил идти в университет, на филологический. Я должен был поступить во что бы то ни стало. А заниматься было трудно. Не только болезнь мешала. Люди тоже мешали.

4

Я часто думаю сегодня, уже как бы с высоты возраста, о людях, с которыми встречался. Не так уж много людей я знал, но я их всех помню. В жизни у меня не слишком много впечатлений... Что это были за люди? Мне они ведь по-особенному открывались. Моя болезнь их по-особенному освещала. Добрые они или злые, равнодушные или раздражительные? Или вообще никакие?

Были добрые. Вот говорю — добрые, а не знаю, что это значит. Вообще ли они добрые, или перед бедой чужой, из сострадания, может быть. Сострадание. Я это слово раньше не любил. Терпеть не мог. Какое-то тепловатое, хлипкое словцо. Нас приучали быть твердыми, без сантиментов, без всяких бабьих штучек, мужчинами нас приучали быть. Слезы, боль, ласка — чепуха, это не нужно мужчине. Нужна скупость в выражении чувств, даже слеза у нас особая, скупая. «Скупая мужская слеза». Теперь мне кажется, что появилась скупость в выражении чувств и в восприятии чувств. И некоторые не стали ни мужчинами, ни людьми, способными к состраданию. Оказывается, нельзя без этого самого «сострадания». Я пришел к этому не сразу. Вначале я только ощущал телом своим, клетками, что та сестра, которая перед тяжелой процедурой что-то мне скажет, ну, например, самое простейшее: «Ничего, миленький, потерпи малость, это недолго, сейчас только сделаем и отдохнешь», — лучше той сестры, которая скажет: «Давай, Шаталов, быстренько раздевайся, готовься. Побойсь давай, больных у нас много».

Обе делают процедуру профессионально. Обе умело. Но с первой легче. Она меня не только лечит, она мне сочувствует. Понимаешь, — сочувствует. Ты скажешь, это — профессиональное сочувствие. Ну и пусть профессиональное. Профессия — тоже часть человека, часть души его.

А сколько я встречал профессионального равнодушия, когда тебя лечат по обязанности, почти в виде одолжения, и ты раздражаешь своего врача



или сестру, и она даже не может, а иногда даже не хочет скрыть это! А больные зависят от них, ничего не могут сами и как бы чувствуют себя виноватыми за свою болезнь, заискивают перед сестрой, чтобы она лишний раз глянула, переменяла подушку, подошла, уколола. Разного я нагляделся в этом больничном мире. И пришел к выводу, что сострадание — великая вещь.

Вот люди, которые приходят ко мне, пишут мне поздравительные открытки, делают вид, что я такой же, как и все, и что все будет в порядке, или не делают вид, а просто тянутся ко мне, может, верят в чудо, в мое выздоровление. Вот они.

У них есть это самое сострадание. Чужая болезнь их тоже мало волнует, одних больше, других меньше. Но немало таких, которые презирают чужую болезнь, они не решаются вслух сказать, а думают:

ну зачем он еще живет, зачем он ползает! Так во многих медицинских учреждениях относятся к так называемым хроникам, хроническим больным.

Бедные, здоровые люди не понимают, что весь покой и здоровье их условны, что одно мгновение, одна беда — и все перевернулось, и они сами уже вынуждены ждать помощи и просить о сострадании.

Не желаю я им этого.

Вот с такими я жил бок о бок несколько лет. Сейчас вспоминаю об этом, как о страшном сне. Это были мои соседи по квартире. Мать, отец, дочка. Вроде бы люди как люди. Работали исправно, семья у них была дружная, своих в обиду не дадут. И вообще все как полагается: ни пьянства, ни измен, здоровый быт, здоровые отношения и любовь к песне. Как придут домой, радио на всю катушку,

слушают музыку, последние известия, обсуждают международные события. Аккуратные до удивления люди. Не любят, не терпят беспорядка. Откуда взял, туда и положь. Вещи места знают. Полы натерты, все блестит, свет в общественных местах погашен. Копейка рубль бережет. А тут я. И у меня костыли. И я не летаю, а тихо хожу. Ковыляю по паркету. А паркет от костылей — того, портится... Тут и начался наш с ними духовный разлад, пропасть и непонимание. Сейчас все это шуточки, а была настоящая война, холодная, со вспышками и нападениями. Нужно было иметь железные нервы, чтобы под их враждебными взглядами ковылять в ванную и там гнуть позвоночник, вытирать пол, потому что мокрый пол — это нарушение норм общественного поведения, это атака на самые устои коммунальной жизни.

И начиналось: если вы больны, так и живите отдельно. Что я ответить могу? Я бы рад отдельно, я прошу об этом, да не дают. Больным не место в нашей здоровой жизни. Так решили эти люди и начали против меня осаду, эмбарго и блокаду. И хуже всего им было то, что я не откликался, не лез в баталии, не давал им радости словесной потасовки. Я научился искусству молчания. Клянусь, мне иногда хотелось взять хороший новенький автомат... Но это так... в кошмарных видениях.

Автомат бы я не взял, даже если бы с ними окказались на необитаемом острове, в отсутствии народных районных судов. К тому времени я научился уже понимать цену жизни, даже их скверной жизни. И так, я молчал. Я пытался быть выше и от постоянных попыток таким и стал. А потом мне становилось порой так плохо, что все это уже не волновало меня. Меня не волновали их категории, я мыслил другими, и только когда я откатывался от бездны, я вспоминал о своих коммунальных врагах.

Все больше доставлял я им хлопот, все громче я стучал своими костылями, все труднее мне становилось вытирать полы, не проливать воду, и все нестерпимее становилась обстановка в этой странной обители, соединившей самых разных, совершенно ненужных друг другу людей, что называется коммунальной квартирой.

И я в один прекрасный момент понял совершенно отчетливо, что, может быть, самое главное мужество человека в том, чтобы преодолеть вот такую мелкую трясину, выбраться из бытовых гнусностей, не поддаваться соблазну мелочной расплаты, карликовой войны, копеечного отчаяния.

Потому что мелочи такого рода с огромной силой разъедают множество людей, не выработавших в себе иммунитет к этому. И вот эти люди всерьез лезут в дразги, в дурацкую борьбу, опустошаются, тратят нервы, уже не могут остановиться. Когда они постареют, они поймут всю несущественность этой возни, но будет уже очень поздно, уже слишком много сил отдано мышинной возне, так много зла скопилось внутри, так много страстей потрачено, которые могли бы питать что-то важное, которые должны были двигать человека вперед.

Я говорю сейчас об этом не потому, что я мудрый судия, меня самого в те годы жег мелкий, но жгучий огонь, и я немало обгорел на нем прежде, чем закалился. Закалится для того, чтобы сопротивляться большому и страшному огню, который жег меня с каждым месяцем все нещаднее.

Настроение, возникшее перед отъездом из Евпатории, ощущение моря, которое уже не вернется, все чаще охватывало теперь меня. Началось самое

катастрофическое в моем положении — потеря надежды.

Все чаще и настойчивее я стал теперь думать с холодным спокойствием, как бы отключившись от всего, заглушив биение сердца и мозга: раз так, так нечего больше цепляться за жизнь.

Тогда я еще мог двигаться. Окно было рядом, с высоты шестого этажа был виден город, мостовая и маленькие, быстро бегущие в отдалении от меня люди. Как и все люди, я боялся высоты. И все неосознанней, но настойчивей готовил себя к тому, что надо добраться до подоконника, сесть на него и повернуться спиной к окну. Нет, не нужно бросаться вниз лицом, глазами в асфальт, в удар, который, наверное, равен взрыву... Так не надо. Надо просто сползти с подоконника спиной к улице, тихо сползти, ничего не видя, не понимая. И я шел к этому окну каждый день. Каждый день по шажку. Все ближе, ближе к окну. К концу.

Мать поймала меня на этом. Не на попытке, а на настроении, на готовности к этому... Как она поняла? Помню, что не плакала, а только говорила гневно, с дрожащими белыми губами:

— Что ж ты как предатель... Мы все на тебя молимся, мы каждую минуту спрашиваем, как он, мы этим живем, борьбой за тебя, а ты как дезертир, как предатель.

Матери — они хорошие психологи. Она инстинктом поняла, чем бить... Она не стала меня упрямить, не стала говорить: жизнь прекрасна, посмотри вокруг — вот небо, вот птицы, вот друзья. Нет. Она как гвозди в мозги вбивала: предатель, предатель.

В тот день я решил для себя: на это я никогда не пойду, как бы скверно ни пришлось. Жизнь моя безрадостна? Нет, это ложь. Она мрачна, мучительна, тягостна, но она не лишена радостей. Я мыслю, значит, я существую. Да, мыслю, читаю, думаю, смотрю на людей, слушаю их или просто лежу, полускрыв глаза, и тысячи сложнейших ощущений и ассоциаций трогают меня. Значит, я живой, значит, у меня есть мой собственный мир, исковерканный, но не лишенный смысла. И, значит, я не уйду из него просто так, «по собственному желанию». Он нужен мне, а может быть, и я нужен ему. Ведь я тоже что-то могу. И, может быть, в силу своего положения знаю то, чего не знают другие люди...

Значит, надо жить.

Ну а когда мне будет нестерпимо плохо и больно, я могу дать себе минутный выход: я могу подумать об этом. Только подумать. В виде такой психологической провокации. Просто для ощущения того, что вот есть выход. Подумать и тут же в тишине услышать голос матери: «Что ж ты как предатель...».

5

О творяются двери, Эрнст слышит шаги в коридоре, поднимает глаза. Обычно он узнает своих близких по шагам. Сейчас, разгоряченный разговором со мной, он напряженно смотрит вверх и как бы ловит звук.

— Это я, шеф, — раздается молодой голос, очень похожий тембром на голос самого Эрнста. — Последней лекции не было, вот я и забежал.

Высокий мальчик входит в комнату, улыбается, а глаза озабоченные, напряженные, потому что он не знает, как здесь дела, кто пришел к шефу, не утомляет ли этот человек его, потому что он не знает,

проголодался ли шеф, не забыл ли принять лекарства и как вообще он сегодня.

— Значит, сачкуешь,— говорит Эрнст.

— Не сачкую, шеф, все законно. Петров прихворнул — нас отпустили.

Он выходит из комнаты, разогревает еду. Шефу полагается есть всегда в одно и то же время.

— Почему он называет тебя шефом? — спрашиваю я.

— Не знаю... Так уж повелось. Шеф да шеф. Могучий у него шеф, нечего сказать.

Позднее я как-то спросил об этом же у Миши: почему такая кличка? Он улыбнулся, помялся:

— Да как-то так уж привыкли.

Потом мы с ним разговорились, и он сказал мне:

— Понимаете, у нас отца ведь нет, Эрик в семье старший, вроде бы глава семьи. Без него ни мать, ни я ничего не решаем. Когда я в институт поступал, думали, гадали, какой из технических выбрать и, конечно, что шеф скажет. Или, например, какая заварушка у меня на работе — я ведь учусь и работаю, — сразу к шефу. Как быть? Или с кем подружился я, например, привожу этого парня домой, с шефом знакомлю.

Да и мать Эрнста мне рассказывала, что Миша даже интонации старшего брата перенимает...

Представьте себе ситуацию: мальчику семь лет, его брату девятнадцать. Брат болен, на костылях. Мальчик знает, что, кроме игр, беготни, солдатиков, есть еще это: дай Эрнсту, принеси Эрнсту, помоги Эрнсту. Мальчик растет, учится в школе. А старший брат ходит все хуже и хуже, все больше лежит, все чаще глаза у него неподвижны, расширены болью. В доме всегда запах больницы. Таков фон, на котором растет Мишка. Он постепенно становится нянькой: подмести, принести, взять, убрать. Движения его почти профессиональны, это движения сиделки. Он видит: мать разрывается на части — работа, болезнь Эрнста. Он знает это сизмалства. Ему не надо толковать. Он уже это понял, хотя и не без срывов. Как он должен относиться к брату? С жалостью? Да, конечно. Но не совсем так...

Кто объяснит тебе задачу, да так терпеливо и спокойно, как и учительница не объяснит? Брат. Кто соберет тебе первый твой приемник? Брат. Эрик. К кому ты прибежишь, побитый мальчишками, преданный своим лучшим дворовым корешем, не сумевший дать сдачи, отомстить? К брату. И он скажет тебе: «Дурачок, вытри сопли. Главное в нашем деле — не трухаться».

И кто еще тебе расскажет весь состав московского «Динамо», в котором они ездили в Англию после войны и выиграли две встречи при двух ничьих? И кто еще разорвет летний список для внеклассного чтения и скажет: «Ненавижу типов, которые читают книги по рекомендательным спискам. Когда они становятся взрослыми, у них даже усы не растут»? «Как не растут, разве это связано?» — растерянно спросит младший брат. «Да, это все взаимосвязано в природе», — ответит старший. И кто будет подкладывать тебе свои взрослые книги, не рекомендованные никем, только старшим братом, Эриком? И когда учеба, работа или что иное покажется тебе вдруг непосильным, невозможным, когда ты почувствуешь себя трусливым, маленьким, слабым, когда ты совершишь или кого-нибудь чуть-чуть (не всерьез) предашь, ты подумаешь о ком? О великих, которые не были таковыми? Скорее всего ты подумаешь о шефе. Почему? Да просто так, хотя он ничего такого особенного не делал. Просто ты вспомнишь, как он сдавал экзамен на филфак, как он лежал и зани-

мался. Как он переписывал свои работы, чтобы послать их педагогам. И как ждал, что педагоги приедут. И как они часто не приезжали. И как он снова ждал, что они приедут. И снова переписывал. И ночью писал что-то для себя. А утром, днем и вечером ему делали уколы и процедуры. И как он ждал друзей и как умел им прощать, если они не приходили, если забывали... И как он расставался с матерью и братом, когда его забирали в очередной раз в госпиталь, как дружески, весело прощался потому, что это ненадолго, просто еще немножко поваляется в лазарете и тогда начнет все по-новому: главное в нашем деле, Мишка, не трухаться.

И возвращался из госпиталя похуевший, обросший щетиной. И Мишка брил его, а утром, на рассвете, бежал для него в киоск за «Советским спортом», а вечером играл с ним в шахматы.

И почему-то, если Мишка читает книгу или смотрит кино и что-то его задевает, он ловит себя на мысли: а что бы тут он сказал? Как бы это ему, шефу?

Миша кормит Эрнста, уносит посуду, уходит в другую комнату. Слышно, как жужжит его электробритва. Потом он появляется, свеженький, вечерний, в белой рубашке, в галстук.

— Ты что, футбол по телику не будешь смотреть? — говорит Эрнст.

— А кто сегодня?

— Ты что, забыл? Сегодня Киев с ЦСКА. В Киеве.

— Да, действительно... Жалко.

— Чего жалко! Оставайся дома, поглядим, как наши припухают будут.

— Нет, шеф, сегодня не могу.

— Спецзадание? — говорит Эрнст.

— Может быть. Ну, пока. Я пошел... — Мишка кивает нам, ослепительный, целеустремленный и нездешний. — Мать скоро придет.

Он уходит. В окно я вижу, как он бежит, перепрыгивая через лужи, как по привычке оборачивается, смотрит на свое окно и бежит дальше. Шаг его размашист и нетерпелив.

— Весна, — говорю я.

— А как же, — задумчиво говорит Эрик. — Без этого нельзя.

6

На столике рядом с кроватью Эрнста книги, журналы, газеты. Среди пестрых тонких журналов с гимнастками на обложках, серых канцелярских тетрадок толстых журналов, среди ликующих «Советских экранов» вижу толстые тома какого-то академического, старого издания. Беру верхний том: Бенедикт Спиноза.

— Ну даешь, шеф, — говорю я.

— А что... Дней моих, как говорил Бунин, на земле осталось уже немного, вот и хочу окунуться в реку бессмертия. Не вас же мне, современных факторов на час, читать, вы приходите и уходите, попищит и притихнете, пощекочете нервы на пять минут и все, а Барух д'Эспиноза остается.

— Так вот ты как заговорил, — в тон ему отвечаю я и чувствую, что во всем этом периоде меня резанула не ирония к нашему брату, а Бунина: дней моих на земле...

— Я раньше делил книги как бы на две группы. Первая: прочесть сейчас, вторая — когда-нибудь. К первой относились периодика, нашумевшие вещи, мои собственные любимые авторы, за которыми я слежу, интересные переводные произведения. А ко второй — так называемые истинные ценности, знаешь, то, на что пишу шпаргалку в университете.

«Ограниченность позитивного взгляда энциклопедистов состояла в том...» и т. п. и т. д. В чем ограниченность — уже знаю, а почему мы все-таки их проходим, хотя они и померли бог знает когда, вот этого толком не знаю. И в голове только остаются прекрасные фамилии — Монтень, Шарль де Монтескье. И еще знаю, проходил, что задолго до них жил да был этот самый великий голландский философ-материалист Бенедикт Спиноза и что его травили. Ну травили и травили. И все я откладывал это на потом, думал: сейчас не до того. Дела, зачеты, экзамены, хлеб насущный. Отложим на потом. Но с течением времени я понял, что на потом откладывать нельзя. Как я уже говорил тебе, «потом» не бывает.

И появилась тяга к тому, чтобы немножко больше разобраться в самом себе, в этом самом странном «я», которое все время неотступно с тобой и за пределы которого так хочется иногда выскочить. И начинаешь ночами думать, думать о всякой чертовне, о себе самом, о друзьях твоих и о том самом, что так просто и понятно называется: смысл жизни. И на помощь своим бедным, уже одичавшим мозгам и своему довольно-таки куцему жизненному опыту призываешь великие умы и иные жизненные опыты. И вдруг хватаешься за башку: да ведь это я ощущал, ведь и со мной было, только я не умел это сформулировать. Как же это так, вон сколько изменилось за эти века, сколько перевернулось в мире. И «Персидские письма» Монтескье при всем своем величии уже во многом стали музейными, устарели, и общественные отношения изменились, а вот открываешь Спинозу и читаешь: «Зная, в чем состоит добро и зло, истина и ложь, и в чем заключается счастье совершенного человека, можно уже перейти к исследованию самих себя и рассмотреть, достигаем ли мы такого счастья добровольно или принудительно».

— Зная, в чем добро и зло... Он уже знает, а я еще нет. Но я тоже ведь должен это понять и прийти хоть частично к такому знанию. И тоже что-то должен оставить после себя, чтобы и мой несчастный опыт тоже хоть на капельку кого-нибудь просветил. Насчет опыта, он у меня, конечно, однообразный, но по линии испытаний я могу потягаться с кем хочешь, даже с Уриелем Акостой.

Когда я пробился сквозь университетский курс, многие удивлялись. Смотри какой упрямый! А зачем ему это? Но я-то знал зачем. Я занимался тогда изо всех сил...

Учителя, приезжавшие ко мне принимать зачеты, удивлялись, глядя на меня, бледнели и тут же хватились за ручки, чтобы, не спрашивая, поставить зачет. Не все, конечно, но были и такие... Одному я сказал: «Не надо так, из милосердия. Вы меня проэкзаменуйте сначала, я ведь кое-что знаю. Я же тут месяцами сидел над этим. Так зачем же мне теперь одалживаться?»

И он спрашивал. Я отвечал. Потом он говорил всякие слова, и извинялся, и объяснял мне, какой я сильный человек. А «сильный человек» в пятьдесят пятом году снова загремел в ортопедический госпиталь. Там был профессор Каплин. Он мне говорил: «Тебя рано загипсовали, заложили в колодки, лишили движения. Мускулы твои от всего этого за годы стали ватными... И все-таки заставляй себя, лежа, напрягать мускулы ног, будь немножко йогом, Эрик».

И я стал йогом. Утром, вечером напрягаю свои ватные бицепсы... Лежу и напрягаю. И кажется мне, что если делать так год, два, три, я встану и пойду легкой, пружинистой походкой студента, сбежавшего с лекции. В госпитале я познакомился с танцовщиком Большого театра Володей Мешковским, еще с

одним парнем, Колей, ноги у него были повреждены еще в войну. На нас троих словно бы бес нашел. Мы читали стихи, орали до хрипоты, спорили, прыгали или пытались прыгать на кроватях, нарушали дисциплину. С этими людьми мне было хорошо. Коля и сейчас бывает у меня. Его представили к награде за войну... В сумятице войны о нем забыли, обошли, а сейчас вспомнили и наградили. А Володька, который был самый счастливый и общительный человек в госпитале, великий нарушитель, умер. В мемориальный список моих друзей по санаториям и госпиталям, из которых мало кто добрался до тридцати, я вписал еще одного.

Когда я вернулся из госпиталя, мы переехали в новую квартиру. Вот сюда, около здания МПС, где работает мать. Кончилась наша мышиная война. И в том же году я засел за курсовую работу «Иностранная лексика в «Евгении Онегине»... Писал я кое-что и для себя, не знаю, как это назвать — рецензии, впечатления или, как сейчас это модно, эссе... Я еще тогда ковылял немножко и все торчал у окна, особенно весной и летом, изучил весь двор и дома рядом и всех ребят уже знал в лицо, а девчонок и вовсе узнавал по походке. В нашем дворе хорошие были девчонки, как, верно, и в других дворах, и весной, когда земля просыхала, асфальт становился серый, зернистый, они цокали, как лошадки, своими каблучками, а я стоял, слушал. Костыли были под рукой, мускулы ватные, голова вялая, расслабленная по-весеннему, и если я и стоял, то на чем-то очень вязком, как непросохший гипс.

И нету точки опоры.

Теперь я понимаю иногда людей, внезапно пришедших к религии. Это договор с самим собой, особый вид душевного компромисса, приказ самому себе: ослепнуть, не видеть правды, не думать о ней, искать выход не в своих силах и возможностях, а в некоем метафизическом духе, выдающем тебя, который один понимает твою горе и дарит тебе за это нечто. А какое это «нечто», никто не знает. Высшая радость, гармония, а скорее всего просто анестезия. Нужна точка опоры, воплощенная в ком-то конкретно, в большем, чем ты и твоё страдание. И к этому добавляется эмоциональная сторона, ты ощущаешь себя растворенным в музыке, в бестелесности, в той среде, куда не доходят мелкие житейские обиды и несправедливость, где твоё одиночество особого рода, оно не убого по-человечески, не жалко. Ты не просто один в своих четырех стенах, наедине с родственниками, от которых ты устал и которые устали от тебя; нет, тут одиночество другое — ты наедине с Собеседником, постоянным, удивительно чутким и все понимающим, тем более все понимающим, что он и есть твоё придуманное и отраженное «я».

У нас почти всегда исследуют религию как данность, как систему мировоззрения, общественно-социальный институт. Но мало подчас исследуют конкретное состояние, приведшее человека к богу, и то, что есть этот бог для него, кого он видит в этом боге, кого он сам себе придумал, но для легкости приобщил к общему, узаконенному бюрократическому богу на иконе.

Но я ведь материалист, и силы реакции во мне самом не могли одолеть сил прогресса. Мне надо было найти точку опоры в чем-то ином, и я представлял себе, в чем она, но не умел ее сформулировать. Я точно знал, что она во мне самом, в каких-то таких моих возможностях, которые больше моих невозможностей, которые сильнее моей немощи, которые могут подняться даже над тем, без чего в общем-то скучна и обделена человеческая

жизнь, как город без деревьев. Над тем, что стучат каблучки по асфальту и девушка с моего двора идет на свидание к кому-то. Идет, и не надо ей понимать, какая подспудная сила в каждом ее движении, в улыбке ее, какой мир в ней заключен, независимо от нее самой, хорошая она или плохая, и как трагичен для меня торопливый стук этих каблучков.

И я ухажу от нее в свое плавание.

Я плыву по своим морям, тону в своих глубинах, оседаю на своих мелях. Чего я ищу? Клада на дне. Зачем это все?

Поскрипываю перышком, иногда записываю свои доморощенные мысли, включаю радио, слушаю музыку, думаю, достаю с полки толстую запыленную книгу. И вот что я там читаю: «Поэтому возвращаясь к предыдущему, достоверно, что когда душе представляется нечто другое великолепнее тела, то тело не в силах вызывать такие действия, какие оно вызывает теперь. Отсюда следует не только то, что тело не есть важнейшая причина страстей...». Спиноза.

В 1958 году Эрик совсем перестал ходить. Ему было 25 лет.

7

Приходят знакомые, незнакомые, друзья. Не так уж много. Ему хочется более широкого и более глубокого общения. Конечно, они сочувствуют ему. Но у них, понятно, своя жизнь и свои дела.

Есть люди, которые приходят формально, «по поручению» и, видя, что в доме все в порядке, чисто убрано и техническая помощь не нужна, уходят, отметившись. Есть люди, которые приходят по поручению, но не формально. Так пришел Вилен, инженер авиазавода. Это он поставил коробочку с хлорвиниловым проводом. Пульт дистанционного управления. Чтсбы Эрнст не зависел ни от кого. Приходит старый преданный товарищ еще по прежнему дому, по школьным временам, Саша Быков, приносит интересные книги. Сложно с книгами. Трудно все доставать, трудно выписывать все журналы... Многое трудно. Все в семье работают... Мать, брат, да и сам Эрнст. Он пишет внутренние рецензии для «Молодой гвардии», занимается литературным редактированием для медицинских изданий, проводит стилистическую правку диссертаций на медицинские темы и помогает не только изложить мысли ясным и точным языком, но и сформулировать сами эти мысли, расположить в максимальной логической связи. Диссертанты зовут его соавтором, благодарят. В какой-то степени так оно и есть, он немного соавтор. К тому же и медицинские его познания обширны. О своей болезни он, казалось бы, мог написать докторскую.

Но доктором наук ему не быть. Ни медицинских, ни филологических. Университет пришлось бросить. Не знаю... Думаю, что на факультете могли сделать больше, чем было сделано. Преподавателям, конечно, было сложно контролировать учебу для тяжело больного, и каждый приезд для консультаций был проблематичен, стоил многих усилий, звонков, нервного напряжения. И Эрнст решил не затруднять людей. «Буду проходить свои университеты сам», — решил он.

Ему многое приходилось решать самому.

Приходят сестры и врачи, лечат как умеют, болезнь остается. Приходят преподаватели, принимают зачет, и он снова один со своими зачтенными знаниями и незачтенными, со своими планами и способностью их осуществлять, один — перед готовностью и возможностью, один — перед книгами и вялой тяжестью во всем существе, перед волей и безволием, перед ночной тишиной, перед бессонницей и рассветом, когда полагается начинать новый день.

Куда уходят эти дни, где они остаются, в каком океане несвершенного они тонут?.. Их уже не повторишь, не переиграешь — расчеты вперед производятся вслепую.

Поблескивает в комнате кварцевый аппарат, как камин в зимнем домике в лесу. Лыжи прислонены к стенам этого домика, сохнут ботинки, ноги натружены, ноги отдыхают... Но почему они так онемели: чтобы их ощутить, надо напрячь мускулы, как учил профессор Каплин. Надо напрягать их час, два, три, сколько хватит сил.

Кварцевый аппарат потрескивает, больной сам себе дает дозировку, это очень опытный больной, он знает себя не хуже, чем врачи.

Знает себя, поэтому и не слушается тех, кто говорит: покой, легкое чтение, телевизор. Ни в коем случае не перегружаться.

Обязательно перегружаться. Нельзя идти с одним лишь грузом — болезни и бессилия. Еще многое могут вместить трюмы этого человека. Оказывается, возможности его больше, чем можно было бы предположить.

Мореход сэр Чичестер, небритый, одичавший, пробивается на своем боте через океаны. Зачем этот бот? Ведь есть подводные лодки, атомные корабли, многоэтажные теплоходы. Зачем этот странный маршрут, которым ходили наши давно ислетившие предки, этот вечный маршрут на детских беспомощных кораблях? Но ведь не корабль испытывает сэр Чичестер, и не маршрут он проверяет. Что же он испытывает? Себя.

Человек входит в барокамеру. Сидит один в глупине, в одиночестве, приборы фиксируют: как он там, как его нервишки, сколько он еще потянет, сколько он еще сможет. За ним следят показания датчиков. Эти показания печатают в научном журнале: изучается способность человека перегружать себя. Наконец он выходит из барокамеры, счастливый, победивший и измученный. Теперь можно отдохнуть, прокатиться на байдарке. Можно немного расслабиться.

Сколько он был в этой барокамере? Сколько же он выдержал? Тридцать — сорок суток. Это действительно рекорд.

Барокамеры бывают разные. Одни придумывают ученые, другие — судьба... Одним срок — месяц, другим — вся жизнь.

На сколько хватит возможностей человека.

Я вспомнил однажды, что Эрик как-то сказал жестоко, грубо: «Знаешь, боюсь скурвиться». Я тогда не понял, как это он может... С какой стати, почему?

Теперь понимаю. Боялся не выдержать. Перестать быть человеком, равным другим людям, боялся, что начнет мучить других, мстить за свою беду, превращаться в мелочливую... Он иногда говорил шутя: «Ну позвони, будь человеком». Или: «Ну зайдя, будь человеком». И однажды, как приговор о ком-то: «Этот человеком не будет».

Это была формула его мышления.

Как-то он мне сказал:

— Иногда думаю, сколько же мне лет? По паспор-

ту мне тридцать пять. Но сколько же мне на самом деле? А на самом деле мне недавно исполнилось девяносто лет... Я бесконечно стар, сколько раз я уже умирал и со всем прощался, и вновь выплывал на свет божий, и сколько я всего передумал в тишине — ей-богу, этого вполне хватает на все девяносто лет. Пусть мне выдадут справку в загсе, что мне девяносто лет, и мы с тобой отпразднуем мое девяностолетие.

— А я думаю, что тебе паспорт еще рано выдавать...

— Это как, то есть? — Он помолчал, подумал, потом добавил: — А в чем-то ты прав, как это ни странно. Ты попал в точку, хотя дело не в паспорте. Я и сам иногда думаю, что мое совершеннолетие еще не наступило. Может быть, и вправду мне еще нет восемнадцати. И это потому, что я не прошел опыта нормальной, взрослой жизни, все нормальное оборвалось на отрочестве, а дальше полагалось бы: работа, семья, дети — все то, что формирует зрелого человека. Ну, впрочем, работа у меня была. И ребенок есть — это мой Мишка. Но, несмотря на это, ты прав, многого из вашей жизни я не знаю. Только могу догадываться. От этого иногда очень легко, почти нет груза ошибок, и я как папиросный коробок на волне. Я ловлю себя на множестве детских ощущений, детских обманов, часто задаю себе детские вопросы. Например, кем бы я был, если бы все сложилось не так, если бы я прожил не свои девяносто плюс восемнадцать, а нормальные тридцать пять. Какой наукой я бы занимался, и какая наука сейчас главная для людей? Может быть, скажешь — атомная физика, гори она, как говорится, синим огнем? Или скажешь — биология, генетика и все такое? Конечно, и это, но все-таки, я убежден, что не это главная наука. А главная наука сегодня, хочешь верь, хочешь нет, — педагогика. Не удивляйся. Да, да, педагогика! В широком смысле этого слова, наука о том, как превратить человеческое существо в личность, о нравственном воспитании человека. В последнее время я много об этом думаю. Я чувствую иногда, что во мне умирает педагог. Не учитель, а педагог. Это нескромно, но зачем мне сейчас скромность, если я в чем-то уверен всерьез. Возможно, я не стал бы значительным педагогом, но что из этого... Нам не хватает, с одной стороны, огромного педагогического авторитета: Ушинского, Песталоцци, Макаренко, Яноша Корчака — педагога, который заговорил бы о старых вещах с полным ощущением сегодняшнего дня и сегодняшнего человека. Но, с другой стороны, думаю, что эта нехватка еще острее — не хватает множества, именно великого множества людей с педагогическим чутьем, с интуицией, с блеском, с озорством, с даром лепить из сырого материала личность. Не хватает скульпторов. Помнишь, ты мне рассказывал историю с шапкой...

В свое время я был на суде, где судили восемнадцатилетнего парня — убийцу. Я рассказал Эрнсту об этом парне. Он убил человека из-за меховой шапки, из-за серой кроличьей шапки. Случилось это зимой. Он был пьян, поспорил и подрался с друзьями и потерял шапку. Он шел по снежному насту вдоль подмосковной железной дороги, шел озлобленный, одинокий, голова у него зябла. Потом он свернул, пошел к поселку.

Навстречу ему по тропинке двигался человек. Они встретились на лыжне, на узенькой тропке в снегу, человек был пожилой, как выяснилось впоследствии, рабочий депо.

— Шапку давай, — еще издали закричал парень и загородил ему путь.

— Какую шапку? — ничего не поняв, спросил рабочий.

— Он еще тут дуру будет ломать, — проорал парень и ударил его в живот сапожным ножом.

Рабочий стал нагибаться, но еще держался на ногах.

— Ты мне шапку, паскудина, отдашь? — вне себя кричал парень и нанес рабочему еще несколько ударов.

Рабочий упал в снег. Последние его слова были такие:

— Ты обознался, парень... Я ж тебе ничего...

Он не договорил. Наверное, он хотел добавить: «...не сделал». Он, видно, решил, что парень принял его за своего врага, за человека, с которым у этого парня серьезные счеты. Он умер, так и не поняв, что тот его убил из-за шапки.

После приговора я беседовал с этим парнем. Что я ждал от него? Жестокости? Раскаяния? Патологии? Лицемерия?

Ничего этого я не увидел. Сидел обалдевший от процесса парень. Рассказывал сбивчиво, но довольно подробно. Разговор этот я записал почти дословно.

В середине разговора он вдруг сказал:

— Я, конечно, тепарь раскаиваюсь. Я тут неправ был. Нехорошо получилось.

— Значит, ты неправ был, — тихо сказал я. — Значит, все-таки нехорошо...

Потом я спросил:

— А что же именно получилось?

— А вот то самое.

— А что именно «самое»?

Он не понимал, почему я допытываюсь, когда все досконально известно. Чего я вообще от него хочу. А я продолжал спрашивать:

— Так что же все-таки случилось?

— А то, что я его зарезал, — сказал парень. — Видите, как тут вышло, резать я не хотел, я хотел шапку взять, но он что-то придурился, будто не понимает, что мне нужно, ну я и психанул тут. И вот так все вышло.

— А что же все-таки вышло?

— А вот то, что я его ударил, — недоумевая, отвечал парень.

— А что же с ним стало?

— Ну вам же известно что. Умер он. Ну из-за этого вся и толковища.

— А что такое умер? — спросил я.

Он улыбнулся, решив, что я его разыгрываю.

— Кто ж не знает, всякому понятно: сыграл в ящичек, богу душу отдал.

— Ну, а ты как после этого будешь?

— Ну, я как! Я думаю, меня помилуют. Я, конечно, исправлюсь... Я больше таких проступков, такого хулиганства не допущу. Я и раньше такого не допускал. За мной ничего подобного не было.

— Не считая кошки. Помнишь, как ты однажды кинул в кошку ножиком.

— Да нет, это лажа. Это мне напраслину клеили. Не было такого за мной. Я кошек и собак уважаю, не как другие... Со мной в первый раз такая нехорошая случайность произошла.

На этом и закончился наш разговор.

Я пересказал его Эрнсту. Его поразило то же, что и меня. Полное непонимание убийства. Непонимание смерти. Непонимание даже того, что ему самому уготовано. Вроде бы нормальный, с восьмиклассным

образованием парень, обо всем остальном рассуждавший достаточно примитивно, но более или менее логично, в рамках нормального человеческого сознания, вполне ориентированный в навыках среды и окружающего мира, он не понимал только двух вещей: жизни и смерти. Он и всерьез считал, что совершил проступок, потому что, в общем, не ощущал, что за этим стоит. Не понимал того, что отнять жизнь.

Я помню, что говорил тогда Эрнст. Он говорил, что этот случай — квинтэссенция этической глухоты, нравственной неразвитости; но сколько пацанов и девчат, у которых это есть не в такой катастрофической степени, сколько их топчется в подворотнях, и они прекрасно разбираются в футбольных командах, в приемах самбо, в модах и видели все фильмы с разведчиком в тылу врага, но что чужая жизнь неприкосновенна, многие из них не понимают. Неприкосновенна не с точки зрения закона и наказания, а с точки зрения человеческой, и не исключено, что некоторые из них однажды могут психануть из-за шапки или из-за чего-нибудь еще и схватиться за ножичек.

Значит, на каком-то этапе его жизни, его детского существования ему не сделали прививку, не объяснили как следует некоторые вещи. То есть ему говорили: не делай так, а делай так, это нехорошо, это плохо. Но это было воспитание по поверхности. Какие-то основные нравственные принципы даже не затрагивались, и тот сырой человеческий материал, который надо было лепить, так и остался неопределенным, бесформенным. А с бесформенным материалом можно делать все что угодно. Я сейчас вспоминаю больницу в Евпатории. Наши ребята, несмотря на то, что они сами физически страдали, были иногда крайне несправедливы и жестоки к другим, более слабым и страдающим, чем они сами. Болезнь делала их не более человечными, а более мстительными, более нетерпимыми друг к другу. Во многих из них была заложена часто неосознанная и не всегда опасная детская агрессия. Умные учителя понимали это и старались разряжать ее. Они направляли дремлющие, неиспользованные, таящие в себе самые разные возможности силы в позитивное русло. И ребята с годами менялись. Учителя старались поворачивать страдания не против личности, а в пользу нее... Много вышло оттуда отличных, талантливых, душевно тонких ребят. Значит, и с трудным, неполноценным материалом можно работать. И работать всерьез, с любовью, с отдачей...

Он немного помолчал, потом продолжал:

Только надо понимать психологию подростка и быть иногда на ее уровне. Именно не выше, подходить не с высот взрослости, а быть как бы в одном измерении с ними. Это ведь, кажется, Толстой сказал, что дети — увеличительное стекло зла. Но ведь и добра — тоже. Потенция добра и зла у них огромна. Какую развить и как — вот в чем дело. Опыт воспитания очень часто сталкивается с индивидуальным опытом воспитуемого, с тем фоном, на котором формируется его личность. Это поединок. Поединок жизненных обстоятельств, уже возникших привычек и личности педагога, с другой стороны. И я ставлю на педагога! Причем, ты пойми, я тебе ведь рассказывал о Стенине; так вот мне не так уж были важны знания Стенина, его эрудиция. Мне было важно, какой он сам есть, а уж потом то, чему он меня научит. Думаю, что и Мишке моему мои советы будут побоку, если он перестанет мне верить и понимать меня.

Однажды я прочитал стихи, там были такие строки: «Миром править должны умудренные опытом де-

ти...» Я понимаю, это поэзия, преувеличение, но какая-то правда здесь есть... Конечно, дети с потенцией добра, а не зла. Я как-то задумался, отчего вдруг стал так популярен Сент-Экзюпери. Ведь есть писатели неизмеримо крупнее, большего масштаба, более интеллектуальные. Но они не действуют так на воображение, не влекут так к себе. Почему? Потому что он и есть один из тех: умудренный опытом дитя. Детское есть в таланте, в мышлении: праздничность, благородство, чистота. А почему так популярен у нас, скажем, Паустовский? Ведь есть у нас более сильные мастера, лишенные сентиментальности, мелодраматизма. Но в них не хватает этой детской силы добра.

И заметь: у всех писателей этого ряда есть определенные схемы, схемы извечные и оттого, может быть, особенно волнующие. Добро, столкнувшись со злом, обязательно побеждает его, причем добро не просто добро, оно, так сказать, добро воспитующее. Заметь, что у этих художников присутствует элемент дидактики. Но эта дидактика талантливая и очень искренняя. Это дидактика примера, а не поучения. Это та дидактика, которая повела Яноша Корчака на смерть... Но есть другая дидактика, не упрятанная в волшебство, не окрашенная личным примером, серая, лобовая, и она несет гибель той идее, которую защищает. Возникает сила сопротивления дидактике. И эта сила приводит подчас к неожиданным результатам и последствиям.

Он еще помолчал и добавил:

- А теперь прочитай мне стихи.
- Какие?
- Те, которые больше всего любил в детстве.
- Хорошо, попробую вспомнить.

По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах.
Не гнутся высокие мачты,
На них флюгера не шумят,
И молча в открытые люки
Чугунные пушки глядят.

Я дочитал «Воздушный корабль» до конца. Он слушал, полускрыв глаза. Я читал и вспоминал тот день, когда впервые услышал эти стихи. Это было двадцать семь лет назад. Отчетливо помню жару и то, что я болел, и эта болезнь, кажется, ангина, была странной, противоестественной в такую прекрасную июньскую жару. Шторы в комнате были занавешены, но солнце все же пробивалось, и комната, в которой мы с отцом жили, была почти багровой от красных штор и солнца. Отец прочитал мне эти стихи, я чуть не заплакал. Особенно на меня действовало место:

И маршалы зова не слышат;
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

Очень жалко было императора. Маленького, заброшенного, всеми покинутого императора. Помню, что отец зачем-то включил радио, и я ворчал на него: зачем нам сейчас радио, когда нам так хорошо. А в черном бумажном рупоре репродуктора уже звучали позывные «Интернационала». Потом тяжелый голос диктора объявил о выступлении заместителя председателя Совета Народных Комиссаров.

Двадцать семь лет назад это было. Будто бы в другую эпоху, до новой эры.

Двадцать второго июня сорок первого года.

Мне еще не исполнилось шести лет. Воздушный корабль замер и остановился.

— А я больше всего любил «Ликует буйный Рим», — сказал Эрнст. — Заметь, что в этом возрасте, лет в шесть-семь, — на первом месте Лермонтов... Я не случайно попросил тебя прочитать эти стихи. Я слушал тебя и вспоминал, как ты мне рассказывал о манере говорить у некоторой части молодежи. Речь шла о специфическом жаргоне, на котором говорят приклатенные подростки. Строго говоря, это не жаргон, а лишь манера, странная смесь уже исчезающего блатного жаргона с самодельными словечками, иногда очень занятыми. Эта речь всегда сопровождается соответствующей мимикой, манерой стоять, ходить, одновременно разболтанно-развязной и огрубленной, сильной и вместе с тем изнеженно-ленивой. Очень часто это игра, неопасная болезнью возраста, бессознательная потребность в небанальных словах, в оригинальности, бравада, форма самоутверждения, если хотите. Это бесследно проходит с возрастом у одних. У других с этого начинается отход не только от нормального языка, но и вообще от формы нормального общения, уход за ту черту, где чувств принято стыдиться, где единственное чувство правомочное — гнев, ярость, где слово «любовь» вообще не употребляемо, оно откуда-то из оперы, из чепухи, из тех самых стишков, что в школе полагается заучивать, где культ кулака общепризнан, а затем переходит в культ ножа. Естественный мальчишеский интерес к оружию переходит иногда в настоящую потребность. И возникает свой кодекс, особый нравственный кодекс, противопоставленный общечеловеческому. Есть здесь и своя поэзия, вполне заменяющая воздушные замки, — доходчивая, низкопробная и прятная.

Тебе эти стихи отец прочитал, прочитал со страстью, хорошо, и они тебе запали в душу. Кроме того, он тебе рассказывал множество замечательных историй, мне тоже отец читал стихи, а вот этим ребятишкам отцы ведь иногда ничего не читают. Тут не до чтения, тут совершенно другая жизнь. Тут мат слушают, а не стихи, и привыкают к нему, и воспринимают его как нечто естественное, а стихи, наоборот, — как что-то нелепое и чудное. Но вот их прочитали им в школе, велели выучить наизусть. Они учили-учили, так что поэзия испарилась и смысл пропал.

Стихов уже нет. Они стали домашним заданием, уроком. А кем стал Лермонтов? Лермонтов стал занудством, мучением, будущей двойкой, усытым типом в учебнике, выразителем бог знает чего, того, что я еще не прошел, не выучил, поэтому не знаю, чего. Какое же волшебство в таком Лермонтове? И возникает другое волшебство, неизмеримо более волнующее.

Ты приходишь вечером во двор, закуливаешь, выпиваешь, и хороший человек берет гитару, поет хорошую песню, и ты ее запоминаешь наизусть. А ведь учительница должна была прочитать этот самый «Воздушный корабль» так, чтобы щеки у ребят покраснели от волнения.

Соприкосновение со словом должно быть краткое и обжигающее. Но для этого надо и читать уметь, а значит, надо еще немного быть актрисой, а прежде всего надо быть таким человеком, которого хочется слушать. Если такой человек говорит хорошо, значит, хорошо. Если он выбрал тебе стихи, то самые лучшие. Значит, сиди и слушай, потому что этот человек не училка, а педагог, личность. Он твой собеседник. Вот такие стихи ты запомнишь на всю жизнь. И если этот учитель тебе скажет, что тот тип, с ко-

торым ты «кантуешься», то есть дружишь, барахло, нехороший человек, ты призадумываешься и не поверишь, конечно, на слово, это и не нужно, но стараешься проверить его точку зрения и посмотришь на этого человека как бы со стороны. Свежими глазами. Его глазами. А потом внезапно ты и сам не заметишь, когда, как у тебя прозрели свои глаза. Человек уже стал смотреть своими глазами. А раз появились свои глаза, значит, человек стал человеком. Вот это и есть, грубо говоря, педагогика, как я ее понимаю. Это, так сказать, конкретная педагогика. И вот почему я считаю ее самой главной наукой. И поэтому мне жаль, что во мне умирает педагог. Правда, я утешаю себя, что в каждом человеке масса потенциальных возможностей и професий сидит. Одна выживает, становится главной. Другие умирают.

А иногда все возможности, все профессии умирают. И остается лишь воспоминание, причем не о делах, а о возможностях, которые умерли. Вот так, мне кажется, происходит и со мной. Ведь ты же сам сказал, что мне нет еще восемнадцати и дело моей жизни еще не начато по-настоящему.

Мне снится множество снов, часто кошмарных. Но есть удивительные по своей реальности. Вот вчера я мчался на мотоцикле и помню каждую деталь дороги, сначала это было шоссе, потом я проехал по какому-то маленькому южному городку, потом мы выехали на дорогу, но уже не шоссе, а, кажется, в лесу.

— Кто же это мы?

— Ну не стану же я ездить один. Со мной был хороший человек. Его звали Лена. Мы с ней спешили к мысу Фиолент. Слышал про такой?

— Знаю, это около Севастополя.

Да, так вот мы подъехали к берегу, а берег там скалистый, прибрежная дорожка очень узкая. Она говорит, чтобы я слез с мотоцикла, давай, мол, пройдемся по берегу. Я не согласен, не хочу слезать с мотоцикла, выжимаю скорость, и мы мчим по этой дорожке. Она, конечно, боится, прямо-таки дрожит от страха, прижимается ко мне, а я иду по самой каменной кромке. Так мы несколько секунд мчимся с ней между морем и землей, между ее страхом и моим весельем, между падением и взлетом, между тем, что могло быть, но не случится, и подлетаем к мысу Фиолент.

Здесь я останавливаю мотоцикл, мы спускаемся вниз, идем к морю. Потом мы загораем, купаемся, лазаем по горам, пьем холодную воду из источника... Потом уже темнеет, и мы снова садимся на мой мотоцикл и летим по темноте.

— Ты в этого человека, Лену, конечно, влюблен?

— Я, да.

— А она?

— Не знаю... Кажется, нет.

— Но как так может быть?

— Даже очень может быть. Я — да, она — нет. Я ей не нравлюсь, ей нравится скорость, и мотоцикл, и немножко мыс Фиолент. Понятно? Может, слышал такое выражение: безответная любовь. Оно сейчас вышло из употребления. Так вот у меня была как раз та самая безответная любовь. Еще вопросы есть?

— Нет.

— Переходим к теме нашего урока. Итак, «Воздушный корабль»:

Потом на корабль свой волшебный,
Главу опустивши на грудь,
Идет и, махнув рукой,
В обратный пускается путь.

Время от времени он посылал мне открытки. Они написаны были очень мелким, точеным почерком, где каждое словечко лепилось к другому, отчетливо, как зернышки черной икры. Письма были шуточные, одно по-английски, другое как будто от влюбленной дамы, третье в стихах: «Не удалось с тобою нам помартовать, удастся ли теперь нам поапрелить». Третье без подписи: нарисован человечек, лежащий на кровати. Последнее шуточное и тоже в стихах. Вот его текст: «Протяжный привет из заточенья»:

По ночам вспоминаю далекие дни.
Февральская стужа. И мы одни.
Помню уж смутно, как в табачном дыму,
Мы сидели с тобою, как черти в раю.
Нет, по комнате вроде я ходил,

ты лежал.

Или было наоборот?
Как давно это было... Как время идет.

Я представлял себе, как он пишет это письмо, напругаясь, отдыхая, шепча еще не написанные слова. Как время идет.

Время действительно шло быстро. Только у каждого из нас свой счет, и минуты наши не равны... Вернувшись из долгой поездки, я позвонил ему. Мы разговаривали, наверное, больше часа. Настроение у него было неплохое, как всегда, ни на что не жаловался, только сказал, что вот уже неделю совсем не спит. Прописали снотворное, а оно не помогает.

Я сказал, что заеду послезавтра, привезу ему хорошее снотворное, которое должно помочь.

— Я не люблю этих пилюль, от которых потом целый день свинцовая голова и невозможно работать.

— А ты работаешь?

— Стараюсь помаленьку.

— Рецензии?

— Да... И немного для себя.

— Для себя — про себя?

Он смущенно хмыкнул.

— Про других знаю мало. Попробую про себя... Ты же сам втавил меня в это сомнительное дело.

Я действительно говорил ему, что он должен написать книгу-дневник, книгу о себе.

Он отмахивался.

Я знал, что он и без моего совета ведет запись, но делает это эпизодически, без системы, и я говорил ему, что надо все это собрать и продолжить.

— Кому это интересно? Медикам как пособие, — слабо улыбаясь, говорил он. — Или, может быть, записки из барокамеры. Да и что я могу сказать?

— То, что не скажет никто другой. Ты-то как раз и можешь сказать.

— Ну, ну, ну.

— Ладно, ты ведь и сам все понимаешь. Если у тебя хватает сил на твои рецензии, на твои медицинские статьи, то у тебя должно хватить сил и на это. И в первую очередь. Это, если хочешь знать, твой долг.

— Скажи еще «исторический долг».

— Этого не скажу. А что человеческий долг — уверен. И кончим на этом. Нечего мне тебя агитировать.

И действительно, мы больше никогда не возвращались к этой теме. Но я отмечал про себя, что он с ревнивым интересом прочитал книжку Владислава Титова «Всем смертям назло...». Прочитал и сказал,

что она ему нравится, что в ней есть волнующие страницы. Еще он сказал, что завидует Титову, потому что тот может двигаться и работать. И добавил, что в этой книге ему не хватает психологии, рентгена человеческих состояний. Я понял тогда, что он думает о работе, что он, по-видимому, будет работать, если появится хоть малейшая возможность. И вот теперь по телефону он впервые сам заговорил об этом. И еще он добавил:

— Ночами у меня бессонница. Лежишь в этой жуткой тишине, читать нет сил, лезут всякие ненужные мысли, в том числе и о том, что исчезновение человека из этого мира иногда бесследно. Он уносит с собой все, о чем думал, к чему стремился, от чего страдал, что преодолевал с такими усилиями. Совершенно бесследно, будто ты и не составлял для себя и близких целого мира. Вот был такой мир, в нем что-то бушевало, горело, а на проверку оказывается, что он ничто, бесследен, несуществен... Счастливые те, у кого есть дети.

Он помолчал.

Были слышны в трубке какие-то дальние, на втором плане, гудочки и шорохи.

— Вот так, брат, — сказал мой Эрик. — Так когда ты заедешь и привезешь свои пилюли?

— Если хочешь, сегодня.

— Лучше в пятницу. Сегодня я малость не в форме... А в пятницу утром ты мне позвони и приезжай... На футбол ходишь?

— Редко.

— Твое «Динамо» что-то не того. Я их по телевизору видел.

— Да, не идет у них в этом сезоне.

— Значит, до пятницы?

— Да, до пятницы...

Голос его то тонул в этих шорохах и гудках, и я мучительно прислушивался к нему, то снова как бы выныривал со дна.

До пятницы были какие-то дела, и наш разговор я не вспоминал, только подумал, что ему все-таки трудно писать, просто невероятно трудно физически. Если бы у него был магнитофон, он мог бы наговаривать свои мысли, а потом все это можно было бы расшифровать и напечатать.

С кем можно было бы поговорить насчет магнитофона?

Как ему не хватает общения, разнообразных и интересных людей! Надо как-то привлечь к нему внимание... Может быть, я все-таки напишу о нем...

В пятницу утром я позвонил. Трубку снял почему-то не Эрик, а Миша.

— Здравствуй, Миша, я сегодня собираюсь к шефу, как он себя чувствует?

Миша не ответил. И снова я услышал этот шорох, это верещание песчинок, и сама пауза и это расслабленное, раздавленное «аллэ» уже несли что-то мною еще не осознанное, но уже приближающееся и неотвратимое.

— Что ты молчишь, Мишка?

— Он... Он...

— Когда? — спрашиваю я.

— Сегодня, в шесть утра. ...Никак не мог уснуть. Потом заснул и не проснулся.

И вот снова этот серый, пепельный двор крематория, конвейер автобусов, цветов, слез.

Я-то уже знаю дорогу сюда и здешний порядок. Я уже провожал этим маршрутом родных, друзей, а Мишка никогда.

Поэтому он так потерянно стоит в мерцающем по-церковному зале, стоит, опираясь на колонну, и орган обрушивается на него, как обрушивается на человека море в первый раз — сшибает с ног и тащит в глубину.

В глубину, в непонятную нам бездну уплывает лодка с человеком.

А на улице за воротами — солнечный свет и дождь.

Дождь идет весь июль, и шел всю ночь в четверг, когда наш Эрик силялся и не мог заснуть. Последнее, что он видел в своей жизни, это был рассвет, некрепкое, зыбкое солнце и бурный, не иссякающий ни на секунду летний дождь.



Несколько слов об этой повести



Итак, вы прочли повесть Владимира Амлинского. Жизнь ее героя Эрнста Шаталова прошла перед вами — короткая, сложная, героическая. Да, именно героическая, хотя Шаталов не закрывал грудью амбразуру дота, не закладывал фундамента первого дома будущего города где-нибудь в далеком алмазном краю и не прокладывал человечеству новые пути в космическом пространстве. Всю жизнь, точнее, всю свою сознательную жизнь, он пролежал на койке, почти не вставая. Но ведь недаром сказано: в жизни всегда есть место подвигу. И Эрнст Шаталов свой подвиг совершил, моральный подвиг, подвиг высокого человеческого духа, каким была вся его трагическая жизнь.

В литературе капиталистического мира немало написано о людях, обездоленных судьбой и гибнущих в эгоистической атмосфере общественного равнодушия. Такие книги беспокоят сердца, вызывают сочувствие.

Повесть о жизни и смерти молодого советского

гражданина Шаталова пробуждает не только сочувствие, но и гордость за человека нестигаемой воли. Хотя судьба еще в юном возрасте обделила Эрнста всеми радостями молодости, приковала его к койке, до предела ограничила его возможности общаться со сверстниками, он, молодой человек, продолжает жить активно и полнокровно, учится, работает, находится в курсе общественной и политической жизни страны, остается полезным членом общества. Он чувствует себя равным среди равных. Он бережет это равенство. Он не позволяет себе жаловаться на судьбу. Он живет активной интеллектуальной жизнью. Он в курсе всех политических событий, следит за литературой. Он непрестанно и сосредоточенно думает над проблемами, волнующими человечество. Взять хотя бы его рассуждения о высоком назначении педагога. Так может рассуждать и думать только активный человек, находящийся в строю. И все это вместе позволяет ему с честью преодолевать препятствия, которые возникают непрерывно на его и без того нелегком пути. Он и уходит из жизни не как страдалец, оплакивающий свою горькую судьбу, а как сильный человек, полный замыслов и несвершенных планов. Множество самых разных людей, атмосфера нашей жизни помогают ему с честью переносить испытания в неравных схватках со своей судьбой.

Могло ли такое быть? Свидетельствую: могло. Все описанное действительно произошло с молодым москвичом. Вот он и сам смотрит на вас с фотографии.

Наша жизнь, до краев наполненная героическими подвигами народа, создает порой такие характеры, такие ситуации, какие и в голову могут не прийти писателю даже с самым пылким воображением.

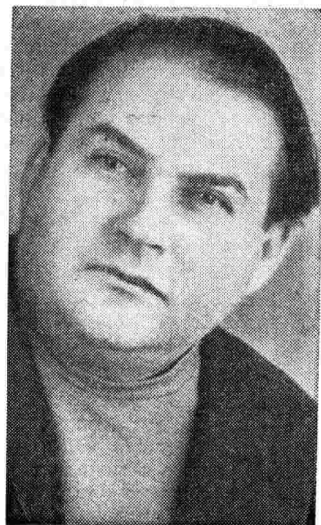
Главное же достоинство повести о жизни Эрнста Шаталова, как мне кажется, в том, что она учит молодых людей искусству жить ярко, полнокровно, в любых, даже самых тяжелых обстоятельствах.

Борис ПОЛЕВОЙ





Евгений Винокуров



Кама. 1941.

Буксирный катер «Пролетарка»
Будил просторы поутру...
Читаю медленно Плутарха
И за борт на тайгу смотрю...
На палубе лежат вповалку.
Русь как бы двинулась в поход!
Картуз склонился к полушалку
И под гармонику поет.
И раненый из медсанбата
Глядит светло и глубоко...
Рогожи подстелив, ребята
Бесстрастно режутся в «очко».
И, чувствуя себя среди тощих
Людей, как не в своем мирке,
Сидит с портфелем заготовщик
В брезентовом дождевике...
И в знак, что ведь еще немало
Хлебнуть всем будет суждено,
У раненого проступало
Сквозь бинт кровавое пятно.

Настроение

Пусть беспрестанны наставления,
Советы, как себя вести,
Но яростные настроения
Способны все снести с пути.
Пусть близко мне до постарения
И пусть все валится из рук,
Но яростные настроения
Преображают все вокруг.
То сетования, то томления,
То радостная полоса...
Смотри, смотри-ка: настроения
Меня несут, как паруса!
Ведь мира нет и под оливами.
И настроения быть должны
По сути самой прихотливыми:
То вдруг белы, то вдруг черны.
То вьются облачными кудрями...
Их принцип неопределим.
Так своенравны, так причудливы.
Неуправляемы, как дым!

Вот так выходят в наступление.
Земля под поступью трещит.
Воинственное настроение
Я впереди несу, как щит.
Тоски случайной обострение.
Сбить может с ног любой пустяк!
Я подымаю настроение
Высоко над собой, как стяг.
Лишь чуть — и смог я стать бы гением!
Лишь чуть — и смерть мне нипочем!..
Встаю — и вечность настроением
Я протыкаю, как мечом.

Рабле

Что там, скажи-ка, брат, за танец!
А это что там за урод!
То брагу пьет раблезианец,
Его раскрыт, как бочка, рот.
Тут куропаток рвут руками.
Жуют, — гусятина вязка.
Под стонущими едоками
Дугою выгнулась доска.
Колбас лиловые аршины.
И пива медная река
Медлительно течет в кувшины
И брызжет на окорока.
На брюхах расстегнув камзолы
И веками прикрыв белки,
Лежат вселенские обжоры
Рядком, как будто бурдюки...
Рабле, бродяга и умелец,
Хоть сам ты, как святоша, тощ,
Твой юмор огненный, как перец,
Которым приправляют борщ.
Ты там, где пели и плясали,
Чтоб, трезвым риторам под стать,
Вот этими ж губами в сале
О небесах пролепетать.

Омар Хайям

Жизнь у него, однако, не плохая...
Там, за оградой, где по остриям
Вверх вьется плющ, в шелку лежит, вдыхая
Пунцовые цветы, Омар Хайям.

Уста сравнить ли в сотый раз с рубином!
Иль, уж ни с чем не сравнивая впредь,
Полузакрытым взглядом ястребиным
На медлящую женщину смотреть!..

В цветном дворце среди страшных
наслаждений,
Где вечен сон, а человек — что вошь,
Чего ты хочешь, отвечай мне, гений!
Чему ты учишь и куда зовешь!..

И он ответит: жизнь — сплошная мука.
И надо, смерти чуя немоту,
Есть только сласти, и, как в бочке муха,
Почить навеки в золотом меду.

Абсурд

В магазине посудном
К завитку завиток
В модном стиле абсурдном
Намалеван цветок...

Вы уж не обессудьте,—
 Выкрутасы вия,
 Я считаю: в абсурде
 Есть идея своя.
 Выплыл бред, словно судно,
 Полыхнул, как пожар.
 «Верю, ибо абсурдно»,—
 Некто древний сказал.
 О восторг, коль из глуби
 Бородатого рта,
 Не затронувши губы,
 Хлынет белиберда.
 Прoberет до печенок,
 Хотя темно чересчур,
 Если крикнет Крученных:
 «Дыл, бул, щур, убещюр».
 Дездемона с арапом...
 Вот он, черт побери,
 Мир с горящим жирафом
 Сальвадора Дали!
 Взял алхимик реторту...
 Тупо молится курд
 Не кому-то, а черту!..
 Это ли не абсурд!
 По взмятенному праху
 Слышен топот бахил:
 Все никак черепаху
 Не догонит Ахилл.
 Вьется с пчелами трутень...
 Ведь и прямо с крыльца
 Вот он, мир, что абсурден
 От конца до конца.
 Желчью полнится печень:
 Ну, возьми, хоть: верблюду...
 «Мир-то, братцы, конечен!»
 «Ну уж это абсурд!»
 Нос расплющен, как в боксе,
 Голова на спине:
 В вечность на парадоксе
 Скачут, как на коне.
 Только б как ни скакала
 Та ватага, но стоп:
 Впереди иль Сахара,
 Иль болотная топь.
 Свесил голову к груди:
 «Вот те раз — угодил!»
 И стоит на распутье,
 Что там твой богатырь.
 В том абсурде, как в вальсе,
 Можно долго кружить.
 Покружился, а дальше
 Надо ж как-то и жить...
 Ну нельзя же вертеться
 Век в бесовском кругу!
 Надо ж и оглядеться
 И присесть к очагу...
 Разверзается бездна,
 Лишь на сей станешь путь.
 Лишь бы было не пресно,
 А уж там как-нибудь.
 Как же быть с общим местом!
 Его выверни так,
 Как решительным жестом —
 Наизнанку пиджак.
 А по цели, как в тире,
 Бей с усмешкою злой:
 «Дважды два есть четыре».
 «Аксиома! Долой!..»
 Доведет до инсульта
 Этот толк, этот суд,
 Эта жажда абсурда
 Или этот абсурд.

Я понимаю...

Я понимаю все как есть...
 Завет «убей» передавая
 Друг другу, люди жили. Месть
 Торжествовала родовая!
 Копьем коллегу феодал
 Прокалывает на турнире!
 Под гнетом крепостной страдал.
 Чума все пожирала в мире.
 Еретика вели в тюрьму,
 А он глядел и зло и шало...

Но одного я не пойму:
 Любовь, кому ты помешала!

□ □ □

Юстинас
 Марцинкявичюс



В это утро

Знаю точно я, чего хочу.
 В это утро, когда вы проснетесь
 и встающий день
 будет еще ясен и прозрачен
 так, что даже страшно прикоснуться;
 в это утро,
 когда, за ночь отдохнув,
 тело встрепенется,
 распрямится
 и, раскинув руки, устремится
 в новый день;
 в это утро,
 первая едва
 мысль очнется



и начнет метаться
в поисках, за что бы ухватиться;
в это утро,
когда дети еще спят
и спят игрушки,
я хочу,
чтобы хоть на миг один
мы забылись, а точнее, забыли,
просто бы забыли о себе
и чтоб все
подумали в тот миг
обо всех.
Ведь это так легко!

Из летних впечатлений

От горизонта
всадник несется,
всадник зеленый,
след его зелен,
тень его скачет
(цвет ее зелен)
вброд через реку,
вверх по обрыву,
падает с ходу
в пыль у дороги,
дальше несется,
скачет и скачет,
по горизонту
неудержимо,
словно бы море,
все заливая,
так беспрестанно,
не уставая,
всадник зеленый
скачет и скачет,
о как пьянит он,
запах зеленый,
зелень побега,
зелень полета,
но среди поля
зелени этой,
словно бы знаки
предупрежденья —
красные маки,
капельки маков —
не забывайся,
всадник зеленый!

Каникулы

Мы беседовали о лете,
о зеленом буйстве лугов.
Полдень швырялся ласточками,
звездами ночь сорила.

Было жарко, и пить хотелось,
но мы не спешили домой.
В городе было пустынно,
деревья молили о тени.

В газетах писали о засухе.
Вокруг говорили: зимой
внезапно скончалась бабка,
что дождь вызывать умела.

Мы тоже кликали воду,
навалившись на сруб колодца.
А ночью мне снился красный
автомат, продающий воду.

С ним рядом сидела бабка,
что дождь вызывать умела;
она во всю глотку гремела:
— Рыб пропустите без очереди!



Ты, что идешь и проходишь,
я вижу тебя и слышу,
чувствую страх твой,
ощущаю твою усталость,
ибо путь твой пыльный проходит
через сердце мое.

Однажды когда-то,
в сиянье заката,
я хотел бы услышать,
какие пустыни и горы,
города,
поля и поляны
тебе довелось проходить.

А может быть, все, что ты видел,
было пылающим полем
ожесточенных сражений...

Гром, елка и портной

Грянул внезапно
гром среди неба —
елочка-елка
наземь упала.

Шел себе мимо
сельский портняжка —
смазал смычок
пахучей смолой.

Как заиграл он
лихо на свадьбе —
все, кто там был,
заплакали разом.

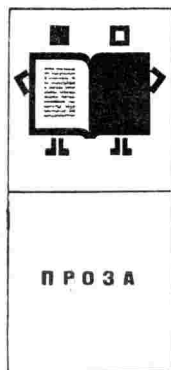
Бросил портняжка
скрипочку об пол —
древа судьбу,
судьбу человека.

Почти серьезно

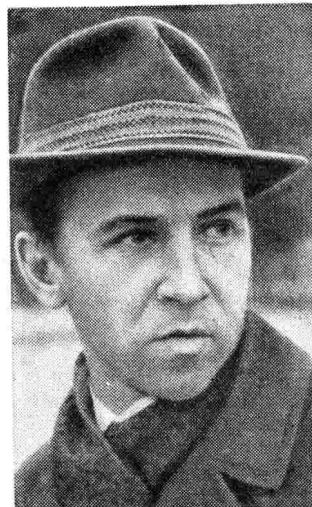
В каждой женщине вновь повторяешься ты,
как трава прошлого дня — в нынешних
травях.

Если я и гляжу иногда на других,
то затем лишь, дабы я увериться мог,
что в любой из них лишь повторяешься ты,
как трава прошлого дня — в нынешних
травях.

Перевел Юрий ЛЕВИТАНСКИЙ.



Юрий Антропов



Роевник дедушки Ераса



РАССКАЗ

Линогравюры
В. Прокофьева.

В тот день мы надумали распилить лиственничный кряж, все лето пролежавший у бабушкиных ворот. Отец с деловитым видом засуетился по двору, доставая из разных мест пилу, топор, колун (почему-то колун всегда держали в курятнике, и отец об этом вспомнил тут же и был рад и горд, что вспомнил и что все это по-прежнему, так, как и тридцать с лишним лет назад). Потом он принес из чулана напильник, уселся на приступок и усердно завжикал — стал точить пилу и править развод.

Обе бабушки (Наталья, папина мать, и Арина, ее сестра, живут уж столько лет вдовами, под одной крышей) отнеслись к нашей затее по-разному. Бабушка Арина с усмешкой, которая скорее была добродушной, чем снисходительной, следила за нами с высокого крыльца. А бабушка Наталья, сухонькая, подвижная, пыталась помочь отцу, приговаривая:

— Ты, Вася, вот сюда садись, на чурочку — она гладенькая, и тебе будет сподручнее... Поди, для топора-то рашпиль принеси, — посымай ему щеки-то, а то, вишь, вахлявы, как сточили... А то брось-ка

ты, сынок, все это дело к такому ляху — найму ближе к осени кого-нибудь, распилят! Мир не без добрых людей. Глядишь, Вовка Просин пособит — он из города надысь привез заводную пилу, чудная такая!..

Я тоже норовил за что-нибудь ухватиться, но в первые, заметные фигуры выбиться мне не удавалось, и я утешил себя тем, что отыграюсь и удивлю всех, как только начнем пилить кряж и колоть отваленные здоровенные чурки. Люся, моя жена, присела в ряд с бабушкой Ариной, на самой верхней ступеньке крыльца, и иронично поглядывала на меня, а отец смущенно отвечал бабушке Наталье:

— Да нет, мама, все хорошо, не беспокойтесь... Да, ей-богу, мама, не суетитесь вы, ну сядьте подите, отдохните!..

Начали пилить. Бодро так начали. Люся, в джинсах, вызвавших в день нашего приезда немое потрясение обеих бабушек, уселась верхом на кряж.

— Жми крепче, милая! — ширкая пилой, ласково и значительно сказал я Люсе, и она, кажется, и

впрямь поверила, что кряж неподвижен только благодаря ее стараниям, и оседлала его еще усерднее — просто вцепилась в смолистую кору, и бабушка Наталья тоже поняла это невинное заблуждение снохи и не замедлила подыграть вполне искренне — взгромоздилась рядом, бочком, свесив ноги на одну сторону. Бабушка Арина, щурясь на солнце, беззвучно посмеивалась.

Взбодороженная такой счастливой оказией — сын и внук, городские гости, решили похозяйствовать в старом доме! — бабушка Наталья не обращала внимания на сестру и подсказывала мне, явно жалея своего сына Васю:

— Ты бы, Витенька, не налегал шибко-то на свой край, а то батьке тяжело протаскивать...

Я приотпущал немного, но пила будто утерала свою прыть, прямо-таки прилипла к смолистым стенкам, и продергивали мы ее с величайшим трудом.

— Клин, клин надо вбить! — Не то сам я сообразил, не то вспомнил виденное когда-то, объявляя тем самым невольную якобы паузу.

— «Клин»... — хмыкнул отец, держась за поясницу, выгибаясь и смахивая со лба крупные капли пота. — Ты сначала еще хотя бы на вершок заглубись, а то как раз пилу и заклинишь...

— То-то и оно... — удрученно согласилась бабушка Наталья, едва ли не первой понявшая, что из благого намерения сына и внука ничегошеньки не выйдет. Бабушка Арина тоже поняла это и, кряхтя, спустилась с крылечка и прищандыбалась за ограду, к нашему кряжу, тоже засуетилась вокруг, пытаясь взять у меня пилу с тем, чтобы попилить немного, — ей казалось, так она скорее убедит нас в полной возможности задуманного дела и в необходимости во что бы то ни стало продолжать его.

— От дают! — Перед нами на лоснящейся игровой лошади, лихо держась в седле, откуда-то возник улыбающийся парень. Незаметно как и подъехал. В его голосе и лице были смущение и насмешливая снисходительность, как у всякого сельского жителя при виде городских, занимающихся не своим делом. — Бог в помощь, что ли!

— Легко на помине... — сказала бабушка Наталья, сконфуженно слезая с кряжа. — Не узнаешь, поди? — удивленно и тоже насмешливо, как бы сразу отмежевываясь от нашей затеи, обратилась она ко мне.

— Володя?..

— Ну! — радостно поддакнул парень и, не слезая с лошади, поочередно подал каждому из нас руку. — А я еще издали догадался! Здорово, дядя Вася! Здрасьте!..

Ох, и рука же была у моего не то троюродного, не то четвероюродного брата! Тиски — не рука!.. Тетя Фрося, его мать, — племянница бабушки Натальи, папина двоюродная сестра, так? Значит, кто мы с ним? Троюродные?.. Большая родня, по старым-то временам, а нынче я вот и не вспоминал уж сто лет про Володьку, а ведь во время эвакуации, когда я жил в деревне, мы были с ним не разлей вода...

Он все сидел в седле, о чем-то говорил с отцом и быстро взглядывал на меня и Люсю, а я откровенно любовался им. «В кого же он в нашей родне такой здоровяк?» — перебирал я в памяти своих ближних и дальних родственников.

— Ты че, баушка, заставила их не делом заниматься? — говорил Володька в это время бабушке Наталье, явно стесняясь моей жены, хотя и не подавая вида. — От вам неймется! Переказывал же с мамкой: управлюсь с пасекой — приеду и развалю этот кряж!

— Дак я это знаю, ты-то бы приехал, — оправдываясь, сказала бабушка Наталья. — Вот все Вася с Витей придумали...

— Ты, поди, — встряла бабушка Арина, опять взбираясь на крыльцо, — пасеку перевозишь куда, что ли?

— Ну! — сказал Володька. — Да не свою — чужую! Подсудобили!.. Дед-то Власка довел своих пчел, распустил рои да и бросил пасеку-то, мотанул в город, к сыну, а мы отдувайся! Вчера на правлении дали разнарядку: каждому пасечнику перевести из Разливанки по двенадцать ульев и слить со своими. А на кой они, к примеру, мне, Власкины пчелы: запущенные, того и гляди добрых пчел перекрут...

— А в Разливанке, — сгоняя слепней с лошадиной морды, спросила бабушка Наталья, — значит, не будет пасеки?

— А то будет!..

— Во как... А ведь там когда-то всегда самый лучший мед брали... — поджала губы бабушка Наталья.

— Разливанка? — встрепенулся отец. — Это, мама, где наш покос был? М-м-м... Места-то какие!..

— Там теперь лес рубяют, — сдержанно заметила с крыльца бабушка Арина. — Сказывают, понагнали машин...

— Полно! — подтвердил Володька. — Мы вот возим, — кивнул он себе за спину, и мы только теперь заметили волокуши из гибких елочек, привязанных комлями к седлу; между елочками, как в люльке были увязаны два улья, — а кто-то один сидит на пасеке, караулит. По очереди. А то вчера приезжаем — глядь: на подвале замок сорван, и некоторых рамок с вошечкой как не бывало: видно, ночью шуrowали, позарились на вошечку — думали, мед...

— Мед к заднице льнет... — сказала бабушка Арина, глядя в сторону разливанских гор. Им с бабушкой Натальей особенно больно было всякое надругательство человека над природой. А в Разливанке сейчас валили вековые кедровые — мачта к мачте, и попутно с этим нужным делом губились ягодные участки, полосовались тракторными колеями вдоль и поперек цветочные луга.

— Дак я поехал, — сказал Володька, — а то мне еще один рейс делать... А я счас Ленку Куприхиного с пилой «Дружба» к вам подошлю, дядя Вася, он в полчаса этот кряж развалит... В гости-то ко мне придете? — спросил он вдруг неуверенно, глядя в основном на меня. Что-то в его взгляде изменилось. — Пришли бы! Я управлюсь с перевозкой к вечеру-то... Порыбачим, харьюсков половим...

— А есть? — опять встрепенулся отец. — Твоя пасека-то где, Володя?

— Да все там же, на Мяконьком!

— Это где раньше дядя Ерас сидел?.. — припоминая первого колхозного пасечника, отца двоюродной сестры Фроси и, стало быть, родного деда Володьки, мучительно и счастливо (он помнит еще все это!) хмурил брови отец. Он и сказал-то «Ерас», а не «Герасим», — сказал так, как звали пасечника в деревне.

Тут и я вспомнил: «Эва! Забыл дедушку Ераса!.. Так вон в кого Володька!..»

— Там, там, дядя Вася, где ж еще-то... — сказал Володька и совсем стал пасмурным. — Только уж после дедушки Ераса-то перебивало на пасеке... Дак придете?

— Придем, придем! — заверил я. — К вечеру, к самому клеву, и будем!

Вовка улыбнулся и поехал было, но бабушка На-

талья, заметно недовольная каким-то непонятным нам поворотом дела, не утерпела, чтобы хоть слабо да не возразить:

— Ты бы, Вовонька, не связывался с Ленькой-то Куприхиным, на кой он те сдался! Опять беду наживешь...

Вовка провел ладонью по коротким своим волосам.

— Не, баушка, ничего такого больше не будет, не опасайтесь за меня... Мы сейчас с Ленькой даже вроде друзья; так его в жисть не упростишь прийти со своей пилой, а я только моргну — сразу явится, как тут и был! Я вот его еще в кумовья возьму!..

Бабушка Наталья недоверчиво покачала головой, а бабушка Арина, опять слезая с крыльца, поспешно сказала:

— Ну так-то и ладно, так-то бы и пускай... Ты, старуха, не вмешивайся. Ихнее дело молодое: седни подерутся, завтра помируются... Чувствовалось, что бабушку Арину, наоборот, беспокоил в первую очередь нераспиленный кряж, и ей было все равно, кто будет пильщик.

Вовка опять улыбнулся, глядя куда-то перед собой, и тронул поводья. Лошадь плавно, с тонким шуршанием потащила за собой мягко покачивающиеся с ульями жердины.

Вскоре явился Ленька Куприхин — долговязый, угрюмый парень. Нескладно как-то поздоровавшись с нами, он завел моторчик и начал с оглушительным вжиканьем отхватывать чурку за чуркой с тонкого конца кряжа. Отец покуривал и весело подмаргивал нам с Люсей, а обе бабушки, сразу уверовав в Ленькину чудо-пилу, успокоенно уселись на крыльце.

На пятой или шестой чурке отец сменил Леньку, дав ему закурить, а я взялся за топор. Смолистые чурки кололись со звоном, с единого маха. Ленька поглядывал на меня исподтишка. А я вдруг ни с того ни с сего разошелся — поленья разлетались во все стороны. Дело было, конечно, не в Леньке. Ну, Ленька и Ленька. Никогда он мне другом-недругом не был. Верно, вспомнил я, что в давние военные годы Ленька обыгрывал всю улицу в бабки, ну и что с того?.. Растревожил меня чем-то, как я понимал, мой троюродный брат Володька, — все в нем, внезапно встреченном, воскресшем для меня из небытия, было до того ново, пронзительно, что я рядом с ним почувствовал себя неловко.

Ленька, попыхивая колечками, сказал, не обращая ни к кому конкретно:

— Вовка-то же ж не распилил?.. Тоже мне, сродственничек, называется...

Отец за шумной работой мог и не расслышать, бабушки вежливо промолчали, а Люся была здесь человек почти посторонний, так что отвечать надо было мне.

Я махнул топором со всего плеча, хотел по краю — промахнулся, и топор безнадежно увяз в податливо смоляной сердцевине чурки.

— Он же на работе, Вовка-то, — сказал я, — до дров ли тут! У него, небось, еще и свои не пилены!

— Знамо, на работе... — вяло ухмыльнувшись, согласился Ленька. — Все селу известно, какой он братничек...

— А что? — простодушно поинтересовался отец, выключая на время перегревшийся моторчик пилы и закуривая. В пришедшей так внезапно тишине Ленькин сипловатый голос прозвучал, казалось, на всю деревню:

— Да вообще-то ничего... Только вот слухи ходят...

Дескать, чего бы ради тетки Проськиному Вовке менять баранку на роевник с дымарем? Спроста, от интереса к пчелкам, может? Да не-ет, говорят... Он медок-то выгонит да пару бидонов — колхозу, а пару — себе! А ты, мол, пойдешь и проверь попробуй...

Бабушка Наталья, словно вдруг что-то вспомнив, поднялась и поспешно ушла в дом, а бабушка Арина, цыкнув на тавкнувшего было пса, обратилась вся в слух.

— Это Вовка-то вор? — немало опешив от такого поворота, подавленно спросил я.

— Ну, Леня, ты даешь! Чего ты напустился на него, в самом-то деле, — миролюбиво улыбаясь, встрял отец, опять протягивая Леньке пачку сигарет. — Владимир — парень хороший, таких бы побольше, да и в породе у него никогда не было мазуриков.

— В породе-то — знамо... Как говорится, вся породе инохода и сам дедушка рысак!.. — обезоруживающе улыбался Ленька и глядел в пространство. — Я ж и сам не верю, Вовка ж мне как-никак друг, хотя промеж нас и были недоразумения на почве, так сказать, женщины... Но вот как тогда такой факт объяснить: на днях к Володьке с обыском нагрянули, все вверх дном на пасеке перевернули — зерно якобы искали, колхозное, с комбайнов...

Теперь я видел, что это не нечаянно затеянный разговор, что это не случайно Володька позвал пилить дрова именно Леньку Куприхина, — что-то за всем этим стояло, давнее, как видно, и тревожное.

— Ты говори, да не заговаривайся, — как можно безразличнее сказал я Леньке.

— Я — что-о!.. — пожал он плечами. — Только ведь в конце-то концов... Бабушка Арина! Ты же молчишь-то! А ну подтверди-ка, — Ленька чего-то завоновался, — есть у вас справедливость-то!..

Бабушка Арина тяжело шевельнулась, вроде бы желая подняться, запохыкивала:

— О господи, я-то почему знаю... Нашел, кого спрашивать! Я где бываю-то? Дальше двора никуда не хожу... Эт вы молодые да глазастые — вот и глядите друг за дружкой... — Бабушка Арина боялась откровенно поперечить Леньке-пильщику, и Вовку, Просино сына, тоже грешно было оговаривать, вот тут и выкручивайся, как знаешь...

— Ну, ладно, — сказал Ленька, — покрывайте, покрывайте своего сродственничка... Но сколько веревочке ни виться...

Бабушка Наталья загремела в сенях щеколдой, по моему, излишне громко загремела, ступила, легонькая и стремительная, на крыльцо и стала быстро спускаться. Ленька осекся, плюнул себе под ноги и, подхватив свою пилу «Дружба», поспешно пошел вниз села.

— Пропадите вы все пропадом...

Бабушка Наталья досеменила до ворот и, отмахиваясь от заворчавшей сестры Арины, негромко, как бы про себя напутствовала Леньку:

— Ушел? То-то я бы тебе сказала!..

— Да вот поди разберись... Теперь в деревне только и разговоров... Надясь наезжала к нему на пасеку милиция с обыском. А чего искать, коли Вовка зернинки не брал. Вовку Просино мы не знаем, что ли!.. А Прося убивается — от людей, мол, глаза спрятать некуда, а тут еще Вовонька возьми да напейся, да к Леньке с дракой! Ну, какая тут-то причина — да все из-за Любаши, видно, все никак поделить не могут. Да и то сказать: деваха на селе была первая. Добра, шибко добра была!.. Ну, ясно дело, Вовоньку тут и забарабали, после драки-то, и припаяли десять ден отсидки за фулиганство. А ка-

ково матке-то, Просе, от этих напастей? Да и сама Любашка тоже с лица сошла...— Бабушка Наталья тяжело вздохнула.

Мы сидели на крылечке. Перед нами желтел свежим срезом начатый и брошенный кряж, из-за которого неожиданно-негаданно открылись такие страсти.

— Хуже нет, когда начнешь да бросишь, не доделавши, вся душа изболится,— расстроенно пожевала губами бабушка Арина, все еще, видимо, жалея об уходе Ленки-пильщика.— Раньше, бывало, без всяких заводных пил скорее управлялись...

— Ну и бог с ним, с кряжем! — успокоила сестру бабушка Наталья.— Мало горя! Ты скажи, Вовоньку вот жалко...— Она говорила «Вовонька», значит, уже и осуждала его за что-то. Я эту манеру бабушки Натальи знал: чем более недовольна она человеком, тем более ласкательным именем его называет.

Оказывается, началась вся эта канитель еще вон когда. После смерти дедушки Ераса на пасеке перебивало охотников до легкой жизни много, да то в пчеловодстве не разбирались, то просто не выдерживали: летом догляд да уход нужен — не отлучись, а зимой тоже не проще: пчел подкармливать надо, рамки и улья мастерить, вошинку прессовать — все самому! А иные в запой ударялись, бражку-медовуху гнали и хлестали, не просыпаясь от пьянок. А Вовка был в армии, отслужил и больше года шоферил в городе, думали, уж так в городе и останется. И вдруг является. «Что,— говорит,— слышал я, ухайдакали пасеку-то дедушки Ераса?» «Ухайдакали...» «А мне,— говорит,— доверяете? Хочу возродить ее в прежнем виде! Да не с панталыку я сбился, в своем, мол, уме и прошу послать меня на курсы пчеловодов!..» Ну, правление и решило: послать на курсы. Съездил. Вернулся и первым делом увел от Ленки Куприхина свою зазнобу, Любаху Паньшину, которая ждала его из армии не год и не два — четыре года матросской службы, но как стало известно, что осел демобилизованный моряк в Истринске, до Попереченки не доехал,— в тот же месяц вышла за Ленку, не попавшего на службу по болезни и все эти годы увивавшегося за Любой. Назло Володьке, надо понимать, вышла... Ну, переехали они с Володькой на пасеку, отремонтировал ее новоиспеченный пасечник дом для зимнего жилья (после дедушки Ераса ни один не зимовал на Мьяконьком, обходились наездами из деревни). Через год Люба родила мальчонку, внука Фросе, а Вовка собрал более десятка роев в старый роевник дедушки Ераса.

Еще через год появился второй сын, а Вовка сдал



в колхоз четыре тонны меда — почти в полтора раза больше плана.

И вдруг, как гром среди ясного неба, Вовка тетки Проськи ворует в колхозе зерно!

На исходе ночи, когда в деревне начинают горланить первые петухи и сон свинцово смеживает веки, комбайнеры, погасив фары и заглушив моторы, вздремывают на полчаса, не больше — до того момента, когда начнет развидняться и сонливость как бы поотпустит немного. В эти-то полчаса кто-то верхом на лошади успевал бесшумной тенью подъехать к одному из комбайнов, нагрести пшенички в переметные сумы и благополучно отъехать. Замечали мазурика чаще всего в тот момент, когда дело им уже было сделано — пшеница в сумах, сумы на лошади, сам мазурик в седле. Иные со сна, сгоряча, схватив гаечный ключ, с матом кидались вслед за всадником — но куда там! Для остротки стреляя вверх из двустволки, всадник пускал свою лошадь галопом и скрывался в ближайшем ельнике. Устраивали засады, но ночной мазурик то ли всегда был осведомлен, то ли чутьем угадывал, к какому комбайну не стоит сегодня соваться,— всякий раз уходил, полоша ночь выстрелами. И единственной ули-

кой было — след просыпанной пшеницы (вроде как ручейком стекала из прорванного угла сумы), ведущий по проселку в сторону Володькиной пасеки...

— Вот тут што хошь, то и думай, — горестно заключила бабушка Наталья. — Ераса Лексеича, покойничка, бог миловал, не довел до такого позора дожить...

Бабушка Арина возразила:

— Был бы живой Ерас, так и на пасеке не приключилась бы такая чехарда, и Вовка после армии прямоком ехал бы домой, к матке с дедом, и жил бы теперь в деревне, на виду у Проси, и не было бы такой оказии...

Словом, выходило, что во всей это передрыге виноват один человек — дедушка Ерас: зачем рано умер?

Пополудни, славив на скорую руку удилица из тальника, мы втроем — отец, Люся и я — заспешили к правому притоку речки Быструшки — ручью Мяконькому.

Город за долгие годы исподволь приспособил нас к стремительному ритму, к геометрической выверенности и скупой емкости окружающего, которые и кажутся нам воплощением высшей организации человеческого бытия.

В деревне же все иначе, начиная с вольготности, неограниченности мира за околицей (то-то сельские жители, попав на день в город и намаявшись от суеты и толкотни на узких каменных дорогах, где и земли-то не видно, чувствуют себя не в своей тарелке и мечтают скорей попасть домой).

Мы вышли за поскотину, по сочно зеленой, еще не тронутой росой отаве пологого выгона спустились к деревянному мостку — с десятком свежошкуренных бревен в накат — и стали, пораженные простотой и естественностью открывшегося мира. Задумчиво и умиротворенно копился на плесах ручей Мяконький, чтобы на первом же перекате доверчиво высказать передуманное; склонились к воде, словно сетуя о чем-то, тихо трепещущие лиловые головки иван-чая, а гибкоостанная ива без усталости поласкала в плавных струях вылинявшие к осени свои рукава. На бугре затархтел самоходный комбайн, и тотчас из-за ближайшей излучины с шумом вспорхнула пара уток и низко пошла над стерней, с которой наносило терпкие запахи жатвы... Шла привычная жизнь, и все в ней было просто, и цельно, и гармонично. И была эта жизнь истоком всего сущего в нас, была нашей родиной...

Так мы стояли и смотрели вокруг, думая каждый о своем, а может, об одном и том же.

— Ты ручьем-то, не по проселку, ходил когда на пасеку? — первым тихо заговорил отец, словно прислушиваясь к своему голосу.

— Ммм!.. Лет двадцать теперь уж назад! Это в тот год, когда ты вернулся с войны.

— Да? Ты думаешь, это тогда, в сорок пятом? — быстро спросил отец, и глаза его заблестели: видно, опять что-то вспомнил особенное и счастливое.

Особенное это было, как я думаю, наша с ним рыбалка здесь, на Мяконьком, двадцать лет назад. Я не вспомнил об этом первым, а должен был. Ну хотя бы потому, что шли мы сейчас к Володьке, а тогда он был с нами. А уже у самой пасеки, в Черемуховой лощине, мы встретили и дедушку Ераса — широкой темной ладонью, как совком, он сгребал рой с куста черемухи в большое редкое сито с берестяной обечайкой. Пчел я боялся дико. Не проходило и дня, чтобы хоть одна пчела не укусила меня (это в деревне-то, где пчел было не так

уж много — по два-три улья у редкого хозяина в огороде или палисаднике). Бабушка Арина вечно посмеивалась беззвучно, сидя на крыльце и глядя, как я бегаю по улице и отчаянно машу руками, пытаюсь отбиться от пчелы. Лицо-то чаще всего мне удавалось закрыть — в конце концов я падал ниц, уткнувшись носом в мурашок, но в макушку пчела вонзалась-таки. С ревом бежал я на Быструшку — делать холодные примочки, которые, кстати, помогали мало. Вздывалась шишка, и бабушка Наталья, погладив меня по голове мимоходом, добродушно бурчала: «Это что ж ты, друг ты мой ситцевый, никак не возьмешь в толк — не бегай и не маши руками! Ну, пчела. Дак и что с того? Больно ты ей нужен! Летает и летает себе, а ты размахался тут же! Пчела и думает, что ты на нее нападаешь...» Нечего и говорить, что пасеку я обходил за версту. Дедушка Ерас это знал.

— А, кто идет-то!.. — густо, баском гуднул он, когда мы встретили его в Черемуховой лощине. — Вот опоздал-то, Витюха, нет чтобы раньше тебе подоспеть: у меня, язвы его в душу, рой никак не садился. Выметнулся из улья вслед за маткой и давай куролесить! Кружит и кружит! Ну никак не угомонится! Вот чтобы тебе тут-то и подойти, парень, да и врезать во все пятки вдоль по лощине — он бы тебя живо приметил...

Отец засмеялся, а Вовка с ходу подлетел к дедушке Ерасу и как ни в чем не бывало взял у него из рук берестяной роевник. Утихомирившиеся пчелы сплелись в нем в живой комок.

— Молодец, Вовка! — сказал дедушка Ерас. — Мож, пасечником будет, не то что ты, бергалл. — Он поерошил мои волосы, по привычке обзывая бергаллом (городским человеком), и только после этого, степенно оглаживая окладистую бороду, подошел к отцу, обнялся, расцеловался с ним.

— С возвращением тебя, Василий! То-то мать — Наталья намедни трундилась — сон там какой-то ей привиделся, будто гостю быть. А я ишо посмеялся над ней... А оно вишь как обернулось...

Дедушка Ерас был особенно рад видеть моего отца живым-невредимым, утер казанками узловатых пальцев повлажневшие глаза (два сына его из трех и зять, Вовкин отец, с войны не вернулись).

Они заговорили о войне — и о той, какая только что закончилась, и о той, на которой воевал когда-то дедушка Ерас. «Война-лихоманка... Наши-то вон, Семен, Иван и Степан, Вовкин отец... Просю жалко, исхлесталась вся, в колхозе одни бабы да мы, старики. Говори, добро ишо, что я дюжаю, пособляю чем могу... Были года — ни картошинки, ни ячменники в колхозе, — на меде и выезжали. Весь колхоз кормился. Возили медок-то в Истринск да на продукты какие и меняли. И пережили! Грех, грех пасеку забывать, особенно эту, на Мяконьком... А что останется опосля меня? — как бы сам себя спрашивал дедушка Ерас. — Не вечный же я... А замены-то ведь нету, Вася... Ну, бабу какую поставят — дак без мужика здесь не сладить, силов у бабы не хватит. Я как думал: ребята с войны вернутся — хоть одного да сманю на пасеку, а оно вишь как получилась...»

Про младшего своего сына Егора, сразу по возвращении с войны переехавшего в город, дедушка Ерас не упоминал, будто того не было вовсе. И ново мне было видеть, как дедушка Ерас, воплощение для меня чего-то огромного, чему я не знал названия, — и силы, и сноровки, и умения всякого, и нрава веселого, — стоял перед моим отцом растерянный, ссутулившись, со слезинками в углах глаз. Как

сейчас вижу — в холщовой рубаше, перепоясанной плетеным шнурком, в холщовых крашенных штанах с продавленными коленками и чересчур свободной мотней, в намазанных свежим деготьком сыромятных бутылках — голенища перетянуты у колен тонкими ремешками с медными кольцами. И сивая, с желто продымленным верхом борода опущена на грудь, пепельно шелковистые волосы на висках и затылке придавлены мятой поярковой шляпой...

Возможно, где-то в глубине души дедушка Ерас надеялся исподволь уговорить моего отца хотя бы ему передать пасеку, но из этого ничего бы не вышло: отец уже наводрился уезжать в город, где мы жили еще до войны. И дедушка Ерас, видно, чувствовал это и не хотел бередить себе душу — не спросил...

Вот о чем мог вспомнить сейчас отец. Молчаливо шел он вдоль ручья, по памяти спрямляя путь.

Пасека открылась сразу, как только уткнулись в Черемуховую ложину. Люся застряла у первого же куста, обсасывая ягоды прямо с ветки, а мы с отцом, обгоняя друг дружку, поднялись на угорье и чуть не попали на стан с ульями, если бы нас не остановил залихватистый лай кудлатой дворняги, метнувшейся навстречу. Мы и испугаться не успели, как из дома с звонким окриком: «Цыть, Малка!..» — выбежала босая, простоволосая девушка.

— Никак Люба? — шепнул мне отец, видимо, растерявшись.

— Кто ж еще-то! — подталкивал я его в спину навстречу засмущавшейся хозяйке, досадуя, что отстала Люся. Я знал, как стеснительны здесь девушки и молодые женщины, как откровенно не любят они мужских компаний. Вероятно, Люба уже знала от Володи о нашем приходе, но тем не менее мы застали ее врасплох — пришли не со стороны проселка, а из кустов, от ручья.

— А жена ваша где? — спросила она меня тут же, поспешно повязывая на себя платок, и, оставив нас на попечение доверчиво завивавшей хвостом Малки (к немалому нашему удивлению), сломая голову помчалась в Черемуховую ложину. На ходу крикнула, что сам Вовка вот-вот будет.

— Гм, — сдерживая улыбку, отец посмотрел вслед Любе и покосился на собаку. — Экая, однако, у тебя хозяйка, а? — Опасливо потянулся к Малке, готовый в любое мгновение отдернуть руку, но та еще усерднее завивала хвостом, прижала уши, и морда у нее до того стала умильной, что отец не утерпел — коснулся рукой шишковатого ее лба, погладил. Однако пробурчал, чем-то недовольный: — У стоящего хозяина собака не станет ластиться к первому встречному...

— По-моему, наоборот, — возразил я. На душе у меня было хорошо. Стоял тот предзакатный отрадный час, когда вокруг разливается ровный, нежаркий свет, на траву и кусты падает первая роса и негромкое монотонное гудение пчел в ульях плывет над станом. Редко-редко где увидишь тяжело летящую пчелу — залетела далеко, набрала много и вот еле дотянула. С мягким стуком опускается она на приставок и поспешно вбегает в леток, за которым ее ждут не дожудся сородичи.

Отец не выдержал (все-таки в нем неизбежно жила душа крестьянина).

— И от такой-то благодати мы сбежали сами?! — изумленно спросил он себя. — А чего, интересно, ради? Ты знаешь, Витя, я вот шел сюда и все о дяде Ерасе думал — какой человек был!.. Вот скажи мне, что его держало здесь, в этой, как мы любим выражаться, глуши, — только ли первобытная привязанность к природе, извечная зависимость от нее?..

Гляди, что получается. Дед Власка, пчел которого перевозит Владимир, тоже ведь пасечник от роду, а сбежал на старости лет в город, к сыну, бросил пасеку на произвол судьбы. Да и пасеку вел плохо — жульничал, говорят, гнал мед налево. А дядя Ерас, небось, тоже мог бы к Егору в Истринск уехать или мед ему, скажем, сплавлять, как этот Власка, ведь и время-то какое было, — ан нет! Никто не скажет! Весь мед шел в колхоз, сам дядя Ерас, насколько я помню, и не ел его — не любил сладкого — и на бражку никогда не переводил: считал это кощунством. Была в нем такая вот натура... И еще я тебе вот что скажу, — покрепчал голос отца, — что бы там ни судачили про Володьку, лично я твердо убежден: брехня все это! Злая брехня!

Весь вечер Володька то показывал нам пасеку, замирая возле ульев и вслушиваясь в тихое, усталое гудение пчел, при этом он закрывал глаза, как бы говоря: «Вы слышите, слышите, как они поют!..» — и убеждал, что всяк улей поет по-своему; то принимался делать сухую ерунду — начинал гоняться за кроликами, расстилался плашмя, хватаясь за длинные их ножонки, и сидел на траве, обняв перепуганного кролика и опять вслушиваясь, как бытает у того сердчишко.

— Жалко тварей! Вот расплодился на мою голову, а убить хотя бы одного не могу!.. К черту такое мясо, когда надо животину порешить...

— Так ты и не охотник? — удивился отец.

— Не-а, дядь Вася, не охотник... — И тут же кинулся в избу, выскочил с ружьем: — А ну-ка, стрельнем по паре раз!..

Он выволок из сеней почти новый бидон, приладил на изгороди, на колу, метрах в пятидесяти от нас.

— Ну, кто первый?

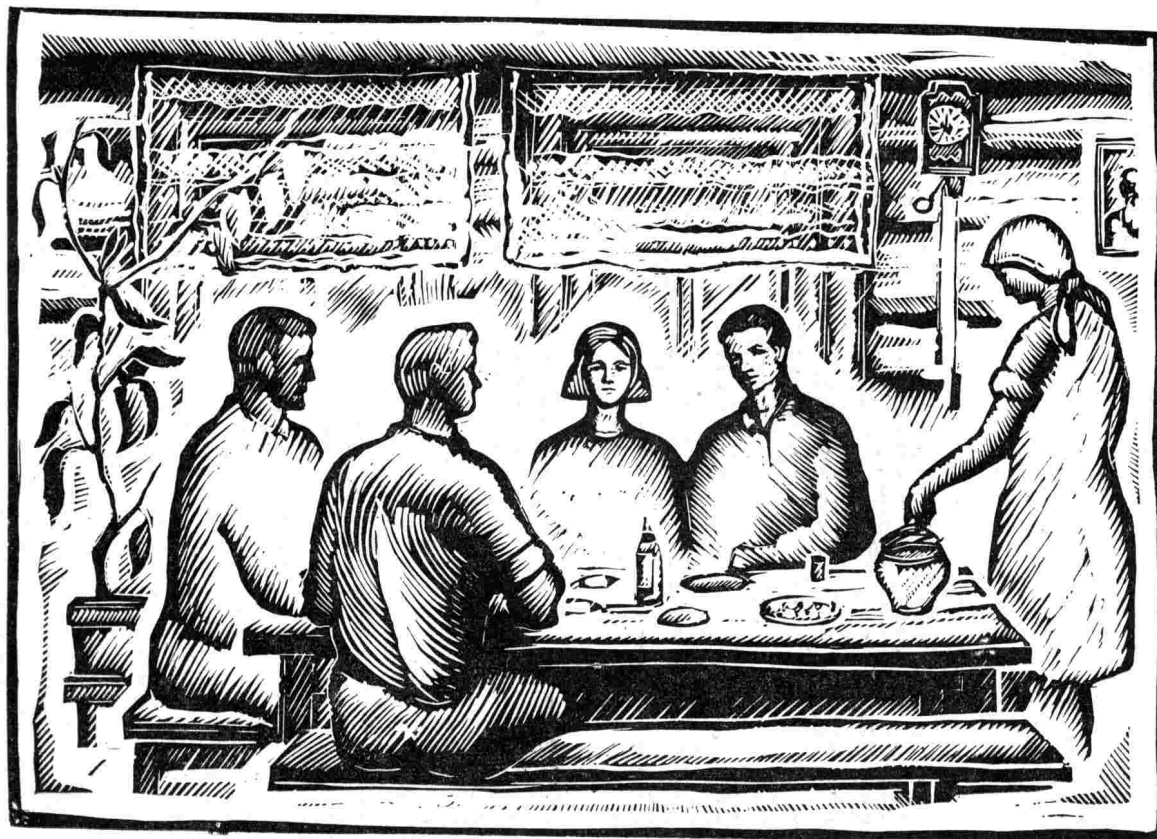
Мы с отцом промазали по очереди, стреляя то с колена, то лежа — для упора. Вовка с бесстрастным лицом судьи молча наблюдал, потом нетерпеливо выхватил у меня ружье и, едва приложившись, выстрелил — бидон тяжело, коротко звякнул, в самом узком его месте, в горловине, вспухла рваными краями дыра.

— Ну-у, брат!.. — только и сказал отец, не глядя на меня: он считал себя охотником и был немало сконфужен собственными промахами. — Да ты, Володя, я гляжу...

— Не-а, дядь Вася, это я случайно, — сказал Вовка, счастливо улыбаясь. Но тут из огорода вышла Люба, глянула на бидон и, передав ведерко свеженарытой картошки Люсе, пошла к Вовке. Мы замерли. Люба шла, чувствуя наши взгляды и сурово сводя к переносице разлапистые брови, но губы ее дрожали от смущения. Она была по-прежнему босая, яркое ситцевое платье упруго натянулось на ней, готовое расползтись по швам, как назревший бутон.

— Ты че сиди, — по возможности строго сказала она мужу, — развозился, как маленький... — Чтобы не улыбнуться, она прикусила нижнюю губу, щеки ее густо рдели. Неожиданно ловким движением она выхватила у него из рук ружье и побежала к Люсе.

В несколько прыжков Вовка нагнал Любу и хотел шлепнуть ее ладонью пониже спины, но не рассчитал: Люба резко остановилась, крутнулась, толкнула его в плечо, и Вовка завалился на траву. Пока он вставал, хохоча, из-за дома хажнул выстрел.



— Кроля убила!.. — прошептал Вовка. Люба вышла из-за избу, держа в левой руке вытянутую тушку кролика.

— Вот, ровно мужика нет на пасеке, — игнорируя нас, сказала она потрясенно взиравшей на нее Люсе, и улыбнулась, и обвела всех смеющимися, дерзкими глазами, — самой пришлось выучиться этой охоте...

Вскоре все сидели за столом, тщательно высокобленным, пахнущим сосной. Вовка выставил бутылку «Особой», купленной им по случаю в сельпо. В русской глинобитной печи постреливали дрова, в отсветах пламени Люба, снующая от шестка к столу, была похожа на гигантскую диковинную бабочку, невесть откуда залетевшую в эту тесноватую с темными углами избу. Вовка перехватил мой взгляд и, должно быть, мысли угадал — сказал, улыбаясь:

— Вам супруга-то моя, дядь Вась, нравится? Я ж выкрал залетку-то, можно сказать, силком отнял! — Вовкины глаза блестели испуганно, жарко, словно он еще и сейчас переживал тот момент, полный сладострастного и жуткого томления, как перед прыжком с высоты.

— Дура была, поверила, — с усмешкой коротко взглянула Люба на мужа, — думала: в город увезет, в квартире с ванной буду жить, на машине раскатывать, а он меня на пасеку заточил!..

— Нравится, нравится, Володя! — улыбнулся отец, и Любины щеки вновь потемнели от прилившей крови.

Теперь Вовка щурился, глядя на огонь в печи, и похихатывал:

— Нашла охломона: в город я ее повезу!.. Как же, больно надо! В городе таких — пруд пруди!

Люба тут же пукнула в Володьку тетеркиным крылышком, которым подметают шесток.

— Ребята-то где? — спросил отец, не без удовольствия наблюдая их возню.

— Да у мамки, вчера забрала в деревню. Пускай привыкает к внукам, пока их еще только двое!..

— Ты, Володя, я слыхал, в городе работал? — осторожно поинтересовался отец, начиная изда-лека.

— Ну! Было дело. Шофером третьего класса, машина «ГАЗ-69». Пропади оно пропадом!

— Что так? Заработки плохие? — как бы невинно удивился отец, а глаза его выражали удовлетворение.

— Не-а, дядь Вась, заработки там дай бог. Только что с того? Заработаешь — истратишь. Ну, отложить можно. На мотоцикл, к примеру. А дальше?.. Лично мне от такой жизни удовольствия никакого.

— Заливай, заливай, — как бы кротко разрешила Люба, готовившаяся ударить по Володьке каким-то козырем. — Пчела на мед летит, и ты это знаешь, и просто так, сдуру, ты тоже не сидел бы целый год в городе!..

— То-то и оно, что сдуру! — похлопал себя ладонью по лбу Володька и погас, хмуро следя за Любой. Видно, разговор этот у них повторялся часто, и оба они устали от него, но каждый раз возвращались к нему снова и снова. — Я, дядь Вась, — сказал Володька, поворачиваясь к столу и грузно налегая на него локтями, — чего-то вдруг задумываться стал. Это ж, думаю, елки-палки, на мне весь наш корень закончится. Дядька Егор осел в городе прочно. Двух других моих дядьев война поубивала

и батьку тоже, и одна только мамка и останется в деревне куковать свой век вместе с бабушками Натальей и Ариной. А бабушки — что им уж осталось-то... Как ломти отрезанные. Вы ж тоже все по городам расселились... — виновато глянул он на нас, как бы прося прощения за откровенность. — И вот что-то мне покоя не стало, всю свою жизнь в деревне вспоминать начал. Днями еще ничего, куда ни шло, крутишь баранку да глядишь перед собой, как бы не наехать на кого, а как ночь придет — куда и сон денется... Лежишь, в потолок глазами уставившись. Голова от мыслей опухает. Дедушка Ерас перед глазами, как живой. «Ты, — говорит, — Вова, ровенький-то мой не бросай, он, grit, удачливый, в нем и найдешь свой жизненный интерес...» Ну, помучился я, помучился. «Нет, — говорю, — дядя Егор, видно, не судьба». Сдал я свой «газон» — и пехом, пехом в деревню! А где и бегом пробежишь, — нет, точно, бежал, чего там скрывать! — сказал Володька, как бы сознаваясь в чем-то сокровенном, и покосился на Любу. — Вот так уж на меня нашла эта дума, оседлала, можно сказать...

Отец невидящими глазами уставился в низкое синее оконце и задумчиво улыбался чему-то. Теперь я был уверен, что эта поздняя поездка в деревню не пройдет для отца бесследно, — задумываться о жизни, о нашем в ней месте он будет все чаще и однажды нехлопотливо соберется и уедет в деревню навсегда.

В переплет рамы одна за другой вклеились призывно мерцающие звезды, где-то запыленно ухал филин, позвякивала боталом Вовкина лошадь. Вековые тикали ходики, пел за печкой сверчок, догорали, постреливая, еловые дрова, на всем — на столе, на стенах, на наших лицах — лежал ровный ответ теплой, вызревшей ночи. Лампу мы так и не вздули, хорошо было и без нее, и время как бы остановилось и исчезло.

Вовка выговорился, притих, и мы долго сидели молча. И в этой первозданной тишине явственно возник далеко в деревне и смолк, будто надломленный, первый петушиный крик. Вовка встрепенулся.

— Дядь Вась, — изменившимся голосом сказал он, — давайте-ка спать! Че мы в самом деле полнотемночим. Стели им, Люба, а я сейчас мигном... Гляну пойду на коня, как бы не расстроился...

Вовка встал и, ни на кого не глядя, вышел из избы. Люба выпрямилась, напряженно застыла, вся превратившись в слух, Вовкины сапоги сочно зашмурыгали по росистой траве, звук шагов удалялся, стихая, и вскоре где-то у Черемуховой лощины отозвался отрывистым ржанием лошади. И еще через мгновение будто ударили глухо, с дробным перестуком, копыта по мягкой пыли проселка...

— Куда это он? — сдавленно спросил отец. Люба рывком поставила локти на стол и уткнулась лицом в ладони. Теперь только слышно было как бы нараставшее тиканье ходиков, все заполнил собой их назойливый стук, оборвавшийся ружейными выстрелами, прозвучавшими далеко дуэтом.

— Мать твою в душеньку-то... Он что, сдурел?! — Ломая спички, отец прижег первую за вечер папиросу, с шумом выбрался из-за стола и, скрипя половицами, пошел на улицу.

Снова наполнила тишиной эта ночь, и казалось, колдовскому ее безмолвию не будет конца.

Мало-помалу широко отбелило край неба на востоке, одна за другой, как уголья в печи, стали тух-

нуть, подергиваться пеплом обессилевшие звезды. Тонко и высоко запела первая пчела, сорвавшаяся в лет с края отсыревшего от росы приставка. И вот уже загудел стан, и пчелы расчертили пространство над ним густо трассирующими линиями. А Люба все сидела в избе, уткнув лицо в ладони...

— Слушайте, вы, мужчины, надо же что-то делать! — растерянно говорила Люся. Она то бежала в дом, к отрешенно замершей молодой хозяйке, то возвращалась к нам, и вид у Люси был разнеспасительный. Пожалуй, столько самых разных впечатлений за одни сутки на нее еще не обрушивалось никогда. И Люся под конец села на крылечко, прислонилась спиной к косяку и закрыла глаза, и мягкое скуластое ее лицо стало неподвижным, как изваянное.

Вовка появился не с той стороны, с какой мы его ждали — от Черемуховой лощины, — он показался на проселке, разом возникнув из-за поросшего тальником спуска к броду. Шел впереди своей игреней. Шел медленно, будто обдумывая что-то. Лошадь брела в поводу, а за ней выбралась из-за кромки спуска еще одна лошадь, как видно, привязанная за узду к Володькиной, и на той, задней лошади, сидел человек. Еще издали, по тому, как он колыхался в седле, было видно, что человек этот связан по рукам и, как вьюк, приторочен к седлу.

Вовка увидел нас. Опять, как и вчера, у бабушкиного кряжа, он смотрел на меня — зрачки в зрачки, кто кого пересмотрит. Но теперь и тени скованности и недовольства чем-то не было в Володькином лице — оно было светло и покойно и дышало ровной уверенностью.

В седле сидел Ленька Куприхин, и впрямь связанный, с ружьем за плечами. Темный, взъерошенный, с запекшимися в горячечной злобе губами, он весь подобрался, как загнанный в угол хорек. Вчерашней вялости в Леньке как не бывало.

— Ну, дак че, брательник, пойдем харюсков-то ловить? — весело спрашивал меня Володька. — Я это сейчас еду себе тихоохонько, то-олько к броду сунул — ррраз! Елки-палки! Ка-ак всплеснет на шеверке — ну, харюзище!.. Сейчас самый клев! — Бросив поводья, Володька метнулся к стене дома — вдоль паза, прижатое с обеих сторон березовыми клинушками, ждало своего часа тонкое черемуховое удило.

— Я гляжу, ты уже поймал, рыбак! — светясь ничуть не меньше Володьки, кивнул на связанного Леньку отец.

— Ну! — обрадованно подтвердил Володька. — На месте субчика прихватил!.. — Позади Леньки переброшены были поперек лошади две кожаные вместительные сумы, доверху наполненные зерном. — Вот и вся загадка-разгадка!..

Из избы вышла и встала на пороге Люба. Глядела на Володьку. Со щек ее за эту ночь стек румянец. Пленного Леньку она будто не замечала.

— Ты уж прости меня, Любушка, — виновато и тихо, чтобы слышала одна Люба, сказал отец, — усомнился я грешным делом...

— Ну что вы, дядь Вась, — сказала Люба, все так же не сводя с Володьки глаз. — Это вот все он, злобный, людей понапугал! — И лицо ее все более оживало.

В этот момент надо мной закружилась пчела. Какое-то мгновение я оцепенело следил за ее полетом и, зажав голову локтями, побежал к избе. У самого порога пчела спикировала мне на макушку.



Леонид
Хрилев



«Маша, будь умницей...»

Загрохотало утро в дверь прикладом
и теменью легло на наши лица.
Отец сказал: — Без паники... Не надо!
Еще вернусь... Недолго все продлится...
«Еще вернусь», — нам сосны прошумели,
у самого крыльца роняя шишки.
А май гудел над медуницей шмелем,
и загорались розовые вспышки
густого клевера.
Роса стекала в травы
и плавилась, на стебельках повиснув.
И лес залечивал свои ожоги, раны,
в стволе осколок заплывал живицей.
Мне было восемь. Я все помню. Помню.
Отец шагнул.

Уперлось дуло в спину,
и било по ногам ржаное поле,
где сорняки росли наполовину.
И сапоги фашиста каблуками
вминали в глину лепестки рассады.
А птицы горло в речке полоскали,
оглохшие от гула канонады.
Что понимал я! В чем искал ответа!
Но страшная беда легла на плечи.
Калечила война второе лето,
и у могил

берез горели свечи.
И у дороги не было возврата,
а был конец у желтого обрыва,
где солнце, как летящая граната,
и лишь одно мгновение до взрыва.
И смолкнет лес.
И вздрогнет чуть ромашка.
От выстрела посыплются хвоинки.
И грубая отцовская рубашка
набухнет кровью у ночной тропинки.
И муравьи поднимутся в атаку
и поползут под сомкнутые веки.
По-бабьи ветер будет ночью плакать,
подняв, как руки, у осины ветки.
От тучи тень версту перечеркнула.
Он понял вдруг глухую неизбежность,
замедлил шаг.

Уперлось в спину дуло,
и что-то проскрипел затвор небрежно.

Тогда он повернулся к нам, небритый,
и маму отыскал последним взглядом,
еще свинцом к закату не прибитый,
не сбитый на допросе с ног прикладом,
как будто стал меж вечностью и тленьем
от нас всего на расстояньи шага,
на расстояньи памяти — мгновеньем
у тихого заросшего оврага.
Что видел он! Мои босые ноги!
И руки мамы в рубцах от стирки!
Иль поле молодое у дороги!
Он не сказал: — Прощайте и простите...
Худой и длинный, в сером пиджачишке,
в зрачок застывшей мушки глядя прямо,
наверно, думал о своих мальчишках.
Нас трое малых. Трудно будет маме.
Его глаза прощально и печально,
как будто бы себе в укор: «Как глупо!» —
из-под густых бровей нам прокричали,
и, как молитву, прошептали губы:

— Маша, будь умницей...

Рассветы продырявленные плыли
над нашей крышей, и качались сосны.
И запах мяты с горечью полыни
мешали дни и продирались к солнцу.
Сквозь черепа убитых лезли травы...
А мы росли, дрова в лесу рубили,
и по ночам будили нас составы,
и весны нам в стволы берез трубили.
А мама все старела понемногу,
вздыхала, засыпая в хлеб мякину,
и вечером молилась тихо богу,
чтоб нас, безбожников, он не покинул.
Как вынесла разруху и все беды!
С соседкой-вдовушкой в День Победы
поплакала среди цветущих яблонь,
но в ней жило и в памяти не слабо:

— Маша, будь умницей...



Года из памяти восходят чередой
с любовью первой, с первой бедой,
и вижу я над утренней водой,
на стеблях трав их тихое свеченье.
Как пахнет луг, обрызганный росой,
где бродит месяц звонкий и босой,
и я вожу тяжелою косою,
испытывая сладость и мученье.
Как мог я знать, что луговая хмель,
где пролетает бомбовозом шмель
и на краю болота дремлет ель,
в меня вольется и забродит соком?
Как мог подумать, в озеро входя,
или под струи летнего дождя,
или коней в ночное уводя,
что зреет песня в поле одиноком!
И я ее услышу и пойду
за нею следом, шалый, как в бреду,
по разнотравью, по речному льду,
дыханием в метели согревая.
И удивлюсь потом, на гребне лет:
откуда бьет в глаза мне дивный свет!
И вспомнится вдруг... Солнцем разогрет
весенний луг... Дорога полевая...

Багульник

На берегу колючий ветер
зарю закутывал в снега
и, у сосны меня заметив,
метнулся, словно кабарга,
и задышал в лицо порошей,

и бросил под ноги занос,
 шептал как будто:
 — Мой хороший,
 ну кто тебя сюда занес!!
 Какое тайное смятение
 влекло в безмолвие меня!
 Зачем мне хрупкое растение
 без соловьиного огня,
 без молодой звенящей силы,
 что в почках пряталась весной!
 Над ним метели голосили
 и месяц замерзал лесной.
 В сугробе ветки утонули.
 Косые тени. Волчий след.
 Какой безумец!
 Я верну ли
 весенний звон,
 тепло,
 рассвет!
 Я шел к нему —
 к тебе —
 сквозь стужу,
 что замела твои года.
 Моим дыханьем лес разбужен,
 в снег рыхлый падала звезда.
 Я вырастал и растворялся
 в морозно-дымчатой дали.
 А после долго удивлялся:
 в квартире ветки расцвели!
 Цветы малиновой раскраски
 пахнули свежестью весны.
 Им не хватало только ласки,
 тепла средь зимней белизны.
 Ты прикасалась к ним щекою.
 Терялось прошлое во мгле.
 И улыбалась ты...
 Такою
 живи и здравствуй на земле!

□ □ □

**Тамара
Невская**



☆

По тем дорогам, где ходят люди,
 В часы раздумья не ходи...
 Федор СОЛОГУБ.

Мы горожане. Мы привыкли так:
 Мечтать в толпе, толпы не замечая,
 И, уплатив очередной пятак,
 Читать в метро, троллейбусе, трамвае.

И бормотать, не разжимая губ,
 Запомнившиеся надолго строки.
 Ведь ошибались иногда пророки,
 И зря пророчил Федор Сологуб.
 Поток автомобилей мчит из тьмы,
 Но к светофорам так привыкли мы,
 И в это время мыслей целый ворох
 Проносится. Но не о светофорах.
 Когда иду с собой наедине
 По многолюдным улицам столицы,
 Я встречаю не замечаю лица,
 И люди думать не мешают мне.
 И на ходу сливается в созвучья
 Разрозненное временем. Быть может,
 Рождаются так облака и тучи
 Из размышлений и воспоминаний
 Морей и океанов, возвращаясь
 Дождем и снегом, ливнями и градом.

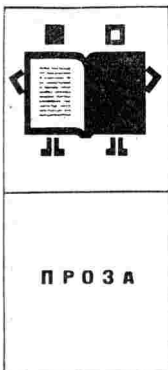
Поют протяжно плотогоны...

Плывут неспешно берега,
 И ощущение движенья
 Воспринимает только зренье.
 А неподвижная река
 Не искажает отраженья.
 Но знаю, что плывут плоты,
 Поют протяжно плотогоны,
 Я слушаю заворуженно...
 И нет в просторе пустоты.
 И будто вовсе нет меня,
 Так я их песне не мешаю.
 Весна такая молодая...
 И будто вовсе нет меня.
 Еще никто не убивал,
 Еще не выдуманы стрелы,
 И у огня не много дела,
 И будто вовсе нет меня.
 Прозрачна тихая река.
 Пусть остается песнь протяжной.
 Плывут плоты издалека...
 Куда!.. Да разве это важно!!

☆

Я разучилась находить грибы.
 Но это отдых мой не омрачает.
 Пронизанный закатными лучами,
 Лес полон беспечальной ворожбы.
 Пошла я вслед за солнечным лучом
 И набрела на вырубку лесную.
 Давно здесь пни замшелые тоскуют
 По срубленным стволам. А людям —
 нипочем.

По лесу не бродила с детских лет.
 Валяется бутылка из-под пива.
 Малинник верно стережет крапива
 [Хотя малины там давно уж нет].
 А комаров летающие хоры
 На завтра обещают теплый день.
 Туман, как будто спущенные шторы,
 Завесил близь окрестных деревьев.
 И сбережет тепло ночной земли
 От холода бездонного небес.
 Я обернулась. Еле виден лес.
 Недавнее мне кажется вдали.
 Среди цветов в аллеях санаторных,
 На клумбах и обочинах дорог
 Жиреют орды серых мухоморов...
 И это тоже жизненный урок.



Сергей Львов

ДРУГ МОЕГО ДЕТСТВА

РАССКАЗ



Рисунки Е. Медведева.

Ребятам, которые пришли в клуб, было лет по двенадцать-тринадцать. Девочки пересмеивались около зеркала. Мальчики переговаривались грубыми голосами и толкали друг друга. Один из них — толстый, смуглый — отделился от товарищей, прошел мимо девочек, которые поправляли перед зеркалом свои челки, косы, косички, конские хвосты, прошел, не взглянув на них, неспешно приблизился к стенду с книгами, внимательно изучил его, достал из кармана записную книжку, сделал запись, затем так же неторопливо пересек фойе, подошел к афише, изучил афишу, снова достал записную книжку и снова сделал запись. Я смотрел на него и чувствовал: это я сам хожу по фойе. Это я записываю в записную книжку все, что понадобится мне завтра, когда я буду писать заметку для стенной газеты. Это я не замечаю всех девочек перед зеркалом. Это я не замечаю той одной, главной среди них, ради которой этот проход через весь зал. Я бы еще долго смотрел на самого себя. Но тут меня позвали в кабинет директора.

Там уже сидел Аркадий Басов, с которым мы должны были вместе выступать. Я давно не видел Басова. Директор хотел нас познакомить, но Басов сказал:

— Старые знакомые, старые знакомые, друзья детства.— Потом он спросил меня:— Что нового, что хорошего?— и, не дожидаясь ответа, объявил:— Слышали, слышали... Видимся редко, жаль, но я в курсе. Присаживайся, включайся...

1

Я сел на диван, на котором сидели рядом работники клуба, и стал вместе с ними слушать Басова.

— Ребята мне верят,— говорил он.— Я их спрашиваю: кто вы есть? Хлюпики или мужчины? Они чувствуют: Басов говорит с ними без манной каши. Они понимают: Басову можно такой вопрос задать, какой папочке с мамочкой не задашь. И Басов ответит. Прямо. Без манной каши.

Тут пришли сказать, что зал полон, пора начинать. Пока библиотекаря представляла Аркадия Басова, я старался найти в зале толстого мальчика с записной книжкой, слушал невнимательно, и до меня долетали только обрывки ее речи:

— ...переменил много нелегких профессий... прошел много дальних дорог... нехоженных троп... его маршруты пересекли океан...

— Два,— мягко поправил ее Аркадий Басов.

— ...пересекли два океана, леса, моря, горы... ведет с вами прямой разговор... смотрит в глаза и спрашивает: кто вы есть?.. учит вас мечтать... хочет, чтобы вы были такого же, как он, неумяного характера...

Библиотекаря кончила. Ребята захлопали. Аркадий Басов выждал минутку, потом показал жестом, что хлопать больше не нужно, снял микрофон с подставки, взял его в руку и прошелся по сцене.

— Видно меня всем? Слышно всем? Разговор у меня с вами будет о том, как ставить перед собой цель и как ее добиваться. Разговор прямой. Без манной каши. Согласны?

И зал дружно загудел: согласны!

— Если я скажу — задавайте вопросы, все будут молчать и смотреть друг на друга. Правильно я говорю? Но я сам знаю, о чем вы хотите меня спро-

силь. Вы хотите меня спросить, как я стал писателем. Вот об этом я вам сейчас расскажу.

Он вспомнил давнюю встречу с человеком, который сказал ему: «Надо быть, парень, упрямым! Решил, парень, шагать, шагай. Дорогу осилит идущий». Он, правда, не знал тогда, кто дал ему такое напутствие, но потом увидел портрет этого человека в газете, узнал эти непокорные волосы, этот волевой подбородок и понял, с кем его свела судьба. И другую встречу он вспомнил — он еще только носил в душе мечту о книге, — когда другой человек ему сказал: «Наше дело, парень, такое! Семь раз примерь, один отрежь». Не удивляйся, это особенность нашей профессии».

И эти советы, которые давали ему на его жизненном пути разные люди, называя его неизменно «парень!», он обращал теперь в зал, тоже называя тех, кто сидел в зале, «парнями», а один раз даже «мужиками» (мы, мужики, такой народ, сказал он. Мальчики в зале приосанились).

За то время, что я его не слышал, он стал опытным оратором. Только чуткое ухо могло бы уловить, что непринужденная беседа катится по давно проложенным и хорошо накатанным рельсам. Впрочем, может, я несправедлив. Басову действительно есть о чем рассказать. Насколько я знаю, он действительно переменял много профессий (перепробовал этими вот руками, сказал он). Говорят, ребята чувствуют фальшь сразу. Но Басов рассказывал о самом себе то, что искренне о самом себе думал. Он сразу завладел аудиторией и даже позаботился о том, чтобы расположить аудиторию ко мне.

— Сегодня здесь после меня будет выступать мой друг, — сказал Аркадий Басов. — Вот он, видите, сидит за столом, серьезный такой. Он всегда был серьезным. Его профессором в школе звали. Сидит волнуется. Ведь волнуешься, Юра, а?

Мне оставалось только кивнуть головой.

А Басов уже рассказывал, что в детстве мы жили в одном дворе, учились в одной школе, дружили, видимся теперь редко — жизнь такая, он, например, всегда в дороге, но вот встретились...

— Вам трудно поверить, что два таких взрослых дяди тоже учились в школе. А вы на веру ничего не принимаете — такой народ. Так вот, чтобы вы поверили, я вам расскажу, какую мы однажды вместе штуку выкинули.

И он рассказал, как меня запрятали в кабинете естествознания в шкаф, где стояли банки с заспиртованными змеями. Рассказал эту историю так, что я тоже смеялся вместе с залом. Правда, мы никак не могли быть участниками этой проделки вдвоем, но Басов повернулся ко мне за подтверждением:

— Не забыл еще, как нам от Зинаиды Ивановны влетело?

Мне снова пришлось кивнуть головой. Никакой Зинаиды Ивановны я не помнил, но ребята заранее расположились ко мне за штуку, которую я выкинул вместе с Басовым и за которую нам обоим попало от несуществовавшей Зинаиды Ивановны. Если я подхвачу в своем выступлении ниточку общих воспоминаний, говорить мне будет легко.

Впрочем, он еще не закончил своего выступления. Скоро я понадобился ему снова.

— Мой друг Юра может вам подтвердить: никто в нашей школе не думал, что я добьюсь, чего хотел. Но я этого хотел. И я этого добился.

И Аркадий Басов рассказал, как с детства учился замечать то, чего люди обычно не видят.

— В одной книге я прочитал простые вопросы, какими можно проверить свою наблюдательность.

Ну, например, сколько колонн у Большого театра? А вы знаете?

Ребята начали выкрикивать наугад:

— Десять! Восемь! Двенадцать!

— А ты, Юра, что скажешь? — повернулся Аркадий Басов ко мне. — Сколько колонн у Большого театра?

Надо было сказать «не знаю», чтобы Басов мог продолжать свою игру с залом, но я вдруг вспомнил день, когда сосчитал, сколько колонн у Большого театра.

— У Большого театра восемь колонн, — отчетливо выговорил я.

— Правильно! — подтвердил Басов. — Вот видите: научному работнику тоже нужна наблюдательность. — Он на секунду остановился и в первый раз посмотрел не мимо меня, а на меня. Да нет, это мне показалось. А он начал объяснять, как это плохо — ходить по городу и не замечать таких простых вещей.

Этого рассуждения я не слушал. Я вспоминал тот далекий день моего далекого детства, который много лет назад провел около колонн Большого театра.

2

Марина пришла в нашу школу, когда мы учились в четвертом классе. Это я запомнил точно, потому что раньше нас называли не «классом», а «группой». Мы даже сами умели объяснить почему. «Класс» — понятие общественное, оно обозначает людей, объединенных одинаковым отношением к средствам производства. К школе оно неприменимо. Но на четвертом году учения нас стали называть четвертым классом. Тогда же вместо трех прежних отметок — неуд, уд и вуд появились пять новых — очень плохо, плохо, посредственно, хорошо и отлично. Некоторые учителя скоро стали ставить в журнале просто единицы, двойки, тройки, четверки, пятерки. На заседании учкома (я входил в него от учащихся I ступени) был сделан запрос администрации: не означает ли это возвращение к нравам старой гимназии? Заведующая школой, которую тогда стали называть не заведующей, а директором, объяснила, что нет, не означает. Хотя в гимназии, добавила она, было кое-что ценное. Гимназия давала прочные знания. Если мы чего-нибудь не понимаем, она объяснит нам это на следующем заседании учкома. Но учком быстро потерял все свое значение, и я не могу вспомнить, состоялось ли следующее заседание. А может быть, я не могу вспомнить этого потому, что тот год запомнился мне не реформами в школе, а тем, что в наш класс пришла Марина.

У Марины были черные волосы, ярко-синие глаза и необычная фамилия — Костанди. Еще было известно, что она гречанка и приехала из Керчи.

Анна Васильевна посадила Марину к Вове Михайлову. Вова Михайлов рисовал лучше всех в классе, рисовал постоянно и, чтобы не рисовал во время уроков, был давно посажен на первую парту.

Новенькая сидела рядом с Вовой Михайловым и все время оборачивалась назад, чтобы обмакнуть ручку в чернильницу-непроливайку. Непроливайка — на четырех человек одна — стояла на нашей парте. И каждый раз, когда Марина оборачивалась, я сбивался с того, что писал, потому что никогда ране-

ше не видел таких черных волос и таких ярко-синих глаз. И я не мог сразу смотреть на доску, на которой было написано решение задачи, к себе в тетрадь и на Марину, чтобы поймать ту секунду, когда она обернется. К концу уроков у меня в голове все перемешалось, и я твердо знал только одно: страшно завидую Вове Михайлову. Никому никогда так не завидовал!

А Вова обращал внимание на свою соседку недолго. Он замечал ее ровно столько времени, сколько понадобилось, чтобы научиться рисовать ее. Он рисовал ее на промокашках, на листках, вырванных из тетрадок, на полях учебников, на доске. На каждом следующем рисунке он делал ее глаза все больше и больше, так что постепенно они заняли все лицо, а ресницы — все длиннее и длиннее, так что они стали упираться в края промокашки, в текст учебника или в верх доски, а черные волосы — все курчавее и курчавее. И чем больше он делал глаза, чем длиннее ресницы, чем курчавее волосы, тем больше становилось сходство. Девочки, которые вначале сердились, что Вова все время рисует Марину, перестали сердиться, а потом начали посмеиваться над этими рисунками, и Марина вдруг обиделась. Тогда Вова признался мне, что она ему надоела. Он не понимает, почему я злюсь, что она сидит с ним, и неужели я хочу с ней дружить. Если хочу, могу пересадить ее на свою парту.

Поверить этому было невозможно!

Месяц я завидовал Вове, а он, оказывается, не только не рад, что сидит с такой девочкой, но даже удивляется, что я ему завидую, хотя я думал, что этого не заметил никто. И еще оказалось, что Вова тоже надоел Марине. И все разрешилось очень хорошо. Федя Бычков, который сидел рядом со мной, согласился пересест к Арсику Хачатрянцу. Они вместе строили модель дирижабля, и им было о чем поговорить на уроках. А Марина пересела ко мне.

Несколько дней каждое утро я шел в школу со страхом. Мне казалось, что Вова спохватится и позовет ее вернуться, или Анна Васильевна рассадит нас, или Марина передумает. Не может быть, чтобы и дальше все шло так. Но дальше стало еще лучше.

Помню день, когда я домой бежал бегом. В душе было такое чувство радости, что казалось, ей там не поместиться. И даже дышать трудно, нужно быстро идти, нужно бежать, лететь нужно, только тогда можно вынести эту радость. Нас с Мариной выбрали в редколлегию... Мы можем вместе оставаться в школе — переписывать и наклеивать заметки, рисовать заголовки. И когда мы сделаем один номер и вывесим его, счастье не кончится. Можно будет приниматься за следующий!

Наша школа помещалась в Леонтьевском переулке. Она до сих пор стоит на том же самом месте. Только переулок переименовали, он теперь улица Станиславского. Я жил далеко от школы — на Садово-Триумфальной, а Марина поближе — в Ермолаевском. Каждый день мы возвращались из школы вместе. Мы сворачивали в Гнездиковский и проходным двором — этого двора уже давно нет — выходили на Тверской бульвар и шли по нему до памятника Пушкину. Памятник Пушкину еще стоял на старом месте. На дорожках бульвара лежали темно-бурые листья. Сторожики сгребали их граблями в кучи и поджигали. Листья медленно тлели. Над ними поднимался пахучий дым и дрожал нагретый воздух. Медленно проходили мы кусочек бульвара от железной вертушки до памятника Пушкину. Тут мы сидели на скамейке под старыми чугунными

фонарями или поворачивали в другую сторону и шли до серой глыбы памятника Тимирязеву и опять возвращались к Пушкину.

Марина рассказывала мне о Керчи, где жила, пока ее родители не переехали в Москву и не привезли ее с собой. О городе, где улицы круто поднимаются в гору. Там у них рядом с домом был маленький виноградник. На винограднике они выкопали глиняную вазу, и ее папа сказал, что ваза пролежала в земле тысячу лет. Она привезла с собой черепок от этой вазы.

— Покажу его тебе, когда придешь в гости, — пообещала она.

Она рассказывала, а я слушал. Некоторые слова она выговаривала иначе, чем их произносят у нас в Москве, а некоторых ее слов я не знал вовсе. Этими словами назывались ветры, которые дуют в Керчи, рыба, которая ловится в Керчи, виноград, который растет в Керчи. Я еще никуда не уезжал из Москвы, не видел ни моря, ни гор. И я чувствовал — никто не может так говорить, как Марина, и я знал — никто, кроме нее, не приехал из такого города, ни у кого нет такого голоса, таких ударений в словах, таких глаз...

Она рассказывала о керченском базаре, где продают мидий и крабов, винные ягоды, миндаль и вино, о городе, где рядом живут и русские, и татары, и евреи, и греки, и караимы, и итальянцы и где рядом с городом стоит гора Митридат... А еще есть пещеры. Зайдешь и не выйдешь, если не выйдут.

— Пещеры, как в «Томе Сойере»? — спросил я.

— Больше! — уверенно ответила Марина. Но потом призналась, что «Томас Сойера» не читала, и я принес «Томас Сойера» в школу. На пустом уроке мы ушли в комнату за сценой, где лежали трубы духового оркестра, и читали «Томас Сойера» вместе. Я успевал читать страницу быстрее, чем Марина, и пока она дочитывала страницу, глядел на нее и понимал: не наглажусь никогда.

Когда мы возвращались вместе из школы, и когда мы вместе читали книги, и когда мы вместе делали газету, нас дразнили. Но мы решили, что не будем обращать на это внимания. Никогда. Ни за что. Это было трудно, но мы переупрямили всех. Если Марина не приходила в школу из-за простуды, Анна Васильевна говорила на уроке, чтобы я отнес ей домой тетрадь с контрольной работой или объяснил задания, и в классе над этим уже не смеялись. Привыкли.

Началась зима, а мы по-прежнему возвращались из школы вместе. У Марины была шапка из пыжика, с длинными ушами. Если Марина не завязывала уши, когда мы шли рядом, я держал в руках пушистое ухо ее шапки. Эту шапку привез Марине дядя. Он был капитаном и плавал где-то на Севере. Оттуда он и привез ей шапку из пыжика, с длинными мягкими ушами. Ни у кого больше не было такого дяди-капитана, и ни у кого больше не было такой шапки из пыжика, и ни с кем больше, кроме меня, не дружила Марина.

Родителей ее я никогда не видел. Когда я приходил к Марине домой, я заставал только ее бабушку Екатерину Христофоровну. Глаза у бабушки были тоже синие, только выгоревшие, а волосы совсем белые. Она угощала меня изюмом и винными ягодами, молчала и вздыхала...

Потом наступили морозы. По дороге домой надо было останавливаться и, отвернувшись от ветра, тереть щеки варежками. Но мы по-прежнему возвращались из школы вместе, и я по-прежнему делал крюк, чтобы проводить Марину. Попрошавшись с ней, я бегом бежал к автобусу. На оста-

новке к фонарю был приделан игрушечный автобус — коричнево-красный и круглобокий, как докторский чемодан. Наконец к остановке подходил точно такой же автобус, только большой — английский «Лейланд», который ходил тогда по маршруту номер шесть от Красной площади до Белорусского вокзала. У него были высокие колеса и лесенка из четырех крутых ступенек. Я влезал в автобус и не успевал продышать просвет в мохнатом льду, покрывавшем стекло круглого окошечка, как автобус останавливался на углу Садово-Триумфальной. До подъезда я бежал бегом. Но все равно дома кто-нибудь говорил:

— Опять гуляли? Уши, рыцарь, не отморозил?

Какие уши! Почему рыцарь? Почему отморозил?

На моих прежних товарищей — Федю Бычкова и Арсика Хачатрянца — у меня не оставалось времени. Они вначале обижались, а потом так занялись своими отдельными от меня делами, что, когда я хотел присоединиться к ним, ничего не получалось. Но я жалел об этом недолго. Постепенно и товарищи перестали на меня обижаться, а к весне наши имена «Марина» и «Юра» стали произносить как одно слово «Маринасюррой», говорили: «спросим Маринусюррой» или «поручим это Маринесюррой».

Весной, когда по Леонтьевскому переулку и обоям Гнездиновским покатила ручья, я признался Марине, что пишу стихи. И прочитал ей эти стихи. Но одного стихотворения я ей не прочитал. Это стихотворение было о ней. Те, которые я ей прочитал, она переписала себе в тетрадь своим красивым почерком.

Дома у меня уже знали о Марине. Моя мама хотела познакомиться с ее мамой на родительском собрании, но ее мама на эти собрания никогда не приходила. Тогда моя мама сказала, чтобы я пригласил Марину в гости. И я пригласил Марину в гости. И Марина после школы шла ко мне в гости, но не дошла, повернула домой. Я обрадовался. Я не знал, как это будет, когда она придет к нам. В маме я был уверен, но папа мог пошутить. И я еще не знал, как и о чем мы будем говорить на глазах у папы, мамы и брата.

Потом настал мой день рождения. На него я пригласил всех товарищей. И, конечно, Марину. Мой папа, когда увидел ее в коридоре, только ахнул:

— Ну, знаешь!

А мама строго сказала:

— Не смущай мальчика.

В этот день Аркаша Басов тоже был у меня в гостях. Мы жили в одном дворе. Наши родители были знакомы. Меня и в школу-то в Леонтьевском отдали потому, что Аркашина мама очень расхваливала моей эту школу. Аркаша был старше меня на год и считался в школе личностью известной. Мои товарищи хотели, чтобы я — его сосед по двору — познакомил их с Аркадием. Но из этого ничего не получилось: во дворе мы были знакомы, а в школе он меня не замечал. А тут пришел ко мне на день рождения, не важничал, очень всем понравился, и скоро я услышал, как Арсик Хачатрянц говорит Феде Бычкову:

— Сам Аркадий сказал: «пежо» лучше, чем «дюнлоп».

Спор шел о марках велосипедов. Они были тогда великой редкостью. А у Аркадия был собственный велосипед!

Я был уверен, что Марина понравится Аркадию, но я боялся, что он ей тоже понравится. На следующий день в школе я спросил у нее об этом. И она вдруг сказала:

— Все они в пятом «б» такие. Подумаешь!

Я обрадовался, потом удивился. Мы все время проводим вместе, откуда она успела узнать, какие они в пятом «б»? Но все-таки, когда она отмахнулась от Аркадия, у меня с сердца упала тяжесть. Именно такими словами я тогда подумал об этом. В тот год я впервые узнал, что сердце может заколотиться не оттого, что бежишь, не оттого, что испугался, а оттого, что смотришь на Марину или просто думаешь о ней...

А потом длинный счастливый год, когда мне каждое утро хотелось идти в школу, — опять увижу Марину, буду сидеть рядом с ней, вместе с ней после уроков переписывать заметки и рисовать заголовки, вместе с ней возвращаться домой, — этот длинный счастливый год кончился.

Наступило лето. Меня отправили в лагерь. Марину с бабушкой — в Керчь. Я подарил Марине «Томас Сойера», которого мы читали вместе. Она подарила мне черепок от вазы, которую нашла на виноградушке.

«Скажи мне твой адрес, я напишу тебе письмо». Я целый день думал, как я выговорю эти слова, как буду потом писать ей письма. Но я вдруг не смог сказать ни этих слов, ни того, как буду ждать, чтобы лето кончилось. Мы постояли перед воротами ее дома, — этого дома тоже уже давно нет, — и она ушла во двор с «Томом Сойером» в руках, а я пошел на Садово-Триумфальную с глиняным черепком в кармане.

И все-таки лето захлестнуло меня. После лагеря я жил на даче у Аркадия — об этом договорились наши родители. В дачной компании Аркадий был главным. И меня тоже приняли в эту компанию. Правда, не сразу.

В то лето я очень хотел дружить с Аркадием. Он умел делать все то, что мне давалось плохо или не давалось совсем: ездил на велосипеде, не держась руками за руль, здорово играл в волейбол, в городки, в лапту. Когда он выходил на площадку, его все слушались. А если у него что-нибудь получалось хуже, чем у других, он говорил: «А, мур, это детство, пошли!» — и уводил нас всех за собой к другому занятию. На Пушкинской горке — так называлась улица, где стояла дача, в то лето часто раздавались слова: «Сам Аркадий сказал!»

И вдруг, когда до школы оставалось несколько дней, он забросил всю остальную компанию и стал водить за собой меня одного. Однажды мы оставили всех на городошной площадке и ушли в березовую рощу. Было жарко, но уже не по-летнему, а по-осеннему, и, когда по дороге в рощу мы проходили через орешник, с лица все время приходилось снимать нити паутины.

В роще мы легли на колючую траву, глядели на небо и молчали. А потом заговорили о нашей дружбе. И Аркадий сказал, что раз мы стали друзьями и будем друзьями всегда, каждый из нас должен доверить другому свою главную тайну. Мне это понравилось, и мы порешили, что в знак вечной дружбы запишем наши тайны на куске бересты, а бересту спрячем. Навечно.

Аркадий сказал:

— У меня вот какая тайна. Я хочу стать путешественником. Знаменитым.

Это действительно была великая тайна. А у меня великой тайны не было. Я дружил с Мариной, но об этом все знали. Иногда мне хотелось, чтобы лето скорее кончилось, и чтобы я поскорее вернулся в школу, и чтобы все это было, как в прошлом году. Но и это тоже не было тайной. Аркадий видел



Марину, он должен сам понимать, что я хочу скорее встретиться с ней снова.

И все-таки у меня тайна.

— Я люблю Марину Костанди, — сказал я. Это была действительно тайна. Об этой тайне я не говорил даже ей. — Ты хочешь стать знаменитым путешественником, а я хочу жениться на Марине Костанди.

И Аркадий согласился, что это действительно такая тайна, которая стоит его тайны.

Мы сбежали на дачу и вытащили из чулана толстую темно-зеленую бутылку, на дне которой осталось немного вишен, пересыпанных сахаром. Вишни мы съели — они сладко обжигали рот, — а бутылку вымыли около колодца и высушили. Потом мы нацарапали на бересте наши тайны, число, месяц и год, свернули бересту в трубочку, спрятали трубочку в бутылку, заткнули бутылку пробкой, залили пробку стеарином от свечи, вложили бутылку в дупло, закрыли ее мхом, а дупло замазали глиной. Если этот дуб до сих пор стоит на опушке леса около станции Клязьма, в его дупле до сих пор лежит бутылка с куском бересты, на котором написано:

«Хочу стать знаменитым путешественником. Аркадий. Люблю Марину Костанди. Хочу на ней жениться. Юра».

Первого сентября я всю дорогу до школы бежал бегом.

В школе у меня есть Марина!

И в школе у меня есть друг! Друг навечно, который знает мою тайну!..

Но Марина в класс не пришла. Новые учителя — по каждому предмету свой — не знали нас ни в лицо, ни по именам. Каждый новый учитель, входя в класс, проводил переключку, и пять раз за этот день — на русском, арифметике, географии, немецком и физкультуре — я услышал, как учитель вызывает: «Костанди!» — и пять раз на русском, арифметике, географии, немецком и физкультуре дежурный отвечал: «Нет!»

Не пришла Марина и на следующий день. И на третий. Через неделю она тоже не пришла. А потом Вова Михайлов — он стал старостой класса — аккуратно вычеркнул ее из журнала.

— Ты что делаешь?

Вова, рисуя на промокашке по памяти огромные Маринины глаза, такие, что они заняли пол-лица, и Маринины ресницы, такие, что они упирались в край промокашки, спокойно сказал:

— Костанди у нас больше учиться не будет.

— А где она будет учиться?

Вова пожал плечами.

В прошлом году я спросил бы у Анны Васильевны, что с Мариной, но Анна Васильевна уже не занималась с нами. У нее были новенькие. Малыши. Я не мог идти к ней в коридор к малышам. И вообще я больше не мог в разговоре со взрослыми произнести имя Марины.

Несколько дней я на что-то надеялся, а потом пошел в Ермолаевский. Сначала я долго стоял перед воротами, потом во дворе, никак не решался открыть двери домика, на втором этаже которого жила Марина, потом поднялся на второй этаж и долго не мог позвонить в квартиру, у дверей которой столько раз прощался с Мариной. Ну, чего я боюсь? Мне столько раз приходилось звонить и стучать в чужие квартиры, когда мы разносили по домам билеты Автодора и Осоавиахима, значки МОПРа.

Я дотронулся до головки старого звонка с надписью «Прошу повернуть», а потом осторожно повернул ее. В глубине квартиры что-то слабо звяк-

нуло, раздался шаг, кто-то чуть приоткрыл дверь, оставив ее на цепочке.

— Тебе, мальчик, чего? — спросил невидимый человек из темноты коридора.

— Я к Марине... К Марине Костанди.

— Нету ее...

— А Екатерина Христофоровна? — спросил я с отчаянием. Так звали бабушку Марины, которая молча угощала меня изюмом и вздыхала.

— И ее нет. Костанди здесь больше не живут, — сказал голос из темной прихожей. Я уцепился за ручку.

— А где они живут? — спросил я.

— Не докладывали.

Дверь захлопнулась.

Полдороги домой я бежал.

Мне казалось, что дома мне помогут. Мне объяснят, как найти Марину. Но когда я добежал до дома, я понял, что с тех пор, как я сказал, что люблю Марину и, когда вырасту, хочу на ней жениться, это тайна, к которой нельзя допускать никого. Кроме моего друга. Кроме Аркадия.

Но Аркадий тоже не знал, как разыскать Марину.

Осень и зима тянулись бесконечно. За лето все в классе изменилось и забросили прежние увлечения. Никто больше не менялся фантиками, не вырезывал на ластиках печати, не таскал в школу ровные тетрадки «Ната Пинкертон». Все девочки из нашего класса записались в драмкружок. Главные роли там играли мальчики из восьмых, и нас туда не звали. Вова Михайлов ходил заниматься к художнику, совсем отделился от класса и даже потребовал, чтобы выбрали другого старосту. А я так запустил стенгазету, что меня тоже переизбрали, но я не огорчился. Только Арсик Хачатрянц и Федя Бычков по-прежнему строили свой дирижабль, но с ними все стали обращаться, как с маленькими.

Всю длинную осень, всю бесконечную зиму я часто болел и радовался, когда можно было не идти в школу, где уже не осталось ничего от прошлого года.

Одно утешение оставалось у меня — мой верный друг Аркадий. Я приходил к нему, чтобы говорить о Марине.

Она приехала из города с улицами, которые от синего моря поднимаются в красные горы. Она приехала из сада, где растет виноград и где она откопала черепок, которому больше тысячи лет. Она откопала его, чтобы потом подарить мне. Она приехала из этого города, чтобы целый год сидеть со мной на одной парте, чтобы я мог каждый день провожать ее домой и держать в руках мягкое ухо ее шапки, которую ей привез ее дядя-капитан. И она снова вернулась в этот город, на его улицы, поднимающиеся от синего моря в красные горы, чтобы я отыскал ее там.

Чем больше я рассказывал об этом Аркадию, тем сильнее верил, что, когда мы прощались, Марина не просто ушла в свой дом, оставив мне на память глиняный черепок, а, уходя, сказала, что, если не вернется осенью в Москву, я должен за ней приехать. Аркадий соглашался. Конечно, она так сказала! Непременно нужно за ней поехать! Верный друг, он ни разу не сказал того, что я понимал и сам, но о чем старался не думать: никто не пустит меня в Керчь!

Всю эту осень и зиму я очень много читал. На уроках. За едой. Даже на улицах.

Потом зима сразу кончилась. Тающие сугробы, и просыхающие тротуары, и пушистая верба на улицах, и зазеленевшие кусты — все понеслось одно за другим, будто от последнего снега и до первых листьев прошел не месяц — день... В школе открыли и вымыли окна, мы ходили в школу без пальто и шапок, на переменах выбегали в Гнезниковский переулок и по выщербленным кирпичам влезали на широкую каменную стену. За стеной был пустырь, на котором милиционеры обучали служебных собак. Собаки видели нас, вырвавшихся из школы, начинали радостно лаять и сбивались со своих собачьих уроков, а милиционеры сердились и прогоняли нас.

Мне казалось, что в эти дни с моими глазами случилось то же, что со стеклами окон. Всю долгую осень и бесконечную зиму они были словно мутными, я ничего не видел ими, кроме книг и черепка, который мне подарила Марина. А теперь мои глаза распахнулись, как окна. Я видел каждый кирпич нашей школы, я видел зеленый мох старой стены, ограждавшей пустырь, каждый лист на дереве, лицо каждого прохожего...

— Проснулся наконец! — сказала мама.

В один из первых теплых вечеров я пришел к Аркадию. Я застал у него ребят, которыми он верховодил прошлым летом на даче, пока не подружился со мной. Они играли в настольный бильярд — эта игра была новинкой. Аркадий объяснял, как ставить металлические шары, как держать кий, как бить. Он произносил загадочные слова: «от двух бортов!», «дуплет», «свой», «кикс», — и все вокруг него повторяли: «Сам Аркадий сказал...»

Я удивился. Я не знал, что «дачные» бывают у Аркадия. Он мне об этом не говорил. Но по разговору, который они вели, я понял, что бывают. Вот и сейчас вместе собираются идти в кино «Центральный» на звуковую картину «Снайпер». «Дачные» встретили меня хорошо, позвали с собой. Аркадий, правда, не поддержал приглашения. Но тут полил такой дождь, что идти никуда не пришлось.

Аркадий предложил еще поиграть на бильярде. Проигравший вылетал, а Аркадий всех обыгрывал, и «дачные» сказали, что им это надоело. Мишка Вайнштейн предложил устроить викторину. Викторинной тогда увлекались все. Аркадий скривился.

— Скучища! — сказал он.

Но «дачные» заупрямились. Совсем не скучища. Нужно только найти номер «Огонька», где есть вопросы и ответы.

— Нет у меня «Огонька», — сказал Аркадий.

Но я вдруг осмелел и вызвался задавать вопросы без «Огонька». Из головы.

— Ловко придумал. А ответы? Может, ты такие вопросы задашь, на которые вообще нет ответа! Но меня уже понесла неудержимая сила.

— Да вы попробуйте! Хотите, я задам вопрос, напишу ответ на бумаге и спрячу его, пока все не ответят. Ответ можете проверить по энциклопедии.

— Чего-то писать, потом проверять — муть, — сказал Аркадий. — Манная каша.

Но «дачных» уже зацепило.

— Нет, попробуем! Ты что же, один будешь всем вопросы задавать?

Я уже не мог остановиться.

— Могу один. А потом вы все — мне!

Мишка Вайнштейн восхитился:

— Сеанс одновременной игры на шести досках! Начали? — Начали!

Книги той долгой осени и бесконечной зимы встали у меня перед глазами: книги Рубакина, Алтаева, Поля де Крюи, Заяцкого, Плавильщикова, Богдановича, Данько. Левенгук шлифует стекла, а потом смотрит сквозь эти стекла на каплю дождевой воды; Леонардо да Винчи рисует на щите чудовище, составив его изображение из разных зверей, змей и насекомых; Бетгер, рассеянно покатыв в руке комок пудры с парика, открывает секрет китайского фарфора; Де Лонг прощается с затертой во льдах «Жаннетой»; князь-бунтовщик Кропоткин; солдаты Черниговского полка; писарь Клеточников открывает народолюбцам секреты Третьего отделения; Вамбери в одежде дервиша идет по тропам Персии; английский мальчик от лени изобретает регулятор паровой машины, и другой английский мальчик работает на фабрике ваксы, чтобы все об этой фабрике запомнить и когда-нибудь написать...

Я задавал вопрос и записывал на бумаге ответ, а бумагу переворачивал. И если «дачные» не знали, когда жил Спалланцани, что изобрел Фультон, что стало с детьми человека, который первым предложил перелить кровь, я пересказывал на память целые страницы из любимых книг, дополняя их подробностями.

Первые мои ответы «дачные» пробовали проверять по энциклопедии, а потом просто стали слушать. Если я ошибался, они не замечали.

Когда мы кончили игру и выглянули в окно, дождь уже давно перестал, тротуары просохли. Но в кино мы уже опоздали. Восьмой час, нам не продадут билетов. Я сказал ребятам, что «Снайпера» можно посмотреть и в другой раз, а сейчас лучше пойти ко мне, я покажу книги, в которых все это вычитал, и мы можем сделать опыты, которые описаны в книге Перельмана «Чудо нашего века».

«Дачные» двинулись за мной, и я был так счастлив, что не сразу заметил: Аркадий остался дома. Но даже это не испортило мне весеннего вечера, когда я снова почувствовал переполняющую меня радость. В этот день я лег спать, зная, что завтра, ну, послезавтра все должно перемениться. Должно случиться что-то хорошее.

И случилось!

Мы занимались во вторую смену. Я приходил домой, и дорога от школы до дома по весенней вечерней улице Горького еще долго звенела у меня в ушах и гудела в крови.

В тот вечер накануне выходного дня (выходные были тогда не по воскресеньям, а шестого, двенадцатого, восемнадцатого и так далее) мама не спросила: «Ну, что в школе?» — она внимательно посмотрела на меня и медленно выговорила:

— Тебе письмо!

— От кого? — спросил я. Раньше я получал письма только от родителей.

— Не знаю. Письмо у тебя на столе.

Я подошел к столу, за которым делал уроки. На столе поверх стопки учебников лежало письмо.

Почтовая марка. Штемпель. Наш адрес. Наша фамилия. Мое имя.

У меня остановилось, а потом заплясало в груди сердце.

Только один человек на свете мог написать мне письмо. Только один человек на свете должен был написать мне письмо. Только от одного человека на свете всю эту долгую осень, всю эту бесконечную зиму, всю эту короткую и быструю весну я ждал письма. И этот человек написал мне.

Марина!

Я еще не вынул письма из конверта, а уже знал, что письмо написала она.

Письмо действительно написала она.

Очень четкими буквами, похожими на те, которыми она переписывала заметки. В тетрадях она писала по-другому. Но разве за такой длинный год не может измениться почерк?

Марина писала мне, что очень по мне скучала. Марина писала, что приехала в Москву на один день и, когда мы увидимся, все объяснит. «Я буду ждать тебя завтра в два часа у колонн Большого театра».

Завтра. В два часа дня. У колонн Большого театра.



Завтра. В два часа дня. У колонн Большого театра.

Завтра. В два часа дня. У колонн Большого театра.

У Большого театра восемь колонн.

Это я запомнил в тот давний майский день. Я

пришел раньше, чем было написано в письме, и начал ходить от колонны к колонне. Мне казалось, что, если я буду стоять неподвижно у первой колонны, Марина может появиться у последней и не заметит меня в толпе.

Чтобы быстрее шло время, я считал колонны. Их было восемь. Между первой и второй и между седьмой и восьмой стояли фонари. Я то и дело выходил из-под колоннады посмотреть на уличные часы, потом кидался обратно, чтобы мы не разминулись. В половине третьего, стоя около пятой колонны, я перечитал письмо.

Может быть, я что-нибудь перепутал?

Я ничего не перепутал.

Потом я спрашивал у каждого прохожего, который час, пока один из них, который, видимо, тоже кого-то ждал, не прикрикнул на меня:

— Что пристаешь, надоел!

В три часа я понял: Марина не придет. В четверть четвертого я еще раз прошел через всю колоннаду, от первой колонны до восьмой и от восьмой колонны до первой...

Букетик подснежников, который я, смущаясь, купил по дороге, завял у меня в руках. Я не знал, что с ним делать. Я не хотел нести его домой и не мог выбросить.

Я пошел к станции метро — метро открыли в начале того самого давнего мая, когда все это происходило со мной. И тут мимо меня с хохотом пробежали какие-то ребята. Лица их показались мне знакомыми, но я не сразу понял, кто это. И только когда они обогнали меня и стали около входа в метро около ниши, где тогда помещался гипсовый спортсмен, а я подошел ближе к вестибюлю, я узнал их. Это были «дачные» во главе с Аркадием. Они захохотали и загикали, а я все еще не понимал, откуда они взялись и чего так веселятся. И тут я услышал голос Аркадия:

— Ну, что я говорил? Профессор возвращается со свидания. С цветочками возвращается! Ну, задай нам вопрос, профессор!

И тут я понял: все это время, пока я ходил, бегал, метался, пока я погибал между колоннами Большого театра, они стояли где-то рядом и подглядывали за мной. И тут я понял, кто написал мне письмо, кто привел их сюда, кто рассказал им о Марине.

Я хотел повернуться и убежать.

Я их не боялся. Но я не мог их видеть.

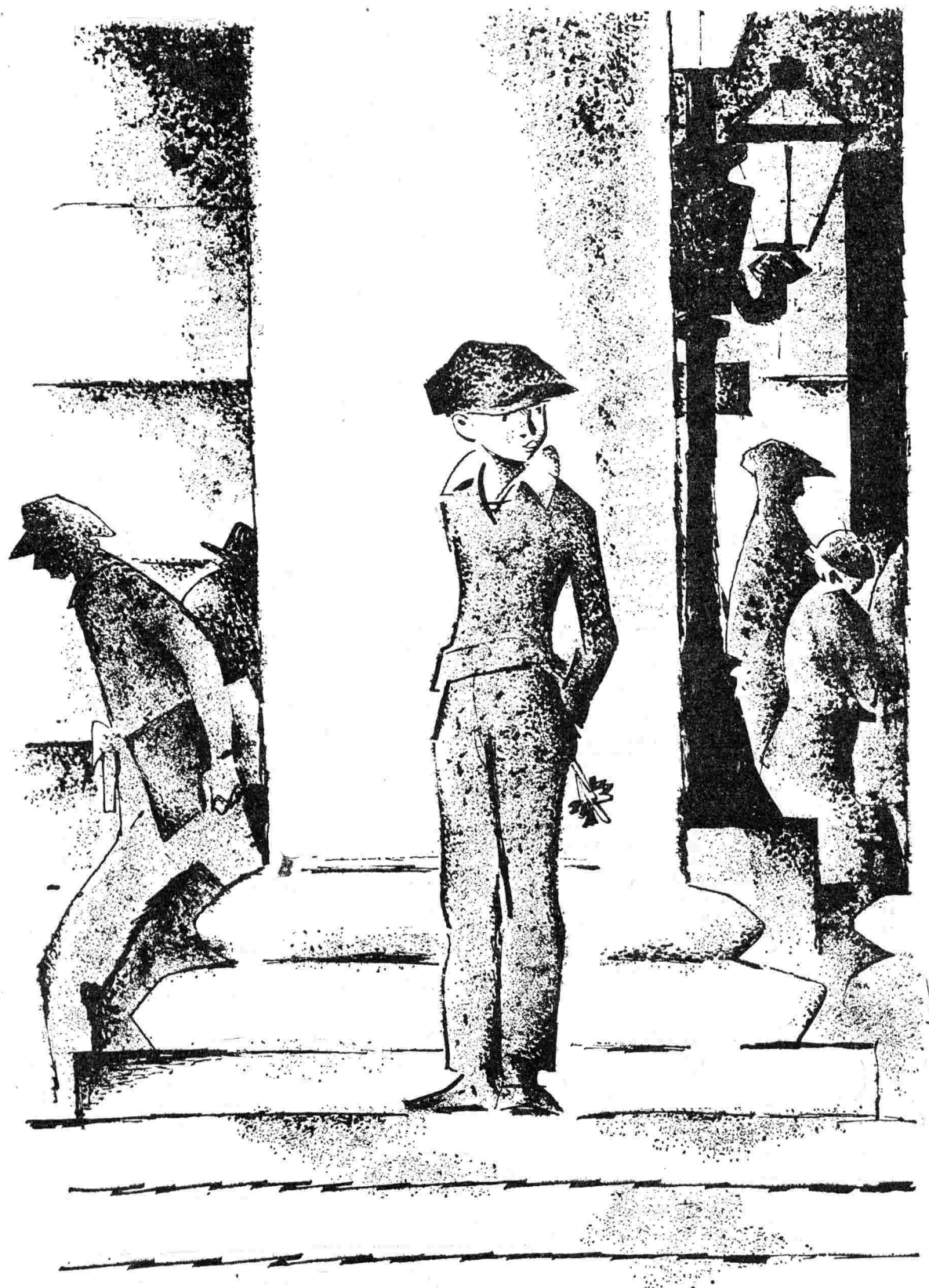
Толпа, которая шла от театра, где только что кончился дневной спектакль «Пламя Парижа», внесла меня в вестибюль. Аркадий и «дачные» снова обогнали меня, раньше меня вбежали на эскалатор и стояли теперь внизу. Лестница насильно влекла меня к ним, а они стояли внизу, задрав головы, и ждали. Когда эскалатор привез меня к ним вниз и мне пришлось шагнуть на его гребенку и пройти мимо них, Аркадий крикнул:

— Завтра в два часа дня у колонн Большого театра!

И «дачные» подхватили хором:

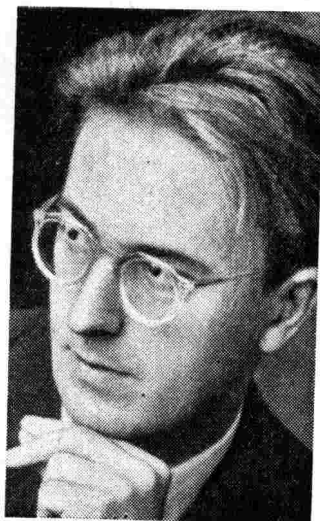
— Марина! Марина! Марина!

Я не сразу услышал, когда библиотекарьша предоставила слово мне. Говорил я плохо, и слушали меня невнимательно.





ДМИТРИЙ
ГОЛУБКОВ



Осенние прогулки

Как рано темнеет, как сердцу светло!
Теплеют глаза от прощального пламени.
Березовым легким листом замело
Еловое черно-зеленое раменье.
Беспамятно и безоглядно тону
В дубраве — горячей, расколыничей,
мреющей.

Поникшие клены уходят во тьму,
Как в ризах печальных больные царевичи.
Разлуки закон облакам незнаком,
Не ведает боли деревьев содружество.
Но сам я охвачен осенним огнем,
И сердце, как лист, обмирает и кружится.
Кого я в сплетеньях природы ищу,
Зачем ворошу ееклады шуршащие
И, желтую ветку подняв, как свечу,
О чем я шепчусь с угасающей чащею!
Иль мало в миру собеседников мне,
И я проникаю настойчиво исподволь,
Чтоб слушать природу в ее тишине,
Надеясь подслушать заветную исповедь!
Она отстраняется, но и зовет
Мерцанием тусклым, вздыхающей теменью...
И родичем бедным торчу у ворот,
Затворенных неумолимо до времени.



Дождя конец. Опять смуглеют лица,
И ведреное лето медлит, длится;
Но свежесть перволетняя ушла.
Листва у яблонь и тусклей и жестче,
Устало никнет вянущая роща,
И ночь свалывшаяся тяжела.
Бессонница. Безвольное потворство
Киванью дальних звуков и цветов...
А давний дождь низринуться готов
На сад, окованный печалью черствой,
На слух мой, жаждущий твоих шагов,
Не потерявший веры в чудотворство...
Смеясь, промчимся снова под дождем,
Под этим ломким громом и блистаньем,
Опять на берегу высоком станем
И это наваждение переждем...

Река седым огнем глядит сквозь ивы.
Все пуще ливень, наглый и болтливый,
И все трудней мне говорить с тобой.
Дождь хлещет щеки, лоб и губы лупит,
К тебе он липнет, жадно лепит, любит
И в лапах вертит, грубый и рябой...
Иная ты — смелее и смешливей —
Под рослым ливнем на крутом обрыве,
Над сизой мглой нажиленной реки.
Объята беснованием небесным,
Восторгом дышишь ты уже недетским,
И полны молнией твои зрачки.
Дождь, подожди! Постой еще немного...
Но он уже унесся, отскрежеки.
И мы бредем разбухшею дорогой
Среди счастливых облаков и трав.
И ночь идет. И путаются тени.
И душно это влажное томленье...
И сердца вскрик: «Бери — и береги!»
И в водах — звезд качанье и свеченье.
И отроческий страх и отречение
От сердца своего, своей реки...
Редает мрак. В светлеющем квадрате
Распахнутого на восток окна
Проходишь ты в своем прохладном платье,
Как небо, и прозрачна и темна.
Помедли! Но уходишь, убываешь,
Из рук ручьем струишься — не поймать:
«О глупый, глупый! Все не забываешь!
Я тоже помню. Я приду опять».



Наука уходить. Уменье в срок,
Уста от уст приросших отрывая,
Отхлынуть, выплеснуться за порог,
Запруды и ограды размывая.
Собой наполнив все и пролитав
[Как четок след в песках после прибора!],
Умчаться в море, сердцем моря став,
Его волною самой голубою...
Ушла. Прошло. Все дальше я и выше,
И все огромнее морская гладь.
Все зорче вижу я тебя и слышу:
«Прости, любимый...»
Нечего прощать.

Женщине

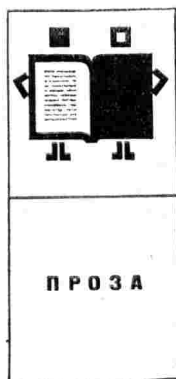
О женщина, твой вид и взгляд
Ничуть меня в тупик не ставят...
ПАСТЕРНАК.

Извечная любовь — и вечная вражда,
О женщина, в тупик ты ставишь ежечасно,
Ты родственная мне — и чуждая звезда,
В мерцании твоём я то горю, то гасну.
Вот мчащиеся врозь сравнялись поезда.
Взгляд. И ответный взор, мгновенный и
напрасный.
Сквозь пыльное стекло: «Остановись!
Куда!..»

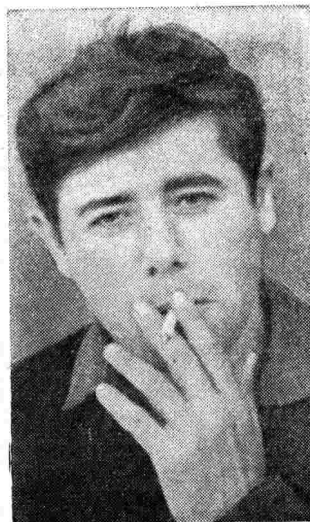
Но по мосту стучат колеса безучастно...
Ты шепчешь, любишь ты. В ночи всеильная
страсть

И радостны ее языческие требы,
И сладостно к губам открывшимся припасть,
И, голод утоля, вновь жаждать их, как
хлеба...

Но вновь разводит нас дневной заботы
власть,
Опять роднит земля — и разделяет небо.



Борис Казанов



АФОНЯ

РАССКАЗ

Рисунки Н. Воробьева.

Памяти А. Н. Белкина, известного дальневосточного ученого-биолога, трагически погибшего во время научной экспедиции на Курильских островах.

Всю ночь Афоня пробыл на Нерпичьем мысу. В полусотне шагов от него на широкой галечной лаиде лежало стадо тюленей. Афоня наблюдал за ними, делая записи в тетрадке. Едва начало светать, как зверь ушел в море. Тогда Афоня направился к своей лодке. Лодка стояла в небольшом заливишке, образованном осохшими камнями. Афоня спустился к ней, прыгая с валуна на валун. Со всех сторон поднимались в небо черные зубы скал, кричали птицы. На берегу лежал якорь от лодки. Афоня нагнулся, чтобы поднять его, и отпрянул назад — со скалы прыгнул зверь. Это был сивуч — морской лев весом с трех здоровенных быков. Он угодил прямо на якорь и тотчас уснул, не обратив на Афонию внимания. «Лодка пришвартована надежно», — усмехнулся Афоня. Он вытащил из кармана тетрадку, карандаш и записал: «Должен отметить про сивуча, который свалился со скалы». Потом он залез в лодку и закурил, не зная, что делать: он не решался разбудить зверя. «Чтоб тебе сгореть!» — разозлился Афоня и обрезал якорный линь ножом.

Обогнув мыс, Афоня некоторое время шел морем и вскоре добрался до бухты. Это был небольшой ковш с бочками для швартовки мелкосидящих судов. Впереди стал виден поселок: выгон с конями, желтое здание метеостанции и две серые полосы изб, разделенные широкой улицей. За выгоном, на мостках через речку, Сашка, двоюродная Афонова сестра, полоскала белье — он узнал ее по розовой рубашке. На метеостанции заговорило радио: московский диктор пожелал всем спокойной ночи, а потом заиграли гимн. «Скоро Марьюшка выйдет огород по-

лоть», — вспомнил Афоня. Он заглушил мотор и вывел лодку на берег.

По отливу бродили собаки, оскальзываясь лапами на мокрых гольцах. Галька была усеяна обглоданными остовами рыб и серо-зелеными трепещущими гластами осохшей камбалы. Течение речки здесь останавливалось, образуя широкую пресноводную затоку. Вода в ней была мутной от рыбьих молок и так воняла, что стало трудно дышать. Афоня опустился у воды на корточки и, отворачивая лицо, принялся мыть сапоги. Возле ног плеснула рыбина. Афоня, изловчившись, поймал ее. Это был отнерестовавший толстолоб — белобрюхий, с оголенным до ребер боком. Он глядел на Афонию, раскрывая пасть, будто что-то говорил ему... «Вон как его ободрало на гальке! — думал Афоня. — Надо ж было целый океан перебежать, чтоб пухнуть в этом вонючем месте... Неужто нельзя его жизнь по-другому переделать?» И он выпустил рыбину и достал свою тетрадку.

Афоня шел к поселку и думал про ученого Белкина. Ученый Белкин изучал и рыбу, и птицу, и зверя так, словно имел дело с людьми. Афоня подружился с ним прошлой весной, когда ученые зафрахтовали на сезон зверобойную шхуну, на которой Афоня работал. Шхуна пошла по Курилам: они кольцевали котика на лежбищах, изучали миграцию зверя, отлавливали птиц на базарах. А в рулевой, возле компаса, лежала толстая тетрадь, и Белкин заставлял вахтенных вести в ней записи. Какой зверь прошел? Какая птица пролетела? В каком направлении? — в тетради вопросов было много. Афоне нравилось отвечать на эти вопросы. Он был зверобой и раньше смотрел на море с одной стороны: удобно оно или неудобно для промысла. Теперь он начал понимать, что море существует не только для того, чтобы стрелять, зарабатывать деньги, умирать в нем, а что живет оно своей жизнью, похожей на человеческую, и убивать эту жизнь постыдно для человека. В конце концов Афоня бросил работу и вер-

нулся в родной поселок. Но жизнь у него в поселке не ладилась, и Афоня думал сейчас: «Запишу чего побольше и поеду во Владивосток к Белкину. Пускай берет к себе».

По правую сторону речки был луг. Он тянулся, огибая поселок, через широкое плато, за которым чернела вырубка. На лугу косили траву женщины. Они разделись до лифчиков, ритмично и одинаково махали косами. Их головы и розовые спины будто плавали, то исчезая, то появляясь на седом, клубящемся под ветром лугу. Потом разом засверкало что-то... «Косы вострят», — догадался Афоня и невольно потер одна об одну ладони, будто уже во-дил брусом по кривому полотну косы...

В четырнадцать лет, оставшись без отца-матери, начал он ходить в море вместе со взрослыми мужчинами и с той поры не мог видеть ни косыбы, ни сева, ни жатвы. Уходил в море с ранней весны и до поздней осени — только вода и лед были у него перед глазами. Вода и лед. И сейчас они стояли перед глазами — мешали смотреть...

Афоня обернулся, услышав шум за спиной, и увидел паренка — тот брел по речке, выгоняя из воды морских уток. Утки неуклюже побежали по берегу, пытаясь выбраться через гребень к морю. Паренек бросился им наперерез, подбывая камнями. Когда Афоня подошел, паренек уже потрошил добычу. Одна утка — остроклювый крохаль — ползала по гальке, выпустив крыло. Афоня хотел взять подранка, но паренек опередил его, наступив на птицу ногой. Это был Мулинка Аттэхе, отец которого утонул в прошлую путину.

— Зачем крохалей губишь? — спросил Афоня.

Мулинка не отвечал.

— Должен ведь знать, что запрещено, — говорил Афоня. — Станет на крыло, тогда бей, а теперь нельзя, потому что она необлетанная.

— Тебя где пропал? — спросил Мулинка, не глядя на него.

— Ходил на мыс... Чего ж ты не зашел ко мне, вместе пошли б?

— Наша скоро ходи в другое место, — ответил Мулинка.

— Это куда? — поинтересовался Афоня.

Мулинка заколебался, не решаясь открыть свой секрет:

— Тебя будет смеяться...

— Разве я посмею? — удивился Афоня.

— Афоня нету труса, — сказал он. — Мулинка тоже нету труса... — И, недоверчиво глянув на Афонию, спросил: — Тебя наша друг?

Афоня кивнул.

— Мулинка будет выручить друга... — Он остановился и набрал в легкие воздуха.

Афоня непонимающе смотрел на него. Мулинка продолжал, возбуждаясь:

— Афоня нету виноватый! Марьюшка виноватый, орленка виноватый... Орленка кишки выпущу! — прибавил он со злобой.

— Это зачем? — удивился Афоня.

Мулинка исподлобья смотрел на него. Он стоял против Афони, засунув руки в карманы дырявых штанов. Штаны до колен покрывала рубашка из грубого полотна с косым воротом и с застежками на боку. Ее опоясывал широкий матросский ремень. На ремне висело два ножа в деревянных ножнах. Смуглое грязное лицо Мулинка с заветренной кожей на скулах, с пухлым ртом и круглым нежным подбородком будто освещалось черными, косо разрезанными глазами; черные волосы были, как у большинства ороков, заплетены в маленькую косичку... «Красивше его в поселке не найти! — подумал Афоня. —

Ни в чем его природа не обидела, так разве не должен он блюсти ее!»

— Мулинка, — сказал он, — а помнишь, как ты жеребенка приметил в небе?

— Какой жеребенка?

— Малой еще был совсем, — засмеялся Афоня радостно. — Посмотрел на облако — будто красный жеребенок стоит! — и как заорешь на весь поселок... Эдак ты сообразил тогда, я б и теперь не догадался!

Мулинка переступил с ноги на ногу.

— Тебя понимай нету, — ответил он.

— Э-эх! — Афоня плюнул в сердцах, достал тетрадку и записал: «Возмущался всей душой, наблюдая, как бьют уток камнями. В этом деле участвовал Мулинка Аттэхе».

В тетрадке остался один чистый листок. «Пойти к Марьюшке, чтобы взять тетрадок», — решил Афоня. Он двинулся дальше. Мулинка долго смотрел ему вслед.

На выгоне стоял сарай для соления икры, подпертый столбом от ветра. Он был пустой, без двери, и весь проем занимало разросшееся паучье гнездо... После того, как вырубил вокруг поселка лес, как обмелела бухта, он потерял промышленное значение. Засолочный пункт и рыбокомбинат перенесли в Крестьяновку — районный центр, который находился в восьми километрах к югу. Там теперь швартовались рыболовные и зверобойные суда. И давным-давно стоял этот поселок у всего света на краю, только вертолет раз в месяц привозил почту да метеостанция работала — давала сводку побережным рыбакам, ловившим рыбу ставными неводами.

Кони шли по мосткам. Афоня протерся между конских боков на мостки, набрав на одежду линялого конского волоса. «Кони слиняли!» — обрадовался Афоня. Для него это была великая новость. Он остановился и посмотрел вверх. На горе виднелись просторные пятистенные избы, повернутые торцами от моря, с далеко отходившими по скату огородами. Афоня увидел русую Марьюшкину голову, склоненную спину и руки, быстро сновавшие в грядке. Он крикнул ей, чтоб подошла.

Марьюшка спустилась к мосткам и остановилась в нескольких шагах от него, спрятав руки за спину. На ней была белая рубашка, украшенная на груди разноцветными лоскутами. Гладко причесанные волосы открывали невысокий крутой лоб. Ее лицо, плоское и чуть выдававшееся вперед нижней своей частью, казалось некрасивым, но трогало какой-то доверчивой, полудетской серьезностью. Была она маленькая ростом, с широкими большими ступнями, с серьгами в ушах. И было Марьюшке пятнадцать лет, на три года меньше, чем Афоне. Училась она в седьмом классе в Крестьяновке, а сейчас у Марьюшки были каникулы.

— Позвал, чтоб тетрадок купить, — сказал Афоня в большом смущении. — Исписал свои: вот, один листок остался...

— Зачем покупать? — ответила она, и у нее что-то хрустнуло за спиной. — Я тебе так дам.

— Сколько у тебя есть?

— Четыре штуки. Да еще маманя взяла одну на письма.

— Все равно не хватит мне, — подумав, сказал Афоня. — Забегу как-нибудь в крестьяновский магазин...

Она ничего не ответила. Афоня прислушался, прижав к уху ладонь.

— Должно, вертолет везет почту...

— Не видать ничего...

— Так его не увидишь сейчас... Это я по мотору распознал, — ответил Афоня и рассмеялся.



— Пойду я, Афанасий, — сказала она нерешительно, — а то маманя заругает, велела на огороде быть.

«Чегой-то она вертит в руке?» — заинтересовался Афоня. Он глянул в воду под мостками, увидел тяжелый узел Марьюшкиных волос с вонзившимся в них красным гребнем, загорелые крепкие лодыжки, округлые Марьюшкины руки с ямочками на локтях и перепачканные землей кулачки, откуда на длинном хвостике свешивалась репка... «Чудно как!» — встрепнулся Афоня. Он достал тетрадку и записал: «Наблюдал Марьюшку под мостками. Заметил в ее руке репку...» И с радостно бьющимся сердцем посмотрел на нее.

— Ты чего записал? — встревожилась она. Афоня прочитал.

— Эх ты, Афанасий! — только и сказала она. Помолчала и добавила, отворачиваясь: — Я маманю просила вчера, чтоб заговорила она тебя. Сильно упрасивала, только маманя отказалась.

— Зачем ты? — не понял Афоня. Он думал о другом и все глядел в воду, но вода теперь была пустая.

Тут Марьюшка обернулась и, словно пересилив себя, посмотрела на него.

— А где твоя рубашка морская, с якорем? — спросила она. — Ну, в которой ты на танцах был?

— Суконка? — догадался Афоня. — Так я ее оставил Ивану.

— Верно, ни к чему тебе теперь, — сказала она, оживляясь, с какой-то мрачной радостью.

Афоня насторожился, почувствовав в ее словах что-то неладное.

— Пойдем рябину собирать? — предложил он, чтоб перевести разговор на другое.

— Афанасий, — сказала она, — ты ко мне не приходи. Маманя сказала, чтоб не приходил больше.

— Маманя? — переспросил он, недоумевая.

— Не приходи, — повторила она твердо. — Так что прощай, Афанасий...

— Марьюшка... — растерянно проговорил Афоня.

Она пошла огородами обратно, вначале медленно, опустив голову, размахивая невпопад руками, потом побежала и пропала в воротах. На мостках осталась лежать репка. Афоня с минуту смотрел вслед Марьюшке, потом перевел глаза на репку, поднял ее и положил в карман. «Должно, плачет сейчас... На людях не позволит себе... Гордая!» — подумал Афоня о Марьюшке и задумался. Он не думал о том, что случилось между ними, потому что его внимание было отвлечено другим, еще более неожиданным происшествием, которое непонятно взволновало его. Это была запись в тетрадке о Марьюшке и репке. До этой поры Афоня записывал свои наблюдения за зверем, птицей, рыбой, а тут ни с того ни с сего записал нечто совсем другое. И хотя Афоня не смог бы объяснить, зачем ему надо было писать это, но чувствовал здесь какой-то тайный радостный смысл. И его обидело, что Марьюшку ничто не затронуло в этих словах: «Не сумел ей душу перевернуть! А ведь все здесь по мне, все перед глазами стоит... Это чтоб красоты такой не видеть... Уток бьют камнями... Э-эх!»

Над Нерпичьим мысом показался почтовый вертолет. Почтальонша — она работала на огороде, — увидев вертолет, опрометью бросилась в избу, вытирая на ходу о передник руки. Через минуту она выскочила оттуда с мешком, прыгнула на неоседланную лошадь и погнала ее к лугу. Вертолет тем временем уже перевалил ковш и пополз над поселком, сотря-

сая мощным винтом воздух. Он закружил над лугом, но груз не сбрасывал, ожидая, когда доскачет верховой. В поселке затаивались собаки, заскрипели ворота и калитки — народ заспешил к почте.

Когда Афоня подошел туда, почтальонша уже выдавала конверты. Люди потрошили их, выхватывая заветные листки, читали тут же, не отходя, словно застыли на месте. Некоторые еще не получили письма, напирала на передних, нетерпеливо лезли к окошку, лягая шнырявших под ногами собак, не обращая внимания на орущих детей, цеплявшихся за материнский подол. Некоторые не умели читать, суеились больше других, отыскивая тех, кто поскорей освободится...

Афоня стоял и смотрел во все глаза — он будто впервые видел такое. «Сбежались, ровно на пожар! — удивлялся он. — А чего в тех письмах? Ведь в них и нет ничего!» Он увидел Марьюшку, приметил на ней выходную блузку и мокасины. Руки у Марьюшки были чистые, волосы заколоты по-другому («И когда только успела!»), но стояла она в стороне и была здесь словно чужая. Взгляды их встретились. Афоня увидел в ее серых глазах такую страшную, непоправимую обиду на него, что тотчас отвернулся. «Марьюшка письмо не получила, некому ей писать теперь... Она мне этого никогда не простит!» — думал он, быстро поднимаясь к дому. Жил Афоня у Сашки — она у него одна осталась из родни. Отец умер, а мать погибла в осеннюю поводку, четыре года тому назад. Тогда с неделю беспрерывно лил дождь. Речка вздулась, вода ее, перемешанная с плавником, пошла валом сверху, ломая живой лес, избы, лодки... Много она народа погубила. Теперь поселок перенесли повыше в гору: хоть и вертолет летает и метеослужба рядом, а мало ли что может случиться?

Афоня открыл калитку, вошел во двор. Двор был обнесен плотным забором из двухдюймовых досок с номерами — такие доски возили на Крестьяновский рыбокомбинат пароходы. Через двор были протянуты веревки с мокрым бельем. Афоня добрался до сарая, там тяжело воняла медвежья солонина. Возле порога лежала растянута на клячах (палках) сеть, валялись аккумуляторные ящики. Афоня споткнулся, постоял, привыкая к темноте. И тут орленок позвал его. Афоня сел на корточки и вытянул перед собой руку. Орленок подбежал к нему, вскочил на ладонь и замахал крыльями, усаживаясь поудобнее. Афоня пошарил рукой вокруг себя, отыскал черепок с водой и поднес ему. Орленок отвернулся и обиженно ударил Афоню крылом. Афоня довольно рассмеялся. Он набрал в рот воды и заклекотал по-орлиному. Орленок прыгнул к нему на грудь и начал пить у Афони прямо изо рта, погружая туда клюв на самую малость. «Уважает человека», — подумал Афоня.

Это был совсем еще маленький орленок из породы белоплечих орланов. Афоня подобрал его недели две назад; тот выпал из гнезда, сильно ушибся. Афоня вылечил его, но все не решался выпустить на волю, потому что привязался к нему, словно к человеку. И в то же время Афоня понимал: орленок должен лететь к своим. «Пусть его сейчас», — решил Афоня, вспомнив, что Мулинка грозил убить орленка. Он поднялся по лестнице на крышу сарая и сел там, свесив ноги. За сараем был громадный обрыв, заросший рябиной и кедровым стлаником, спускавшийся выступами к морю. Афоня посмотрел на маленького орленка, и сердце у него сжалось: «А что, если разобьется?» Он снял орленка с груди и далеко бросил вперед. Орленок камнем полетел вниз, он падал так долго, что у Афони перехватило дух, но тут поток воздуха подхватил орленка,

он расправил крылья и взмыл кверху, плавно набирая высоту... Афоня долго-долго глядел ему вслед: «Полетел, друг милый, теперь не догонишь...»

Спугнув кур возле крыльца, он открыл дверь в избу. Она была не оштукатурена внутри, с русской печью, с большим окном, выходившим на север. На стенах висели рамки с фотокарточками и льняные вышитые полотенца. Весь угол занимал деревянный, окованный медью сундук. Остался он от первых переселенцев — предков Афони. Афоня слышал, что переселенцы ехали сюда на быках, а в таких сундуках везли камни для придавливания капусты, и думал одно время, что оттого у них столько камней на побережье — переселенцы привезли. Предки Афони, разорившиеся ростовские мужики, ехали сюда в надежде разбогатеть на вольных землях, но не сумели справиться с хозяйством и постепенно становились моряками. Видно, причиной тому была не столько неурожайная, неласковая земля, сколько влияние туземного быта. Быстро возникали смешанные поселки, где с каждым годом трудней стало отличать туземца от русского. Афоня же, несмотря на некоторую примесь туземной крови, больше походил на русского: рослый, грузный, желтые прямые волосы, крупные губы и нос. Сашка внешне походила на Афоню, но была она по-девичьи стройная, белозубая, с румянцем на круглых щеках.

Афоня умылся над ведром, поливая себе из кружки, вытерся насухо и сел за стол, расстелив полотенце у себя на коленях. Сашка поставила перед ним миску с окрошкой. Окрошка была приготовлена из хлебного кваса и густо усеяна поверху черемшой — диким чесноком. Афоня принялся хлебать, громко чавкая. Сашка села напротив, глядя на него.

— Ты б Мулинку к себе взяла, а то уток бьет камнями, мало ли до чего сумеет дойти! — сказал Афоня, припоминая. — Все равно у вас с Иваном детей нету...

Сашка покраснела, губы у нее дрогнули. Она помяла пальцами скатерть, ответила робко:

— Мне б маленького взять, чтоб одежонку ему шить, чтоб купать его в корыте... — Афоня перестал хлебать и удивленно посмотрел на нее. Сашка, словно спохватившись, громко засмеялась, сказала: — Попробуй возьми Мулинку, если он от третьей семьи убегает!

— А мне знаешь чего говорил? — встрепенулся Афоня. — Убью, говорит, орленка — вот тебе раз!

— Любит он тебя, — ответила Сашка. — Он тебя больше всех любит в поселке.

— Чего ж он тогда?

— А орленка он ревнует к тебе, у ребятшек это бывает. — Она усмехнулась. — Надумал вроде Мулинка на промысел уходить. Место после тебя осталось, вот ему и не терпится...

«Может, он уток этих на дорогу припасал? — подумал Афоня, но сразу отбросил свое предположение. — Глупости это, — решил он. — А твердая рука ему надобна».

— Разве дойти ему туда? — не согласился он. — Больно далеко... А от тебя он никуда не убежит.

— Иван раз попробовал... — вспомнила Сашка мужа и захохотала, шуточно ударив Афоню по плечу. Он тоже засмеялся — с Сашкой они были большими друзьями.

— С Марьюшкой у меня нескладно вышло. — Афоня облил ложку, ожидая добавки. — Сказала, чтоб не приходил больше.

— Смеются над ней, — вздохнула Сашка. — Говорят: с юродивым, мол, связалась... Жалко девку!

— Дружба у нас с ней хорошая, — ответил он.
— Надобно тебе уехать отсюда, Афанасий, — о-сторожно начала Сашка. — Не хотишь на море работ-ать — твое дело, только не место тебе жить тут.

Афоня не отвечал, задумавшись. Перед его глаза-ми мелькали картины: лежбище тюленей, кони, Марьюшка с репкой, косцы на лугу, орленок... «Должен я все это каждый день наблюдать, — ду-мал он, — потому что мне как бы и не жить теперь без этого... А к Белкину всегда успею».

— Узнавала у крестьяновского радиста насчет ра-боты, — говорила она. — Монтеры нужны на линию...
— Что мне до того? — отмахнулся Афоня.

— Верно, не для мужика работа, — сразу согла-силась Сашка.

Сашка, как и все другие жители поселка, не мог-ла представить какое-либо другое дело, кроме как ловить селедку или стрелять тюленя. А Афонин пи-сание казалось ей и вовсе странным. Но она в отли-чие от большинства не думала, что Афоня испугал-ся моря — это в морских поселках считается боль-шим позором, — а объясняла Афонин приход по-своему: «Может, поссорился с кем или с пьянки случилось — разве от него узнаешь правду? Как при-бежал сюда, так и убежит...»

— Афанасий, съездил бы ты в Крестьяновку за муклой, а то в нашем магазине последнее подобра-ли... — Афоня кивнул, соглашаясь. Сашка прибрала со стола, нагнувшись над зеркальцем, повязала пла-ток — ей надо было идти дежурить на метеостан-цию. Уже в дверях весело сказала молчаливо сидев-шему Афоне: — Надобно тебе проветриться, Афана-сий. И сводка на сегодня для тебя как раз подходя-щая...

Афоня вышел следом за ней.

В Крестьяновку он пришел после обеда и привя-зался к пирсу, словно утонув между высоченных бортов торговых пароходов. Он купил мешок муки на пароходе, уложил его в лодку, выбрался наверх и пошел вдоль причалов, глядя по сторонам. Груз-чики орудовали на палубах, сбрасывая на причал пустые бочки — они катились юзом по наклонным подпрыгивающим доскам. По бухте разносилась му-зыка с «селедочников», которые стояли на рейде в ожидании разгрузки. На башне звонил штормовой колокол. Из столовой к баракам шли девушки-сезон-ницы с большими буханками хлеба под мышкой. У нефтебазы Афоня повернул направо и дворами, ми-мо старых корейских фанз, выбрался на городскую улицу, пересек ее, увязая по щиколотки в песке, и толкнул дверь голубого павильончика. В ноздри ему ударил запах скисавшего ячменного пива, жареной трески и махорочного дыма. За круглыми деревян-ными столами, врытыми в землю, толпились порто-вые рабочие и рыбаки. Афоня добрался до пивной бочки, но выпить пива оказалось делом нелегким из-за отсутствия кружек: если владелец возвращал ее, то лишь для того, чтобы наполнить вновь. Афоня повернул обратно, и тут его окликнули. Это был Христиан — штурман со спасателя «Атлас». Одно вре-мя он плавал на зверобойной шхуне, и Афоня был у него на боте стрелком.

— Пей, это все мое... — Христиан пододвинул ему левой рукой целую дюжину кружек с пивом, правая рука у него была на перевязи. — Здравствуй, — ска-зал он.

Афоня не рад был встрече, знал: сейчас пойдут всякие расспросы и тому подобное. Но Христиан ни о чем не спрашивал. Они долго пили молча. Афоня спросил первый:

— Ты сюда как попал?

— Японца приволокли, загорелся в лимане, — от-ветил он.

Афоня посмотрел на его серое, осунувшееся ли-цо.

— Всех спасли?

— Один утонул: прыгнул за борт с кругом на шее...

— Задумало?

Христиан кивнул.

— Плохой моряк, — заметил Афоня. — Надобно в таком случае круг в руке держать — первое дело. Христиан положил ему руку на плечо.

— Помнишь, как разбился бот возле Рейнеке? Как дрейфовали на льдине? Хорошее было времечко, а?

— Ушел я оттуда совсем, — признался Афоня и нерешительно взглянул на Христиана.

— Вот почему ты здесь... — только сейчас начал догадываться Христиан. — Ведь ваши же все на промысле... А где ты теперь?

— Живу в поселке, и все тут, — ответил Афоня.

— А я не сумел море бросить, — сказал Христиан и заслонил кружкой лицо. — И тогда, знаешь, что произошло: Аня умерла, невеста моя. С тоски. Не могла моей работы выдержать...

— Чудно как-то, — проговорил Афоня, отворачи-ваясь.

— Чудно, — согласился Христиан. И сказал вдруг: — Мне один японец попугая подарил. Я его теперь русскому языку обучаю. Толковая птица.

Они допили пиво, вышли из павильончика и оста-новились на крыльце, прикуривая один у другого. Со стороны моря нарастал однотонный, томительный гул.

— Штормяга идет, — сказал Христиан. — Все нам работа... Ты куда сейчас?

— В магазин, — ответил Афоня, — надобно тетра-док купить.

— Возьми у меня денег, — предложил Христиан и вытащил из кармана бумажник. — Бери, сколько хо-чешь.

— Мне свои некуда девать, — ответил Афоня.

— Ну, ладно. — Христиан неловко сунул бумажник обратно и подал ему руку. — Если что, приходи на «Атлас». Место для тебя найдется.

Магазин был уже закрыт. Ветер усилился настоль-ко, что останавливал дыхание. И дома и улицы — все потонуло в желтой песчаной буре. Афоня кое-как добрался до порта, ориентируясь по звуку беспре-станно звонившего колокола, прыгнул в лодку. Лод-ка у него была надежная: широкобортая, с воздуш-ным ящиком и финским двигателем «Майя», который он снял с разбитого зверобота. Дубовый киль был обит по носу стальной шиной, так что даже во льду на ней можно было ходить.

Выйдя из горловины бухты, он взял мористее, под-ставив ветру корму. Вскоре он попал в отливное те-чение, которое следовало на север, и лодка понес-лась во весь дух. Справа от себя Афоня видел мате-риковый берег — ясенево-лес на холмах, пустые тюленьи пляжи, базальтовые глыбы, над которыми взлетали фонтаны брызг. А слева было море с полу-затонувшим солнцем, с дымящейся на горизонте тру-бой лоцманского судна. На воде мелькали черные спины плавниковых бревен, которые выносило те-чение из Сахалинского залива. По бревнам прыгали топорки — Афоня узнал их по широким клювам.

Он сидел возле фыркающего двигуна, привычно ворочал румпальником, а разговор с Христианом не выходил у него из головы. Афоня вспомнил, что Христиан, когда работал на шхуне, ни разу не взял отпуска во время промысла — теперь это казалось Афоне странным. А на боте от него спасения не бы-

ло: раньше всех уходили в море и позже всех возвращались на судно. И ночью заставлял охотиться: винтовочного ствола не видишь перед собой — не то что тюленя, — а стреляешь... «Нешто ради денег Христиан работал?» — размышлял Афоня и чувствовал: нет, не из-за этого. «Работал ради работы, — решил он. — Захлестнуло его море выше глаз, и уже ничего, кроме работы, не мог он увидеть». Он вспомнил боты, заваленные скользкими шкурами, хрип подбитого зверя, полосы крови на льдинах, чаек, терзавших дымящиеся туши, вспомнил всю их животную тупую работу и еще больше укрепился в своем желании оставить море навсегда.

Афоня представил, что скоро будет дома: будет луг, топот спутанных коней, огни в избах, Марьюшка, — и радостно улыбнулся. Но тут же вспомнился их сегодняшний разговор на мостках, и как Марьюшка смотрела на него возле почты, и Сашкины слова, и многое другое — и беспокойно стало у него на душе. В памяти отчетливо возникло недавнее прошлое: как он и его то-



варищи возвращались в поселок после промысла, худые, дочерна обгоревшие во льдах. Шли по поселку, оглашая его хохотом и криками. А навстречу бежали их матери, жены, сестрички. И каждый из моряков издали громко узнавал их по платьям, по платкам, по своим особым приметам... Потом сидели посреди улицы за праздничными столами. Марьюшка спрашивала: «Ну, что у вас было?» — смеялась и брызгала в него соком из помидоров. А после они так отплясывали в клубе — пламя моталось в фонарях, и, когда солнце неожиданно освещало танцующих, все с хохотом начинали гасить огонь. «Вот ведь как было, даже сейчас представить странно!» — думал Афоня. И внезапно понял он, что земля еще больше отделилась от него, когда ступил на нее, чтобы остаться навсегда, отказываясь верить этому и думал о себе, словно о другом человеке: «Должен жить как живешь, а там перемелется все».

Мощный толчок едва не выбросил Афонию из лодки. Вода хлынула через борта, наполнив лодку до половины. Афоня подхватился, резко повернул румпальник, по-

ставив лодку против волны, и начал вычерпывать воду. Стемнело. Ветер переменялся, задул с материка. Он вырывался из распадков, поднимая на мелководье большую волну. Афоня направил лодку ближе к берегу, где ветер был слабее. Вскоре он уже выходил на освещенный знак Нерпичьего мыса.

В ярдах двухстах по носу из воды выступал риф, за ним был осохший бар, на котором копошились чайки. Заслышав стук двигателя, чайки взмыли в воздух, повиснув над лодкой плотной колыхающейся завесой. И тут Афоня увидел на воде плавающие обломки разбитой лодки, а затем он увидел человека, тот лежал на гальке, и в темноте белели ступни его босых ног... Афоня обошел бар слева, чтоб порыв ветра не смог бросить лодку на камни. Перевесившись через борт, он зацепил человека багром за телогрейку и втащил в лодку.

— Мулинка, — проговорил Афоня нерешительно: он не смотрел на лицо утопленника, боясь поверить своей догадке.

Афоня расстегнул на нем телогрейку, положил ему на грудь руку и почувствовал под ладонью слабый удар сердца. «Живой!» — обрадовался Афоня.

Мулинка лежал между банок с согнутыми коленями. Афоня вылил ему на грудь компасный спирт и растирал так, что кожа горела на ладонях. Тело у Мулинки медленно согревалось, покрываясь кровавыми волдырями. Афоня начал делать ему искусственное дыхание — Мулинка застонал, ноги у него судорожно передергивались. «Теперь Мулинка будет жить», — подумал Афоня почти равнодушно, ощущая пустоту и холод в сердце. «Афоня нету труса... Тебя наша друг... Мулинка будет выручить друга...» — услышал он Мулинкины слова. И с внезапной ясностью он вспомнил весь их разговор и только сейчас понял, что произошло... Мулинка шел на промысел, чтоб защитить его от клеветы. Мальчик делал это ради дружбы, хотя и не мог простить Афоню. И Мулинке пришлось дорого заплатить за свою дружбу... Но почему Афоня не догадался тогда обо всем?

Может, потому, что земля так захватила его самого, что он был уже не в силах понимать других? «Если б вышел из Крестьяновки сразу, то не было б этого...» — тоскливо думал Афоня. И потом, когда возникли перед ним огни поселка, довел свою мысль до конца: — И поэтому должен я в море быть, в нем мое место».

Ночью он писал письмо Белкину. Получилось вот как: «Здравствуй, ученый Белкин! Во-первых, посылаю тебе четыре тетрадки, которые я написал в поселке, когда бросил зверобойку, потому что не мог видеть, как тюленя убивают из винтовок. Три тетрадки по двенадцати листов, и в последней листок оторвался. В них я установил, что зверь, птица и человек и вообще природа обозлены между собой и гибнут один от одного. Но поскольку я человек, то больше всего не могу переносить, если это касается людей, и поэтому должен я обратно в море идти, чтоб спасти в нем все человеческое. А если тебе интересна моя жизнь, так ищи меня на спасателе «Атлас». С морским приветом к тебе Афанасий Белый, матрос первого класса».

Отплыл Афоня утром. Никто не провожал его. Когда огибал Нерпичий мыс, вспомнил, что остался на нем якорь от его лодки. Но за якорем Афоня не пошел, потому что торопился быстрее попасть на место. Сидел он в лодке не шевелясь, погруженный в свои мысли, и вздрогнул, услышав знакомый голос. Поднял голову и увидел в небе орленка. Тот кружил над лодкой и что-то лопотал на своем языке, часто махая неокрепшими крыльями. «Отбилась от своих, — подумал Афоня, — теперь ему человек дороже отца-матери». Он полез в карман за папиросой и нащупал там Марьюшкину репку. Афоня крепко сжал ее в кулаке. Он безотрывно глядел на орленка, чувствуя, как звонко забилося в груди сердце. Тот долго провожал Афоню, выбиваясь из сил, далеко видный в пустом небе. Потом отстал и повернул обратно.

г. Минск.

Александр Силецкий

ОБЫКНОВЕННЫЙ УНИКУМ

Иронический рассказ



Рисунки А. Семенова.

Наконец-то я получил новую квартиру! После непродолжительных споров с женой мы порешили всю старую мебель сменить на новую, и я, не теряя времени, в то же утро приступил к поискам подходящего гарнитура. Разумеется, набегался я изрядно: хотя новой мебели в магазинах было полно, в каждом комплекте обнаруживалась какая-нибудь неувязка с требованиями моей жены — мне-то было все равно, — и я уходил ни с чем. Но в конце концов мне повезло.

Я вступил в квартиру, как Цезарь-победитель на улицы Рима, — жена кричала мне «Виват!», а позади меня, пыхтя и чертыхаясь, четверо дюжих грузчиков пытались протиснуть в узкую дверь новую двухспальную кровать. Потом они притащили все остальное, свалили в угол и ушли. Нам с женой не оставалось ничего другого, как засучить рукава, поднажиться и заняться расстановкой мебели. К вечеру можно уже было звать гостей и праздновать новоселье.

— По-моему, неплохо, — самодовольно хмыкнул я, оглядывая прибранную комнату.

— Ничего, — согласилась жена. — Миленько получилось. Только вот этот письменный стол... Ну, зачем ты его купил?

— А что? Прекрасный стол, — возразил я невозмутимо. — Любой гость сразу поймет, что за этим столом работает физик-теоретик, то есть я, и проникнется уважением к тебе. Ты ведь знаешь, как люди уважают жен физиков-теоретиков.

— Ах, — сказала жена, — я все знаю! — И ушла на кухню готовить ужин.

А стол был хорош! Добротный, вместительный, он, конечно, немножко диссонировал с окружающей сверхмодерновой мебелью, но один вид его уже вызывал во мне неодолимое желание сесть и начать работать.

Что ж, подумал я, в конце концов я действительно так и сделаю: работы у меня навалом. Я придвинул к столу трехногий ультрасовременный стул и, покачиваясь на нем из стороны в сторону, как на добрых старых качелях, разложил перед собой бумаги и справочники, закурил сигарету и приготовился размышлять о высоких материях.

Работа моя зашла в тупик, я это чувствовал. В течение целого часа ни одна дельная мысль не пришла мне в голову. Я сидел, в отчаянии обхватив голову руками, и бессмысленно смотрел на серые от букв и цифр справочники, на чистые, до неприличия чистые, будто голые, листы белой бумаги, и перед моим мысленным взором вместо формул и уравнений лихо скакали улыбающиеся чертики и летали всякие аэропланчики совершенно немыслимых конструкций. Потом меня стали осенять весьма странные идеи. Что, ежели сейчас вдруг упадет метеорит, пробьет крышу и пролетит до самого фундамента, — дом от этого развалится или нет? И если развалится, то с каким ускорением, учитывая внешние тормозящие факторы, сосед сверху будет падать на меня, а я от него улечу?

Наконец я понял, что на сегодня моя работа закончена. И вдруг...

— Одну минутку, — сказал чей-то вежливый, приятный баритон.

От неожиданности я чуть не поперхнулся сигаретой. Потом обернулся — в комнате не было никого.

Черт знает что, подумал я с тоской. Неужели у меня начались галлюцинации? Я попытался вспомнить, когда раньше у меня случались галлюцинации, но вспомнить не смог. Правда, временами я разговариваю сам с собой, когда слишком долго думаю об одном и том же, однако свой голос я знаю достаточно хорошо и вряд ли спутаю с чужим. Тут мне вспомнилась давным-давно прочитанная статья о чревоушателях. Я что есть силы напряг мышцы живота, судорожно сдерживая дыхание, но даже тонюсенький писк не прорвался в окружающую тишину. И тогда я подумал о домовых...

— Алло, вы меня слышите? — снова раздался тот же голос.

— Разумеется! — Я попытался изобразить беспечную, пренебрежительную улыбочку: пусть знает, что меня такими шутками не одурачишь!

— Мне кажется, вы испытываете некоторые затруднения?

— Как вам сказать... — Я попытался улыбнуться еще шире, но такая пронизательность вышибла всякую почву из-под моих ног.

— Покажите-ка вашу диссертацию, быть может, я вам помогу, — заявил баритон. — Положите ее в ящик стола. Второй сверху.

— Она еще не завершена, — возразил я робко.

— Тем лучше, — тоном, не признающим сомнений, отозвался незнакомец. — Разберемся, в чем там дело.

Я снова подумал о домовых. Глупость, конечно, но... Я неуверенно выдвинул пустой ящик и положил туда свою незаконченную диссертацию.

Я ждал минут пятнадцать — двадцать, а баритон тем временем бормотал, изредка побрякивал и упорно что-то возводил в шестьсот шестьдесят шестую степень. Наконец он сказал:

— Ну, вот и все. Забирайте. Решил я вам ваше уравнение.

Я достал рукопись и недоверчиво начал ее листать. Совершенно верно: незнакомец не только написал решение ключевого уравнения, но и подробно разъяснил, где заключалась ошибка в моих рассуждениях.

Я был потрясен.

— Вы знаете, — начал я патетическим тоном, — это замечательно! Вы оказали мне неоценимую услугу.

— Пустое, — скромно заметил баритон.

— Ну как же! Если бы не вы, тогда бы я... В общем, было бы очень плохо... Да. И я считаю своим долгом поблагодарить вас, хочу пожать вашу благодарную руку. Если вы не спешите, оставайтесь поужинать с нами. У нас сегодня как раз новоселье...

— Нет, куда же спешить? — флегматично отозвался незнакомец.

— О, тогда прекрасно! Только я не знаю, кто вы...

— Стол, — лаконично сказал баритон.

Некоторое время я в замешательстве смотрел в пространство, не зная, как расценить услышанное. Наконец я решил, что это всего лишь шутка, и бодро отозвался:

— А я чайник!

— Но я действительно стол, — оскорбился незнакомец.

— Стол? Какой?

— Ваш. Письменный. Какой же еще?

— Ах, вот как... Говорящий стол, значит?

— И думающий, — не без самодовольства добавил стол.

Я не знал, как мне быть. Ситуация складывалась крайне нелепая — подумать только: передо мной сто-

ит стол, который, шут его знает как, может думать и говорить, а я сижу, облокотясь на него, и в ус себе не дую.

Я мигом отпрянул в сторону, но проклятый трехногий стул вывернулся из-под меня, и я полетел на пол. Мне показалось, что стол захихикал. «Оборот!» — подумал я в сердцах.

— Сева, — раздался из кухни голос жены, — иди ужинать. И не ломай, пожалуйста, мебель.

— Вот видите, меня зовут, — обратился я к столу. — Я мигом: туда — назад. А потом мы с вами еще поговорим.

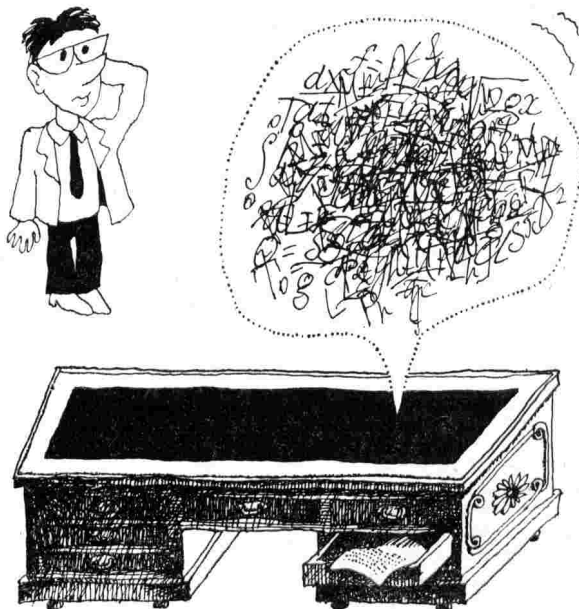
После ужина поговорить со столом не пришлось: надо было посидеть с женой, ей было скучно, и я развлекал ее до самого сна. В другой раз, быть может, это и доставило бы мне удовольствие, но не сейчас, когда нарушались все мои планы: подумать только, возмущался я в душе, там, за стеной, в соседней комнате, притаилось чудо — ведь говорящий стол — это действительно чудо! — а я вместо того чтобы понять, изучить его как можно лучше — чудото мое, мое собственное, и мне, а не кому-нибудь еще иметь с ним дело! — я вместо этого валяю дурака, а стол — что ж, он стоит и ждет, и я даже не могу при жене с ним заговорить, чего доброго, она еще вообразит, что я спятил, мне этого только и не хватало. Я был очень зол, но что я мог поделать?

Когда мы легли спать, мне пришла в голову отличная мысль. Не пролежав в постели и пяти минут, я решительно вылез из-под теплого одеяла.

— Ты куда? — схватила меня жена за руку.

— Лапонька, кисонька, я должен поработать. Понимаешь, я кое-что придумал, и мне необходимо все записать. Иначе я забуду. Ты ведь не хочешь, чтобы твой Сева забыл свои гениальные мысли?

— О боже, — вздохнула жена и перевернулась на другой бок.



шит... Мне бы пока не хотелось посвящать ее в наши дела...

— Я понимаю,— согласился стол.

Но она все-таки услышала, как тихо мы ни говорили.

— Сева, ты с кем это разговариваешь? — донесся до меня ее голос.

— Спи спокойно, милая. Это я так, сам с собой. Понимаешь, иногда мне нужно с самим собой спорить. Ты же знаешь, что только в спорах рождается истина.

— Ненормальный,— пробормотала жена и погасила торшер возле кровати.

Наш разговор был долгим — на самые различные темы, и я только диву давался, слушая пояснения стола. Он сказал, что и впредь будет мне помогать, что это его долг, его предназначение: он помогал и всем прежним своим хозяевам, а сколько уж их сменилось на его долгом веку!.. Когда дело доходило до творчества, до созидания чего-то нового, — стол всегда был к вашим услугам. Главное, что требовалось от вас, — это верить ему, и ничего больше.

— Но, может быть, внутри вас есть какие-нибудь аппараты? — спросил я на всякий случай, просто желая найти хоть какое-то разумное объяснение.

— Никаких.

— Абсолютно ничего?

— Абсолютно.

— Тогда как же вам все это удастся?

— Трудно сказать,— проговорил стол.— Я просто УМЕЮ.

— Однако вы должны чем-то думать, чем-то видеть, говорить,— не унимался я.— Чем вы пишете наконец?

— Понятия не имею,— признался стол.— Все происходит как-то само собой. Я чувствую, ЧТО я могу, и у меня все сразу получается. Получается так, как было бы, на мой взгляд, наиболее целесообразно. Мне трудно объяснить вам, что к чему, это какие-то внутренние процессы, если хотите, подсознательные. Вы же не смогли бы объяснить, откуда у вас вдруг возникает оригинальная мысль или то или иное желание... Они есть — и все тут. То же самое и у меня.

— А вы уверены, что все у вас получается правильно? — осторожно заметил я.

— Да,— просто сказал стол.— Уверен.

Настенные часы пробили два ночи. Мне было жаль прерывать наш разговор, но я сегодня очень устал, а стол, видимо, мог говорить до бесконечности, и потому я вежливо сказал:

— Извините, но уже очень поздно. Мне завтра предстоит трудный день, и я бы хотел выспаться. Ведь мы можем продолжить разговор и после?

— Да, да,— неожиданно старческим голосом согласился стол,— пора спать.— И он крякнул, словно поудобней устраивался в своей постели.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— ответил я и улыбнулся: сегодня был совершенно необыкновенный день.

— Будьте добры, погасите настольную лампу,— попросил стол.— Я привык спать в темноте.

— Конечно.— Я выключил свет и на ощупь двинулся в соседнюю комнату.

В эту ночь я никак не мог уснуть. Я долго ворочался в постели, глядя в серый пустой потолок, и вспоминал минувший день.

«Подумать только,— размышлял я,— отныне все будет по-другому — все мои дела и мечтания! А впрочем, кто знает, может быть, все останется по-старому и мне только кажется, что произошел переворот в моем маленьком мирке? Или, возможно, случившееся закономерно: я о нем не думал, не ждал его, и лишь теперь-то начинается настоящая жизнь?» Я чувствовал, что у меня появился новый и преданный друг, немножко необычный, но именно такой, какой мне был необходим.

Завтра я отнесу готовую диссертацию в институт, предварительно отпечатав с утра на машинке — то, что решил мне стол — и покажу своему шефу. По правде, мне было чуточку совестно перед столом: ведь это он завершил мою работу, сам я не смог ее одолеть. Но в конце-то концов, возражал я сам себе, он решал это уравнение для меня — он мне сам об этом сказал, и это всего лишь стол, моя собственность, за которую я расплатился наличными, и не все ли равно, кто из нас дошел до истины. Мне было чуточку совестно, и я успокаивал себя, как мог.

Потом я уснул и видел приятные сны: стол был заведующим соседней лабораторией, ему нравилась моя диссертация, и он собирался выступить моим благожелательным оппонентом на ее защите...

Проснулся я в прекрасном настроении. Сразу вставать, умываться, завтракать, а потом еще стучать на пишущей машинке не хотелось, и я лежал и благодушно улыбался.

Но тут бой часов — уже семь утра! — поднял меня на ноги.

Я лихо взбежал по лестнице к главному входу, пересек вестибюль и первым делом направился в кабинет своего шефа.

— А,— сказал он,— приветствую! — И помахал мне рукой: у меня с шефом прекрасные отношения.— Что новенького? — спросил он после минутной паузы.

— Вот,— ответил я и гордо выложил на стол папку со своей диссертацией.— Все кончил.

— Все? — недоверчиво переспросил шеф, листая рукопись.

— Все,— твердо сказал я.— Все, что нужно, здесь есть.

На какое-то время взгляд шефа задержался на решении ключевого уравнения.

— Так,— сказал он наконец.— Любопытно. И, главное, все верно! Могу вас поздравить. То есть не могу, а должен!

Он встал и пожал мою руку.

— Спасибо.— Я был растроган.

— Блестящая работа,— не унимался шеф.— Просто непонятно, как вы сумели так быстро с ней управиться!..

— Сумел,— уклончиво ответил я.

Весь день для меня прошел, как в тумане. Я был рассеян, все делал невпопад или просто сидел, уставившись в одну точку, и в голове моей, как пули во время бешеной атаки, носились во все стороны разные мысли, наверное, сразу все, какие только к тому времени накопились, иначе бы я понял, что вместо работы валяю дурака. Вест о моем странном поведении мигом долетела до шефа, и он, самолично явившись в лабораторию, сделал мне внушение.

— Я понимаю,— сказал он,— вы только что закончили диссертацию, и у вас прекрасное настроение. Но, милый мой, работа остается работой, и если каждый так будет радоваться своей удаче —

поверьте мне, удачи есть у всех,— то что же тогда останется от наших исследований и всего плана работ?

Я поблагодарил его за проявленную заботу о моей персоне, тем не менее этот день остался совершенно пустым. Перед уходом я забежал к шефу и пригласил его к себе на новоселье. Послезавтра, в семь часов вечера, разумеется, вместе с супругой.

Домой я летел на всех парах. Жена еще не вернулась, и потому я без помех сразу уселся к столу.

— Привет,— сказал я.

— Привет,— отозвался он бодрым голосом.— Как дела?

— Нормально. Все к лучшему. Показал шефу диссертацию — кажется, понравилась. Скоро, наверное, буду защищать. Жаль, что вас на защите не будет.

— Это ничего,— благодушно изрек стол.— Я всегда с вами и все всегда знаю.

— То есть как?

— Очень просто. Вам сегодня шеф сделал выговор?

— Ну, не выговор, но маленькая нотация была. Откуда вы знаете?

— Я все знаю,— самодовольно повторил стол.— Открою один секрет: я умею читать мысли.

— Ага,— сказал я без всякого энтузиазма,— прекрасный дар.

Мы надолго замолчали. Я невольно содрогнулся — он же видел меня насквозь! — и постарался выкинуть из головы всякие мысли — кто поручится, что среди них нет ни одной дурной? — но у меня ничего не вышло. Тогда я стал насвистывать какую-то похабную песенку, силясь вспомнить слова, которых почти не знал, — исключительно интеллектуальное занятие.

— Ладно,— сказал наконец стол.— Хватит валять дурака. Давайте-ка поработаем.

— Давайте,— оживился я.

— У вас есть какая-нибудь тема? — поинтересовался стол.

— После диссертации — пока ни одной, — развел я руками.

— Ну, это не беда. У меня тем много.

И стол выдал мне длинный список вопросов, которые, по его мнению, недурно было бы в ближайшее время разрешить. Одного взгляда было достаточно, чтобы прийти в ужас: и половины всех вопросов хватило бы по крайней мере на две человеческие жизни. Но зато какие это были темы! Бог мой, какие прекрасные темы! Любому ученому умер бы счастливец, если бы ему удалось разработать хотя бы несколько из них. А я даже не знал, как к ним подступиться. Это было похоже на роскошный яблоневый сад, в котором спелые, сочные яблоки сгибают ветви до самой земли, в котором все дышит изобилием и восхитительным ароматом, а ты стоишь позади высоченной ограды и жадно смотришь в сад между штакетинами — калитка рядом, но на ней замок, и есть только один путь: через забор, но ты боишься, что сейчас выскочит из-за угла страшный сторож с двустволкой в руках и начнет палить в воздух, а потом поймает тебя и надерет тебе уши — тут уж будет совсем не до яблок.

— Вы не находите, что здесь вопросов м-м... несколько многовато? — спросил я после минутного замешательства.

— Не нахожу, — отрезал стол. — По-моему, все в норме.

— Возможно, — неуверенно поддакнул я. — Но, черт возьми! Я даже не представляю, с чего начинать...

— Будем делать по порядку. С вопроса номер один по последний.

От такого предложения я чуть не свалился со своего трехногого стула. Самоуверенность стола, видимо, не имела границ, равно как и время, отпущенное на развитие этого самоуверенности, но у меня-то границы были, и еще какие!

Я решил проучить этого хвастуна.

— Что ж, — не без ехидства сказал я, — давайте попробуем.

И уже вскоре убедился, сколь ошибочным было мое первоначальное мнение о его возможностях. Да, стол творил чудеса. Он был буквально начинен совершенно оригинальными, невероятными идеями. Время шло, и на бумаге мало-помалу начинали проявляться контуры будущей новой теории.

— Вы знаете, — сказал мне стол в начале нашей работы, — неплохо было бы сразу все перепечатать на машинке. Конечно, я мог бы сделать это сам, но мне печатать уже тяжело — глаза устают, и вообще годы не те, сами понимаете. Не могли бы вы этот труд взять на себя?

— Охотно, — согласился я и через минуту уже стучал на машинке.

Честно говоря, мне все-таки было немножко не по себе. Все шло, как по маслу, будто и не было никаких трудностей или сомнений, — я чувствовал, что сейчас создается замечательнейшая теория. Простота ее создания пугала меня.

Сидя на кухне и черпая ложкой давно остывший суп: жене уже надоело его подогревать, — я все время мысленно возвращался к нашей работе.

Я никогда не считал себя великим человеком. Я всегда делал только то, что мог, и никогда не ставил перед собой неразрешимых, с моей точки зрения, задач. По правде, я никогда не интересовался, что думают обо мне остальные. Я работал с ними — и только. Но вот теперь на моих глазах создается замечательный труд, блестящая теория. Имел ли я право поставить под ней свое имя? Конечно, стол сказал, что это его долг — помогать мне, он этим занимался и у других хозяев, он читает мои мысли, все обо мне знает и все мне рассказал о себе. Он мой раб — громко звучит, не правда ли?! Для постороннего наблюдателя это просто стол, мертвая вещь, за которой, может быть, удобно работать, но только ли удобно, вот в чем вопрос? Для меня он живой, такой же, как я, как все другие люди, я с ним советуюсь и жду от него помощи. Все идеи принадлежат ему, во всяком случае, большая часть, и он терпеливо объясняет мне, что к чему. Мы с ним как соавторы, нет, как учитель и ученик. И в то же время я его купил, купил как вещь, которую мог бы приобрести любой другой, не окажись я в тот момент в комиссионном магазине. Что же делать? Имею ли я право называть эту теорию СВОЕЙ?

Я быстро допил компот и побежал к столу. Работа интриговала, тянула к себе, и я наконец нашел выход: сначала завершу теорию, а потом уж подумаю о своем моральном праве на нее — таково было мое поистине соловьиное решение.

Мы трудились до самого вечера. Мы многое успели за этот день, и потому я шел спать со спокойным сердцем: я славно сегодня поработал. Как и вчера, я долго ворочался в постели, силясь заснуть, но сон решительно не шел, и я понял, что ждать его бесполезно.

Тогда в половине двенадцатого меня снова посетила муза вдохновения, впрочем, у физиков и ма-

тематиков это не муза, а что-то иное, по-видимому, вовсе без названия, и я опять отправился записывать серию своих новых гениальных мыслей, как сообщил я жене. Она уже не протестовала, она даже, кажется, начала проникаться уважением к моим ночным бдениям: в конце концов говорят же, что великие люди творят по ночам — вдруг и ее муж создаст что-нибудь дельное? — тогда можно будет счастливо улыбаться и принимать поздравления в его адрес, все-таки, знаете, очень приятно, когда хвалят близкого тебе человека.



Так в трудах и радостных открытиях прошли еще два дня. А вечером явились наши гости. Мы сели за праздничный стол и, как водится, выбрали тамаду. Выбор пал на моего шефа. Если судить по его важной, внушительной внешности, можно подумать, что в нем слились воедино по крайней мере три великих человека. Он и вправду был изумительным администратором, совсем недурно знавшим физику, и к тому же признанным оратором на всех институтских совещаниях.

— Товарищи, — солидным голосом начал он, поднимаясь со стула, — все мы собрались здесь на новоселье у человека, только что закончившего диссертацию, которой бы позавидовал любой (моя жена сидела смущенная и счастливая). И я горжусь тем, что был его, так сказать, наставником на поприще науки (тучный поклон и неуклюжий реверанс в мою сторону). Так выпьем за то, чтобы этот новый дом стал счастливым домом и родил нам большого ученого и чтобы вот за этим письменным столом возникла не одна сногшибательная догадка и замечательная теория.

Все захлопали и радостно выпили.

Потом было еще много разных тостов, гости уплетали за обе щеки и весело шутили, а я сидел слег-

ка раздосадованный: я как раз дошел до важного пункта в нашей теории, и у меня уже возникали кое-какие мысли насчет его выполнения, но еще смутные, так что пришлось бы изрядно повозиться, прежде чем все закончить, а тут, как назло, нагрянули гости.

Я, правда, сказал столу:

— Вот вам бумага, порешайте еще немного, — и положил в ящик толстую пачку чистых листов. И теперь мне не терпелось узнать, пошел ли стол по тому пути, что казался верным мне, или нет. Просто подойти к столу и начать листать рукопись, никому ничего не объясняя, я не мог: чего доброго, гости обидятся и подумают, что мне до них нет никакого дела. Но в конце концов я нашел выход из положения. Я отозвал в сторонку шефа и в двух словах обрисовал ему суть новой работы. Как я и ожидал, шеф заинтересовался.

— Ну-ка, ну-ка, — сказал он, весь просияв, — покажите.

Мы подошли к письменному столу.

— Прекрасный стол, — сказал шеф, похлопывая по нему ладонью. — Удобный стол. Хорошо за ним думается, наверное, а?

— Изумительно, — подтвердил я и вытащил из ящика свежееписанные листы. Одно беглого просмотра оказалось достаточно, чтобы убедиться: мои догадки были верны, стол пошел тем же путем.

— Вот взгляните. — Я протянул шефу рукопись.

Несколько мгновений шеф в замешательстве глядел на листы, которые только что заполнил стол.

— Простите, — сказал он наконец, — но я не понимаю, где же ваша работа? Я вижу только чистую бумагу.

Теперь настала моя очередь изумиться.

— Как чистую? — ахнул я. — А вот, вот — неужели вы не видите всех этих уравнений?

— Мой милый, здесь ничего нет... Может быть, все это есть тут, — он похлопал меня по лбу, — но на бумаге пусто.

— Но, позвольте... Я же ясно вижу все решение...

— Ну, не знаю, не знаю, — пожал плечами шеф.

Остаток вечера был для меня испорчен окончательно.

Когда гости ушли, я схватил листы и снова просмотрел их — решение было налицо.

— Послушайте, уважаемый стол, — начал тогда я тихо, — это называется, вы решили то, что я вас просил?

— Решил, — с достоинством ответил стол.

— Отчего же мой шеф ничего не увидел?

— А вы видите?

— Я-то вижу...

— Отпечатайте на машинке эти листы, и все тоже увидят.

— Значит...

— Понимайте, как хотите. Я вам только помогаю.

И тут я понял все. Стол был просто столом. Но он был таким удобным, и мне было так приятно работать за ним, что все оригинальное, прежде скрывавшееся во мне, мгновенно вырывалось наружу. Он мне действительно помогал, помогал атмосферой, которую вокруг меня создавал, и я...

У меня еще много работы. И сейчас мне предстоит разрешить чертовски трудный вопрос в новой теории. Перед сном я пойду к столу и скажу:

— Вот вам бумага, порешайте еще немного.

А утром я выну из ящика эти листы и перепечатаю их на машинке. Тогда их увидят все, не только я один. И под новой работой, когда она будет закончена, я поставлю свое имя.





Юлиу
Эдлис

ВОЗРАСТ ТАЛАНТА

(Заметки драматурга)



Мужу Татьяны, «старому генералу» в «Евгении Онегине», было сорок лет. В шестнадцать лет Гайдар командовал полком. При всем том оба — герой литературный и герой вполне реальный — были, как говаривалось в старину, зрелыми мужчинами. По-видимому, тут дело не в возрасте и не в разной скоротечности времени в различные эпохи.

В зрелости.

Я снова в Кишиневе, городе моей юности, первых шагов на театральной ниве, первых корреспонденций в молодежную газету. Первая моя пьеса так и называлась «Мой белый город», он действительно белый, желтовато-белый или даже пепельно-белый, это цвет тамошнего строительного материала, «котельца». Он здорово изменился — новые улицы, новые дома, новые линии троллейбуса. Новые люди.

Впрочем, изменился не только он — я тоже. Восемь лет, как-никак.

Тут у меня тьма родных, приятелей, друзей. Знакомых, которых я бережно помню, и таких, которые выветрились из памяти.

Но есть у меня здесь один совсем особый друг, предмет почти личной моей гордости, хоть я и не имею к нему, казалось бы, никакого отношения. Да его и не существовало в ту пору, когда я был еще кишиневцем. И горжусь я им вовсе не только потому, что бывший кишиневец. И не потому даже, что вообще театрал. Просто это хорошо, и отлично, и прекрасно, что есть у всех у нас такой театр — «Лучафэрул».

О нем уже много и с удовольствием писали. Приятно писать о том, что тебе нравится, во что ты веришь, с чем связываешь радостные, бескорыстные надежды. О том, как эти надежды осуществляются. Пусть не во всем, не сразу, но осуществляются.

Кажется, я был среди первых писавших о нем. Тогда он еще не назывался «Лучафэрул». Тогда это был всего-навсего второй курс молдавской студии при театральном училище имени Щукина в Москве: двадцать ребят, лишь годом раньше попавших в столицу, еще плохо говоривших по-русски, еще мало что знающих о том, чему они себя посвятили, — о театре. Еще по-деревенски, по-провинциальному смущенные, неуклюжие, будто еще не поверившие в выпавшее им счастье учиться в Москве. В Вахтанговском!..

Это было ровно десять лет назад.

Теперь ему от роду восемь лет. Он на четыре года моложе московского «Современника», но на столько же старше Театра на Таганке. Дело, понятно, не в метрических свидетельствах. Театры эти совершенно разные, непохожие, а то и прямо противоположные.

Так что речь пойдет не об одном «Лучафэрул».

Лет десять назад, как грибы после дождя, стали нарождаться и все настойчивее заявлять о себе новые (дело не в зданиях, не в названиях — они-то как раз могут оставаться прежними) молодые театры. Некоторые из них сразу же — впрочем, не так уж сразу и не так уж легко! — завоевали признание зрителей и критики, другие заглохли в самом начале пути, третьим не улыбнулась еще громкая слава — Рижскому ТЮЗу, к примеру, четвертые — в Павлодаре, скажем, — делают первые, но достаточно дерзкие шаги. И хоть все они еще относительно молоды, а цыплят принято считать по осени, театры эти меньше всего нуждаются в снисходительности, в этаким покрови-

тельственным похлопывании по плечу, дескать, молодое-зеленое, погодим, поглядим, что-то будет.

Да и вообще, кажется, сегодня главная беда нашей критики и, соответственно, критикуемых не только в том, что слишком уж сплеча иные из пишущих о театре отмечают, даже не попытавшись понять, многие свежие и искренние творческие поиски. Не менее часто и взахлеб хвалим мы (в зависимости от пристрастий пишущего) то, что при всех достоинствах не должно бы у нас вызывать дамски-восторженных ахов и рукопесканий до боли в ладошках. Мы достаточно имениты — и прошлым и настоящим, — чтобы позволить себе роскошь самых высоких критериев в оценке сегодняшних наших сочинений и спектаклей.

Мы вот сегодня стали свидетелями того, как в последних спектаклях «Современника» свежесть и непосредственность накрепко объединились с профессионализмом и ясностью гражданского, художественного мышления. И, оглядываясь назад, понимаем, что многим предыдущим работам театра этого сплава очень даже не хватало. А перелистаем-ка рецензии трех- или четырехлетней давности: ведь их авторы уже тогда объявляли спектакли «Современника» вполне совершенными, не позволяли себе видеть в них никаких просчетов и путали подступы к цели с самой целью.

Впрочем, это относится не только к молодым театрам. Поставили, к примеру, сколько-то времени назад во МХАТе «Ревизора». Хороший спектакль, вполне достойный. Но нам мало этого, забегали, заторопились: новое прочтение, новое воплощение, новая страница! А страница-то прежняя, но новая на ней запись «Ревизора» сделана мастерской, честной рукой. Мало ли того?..

Однако это еще полбеда, когда речь идет о действительно художественно состоявшихся спектаклях. Совсем бывает глупо, когда в некоторых наших рецензиях по каким-то конъюнктурно невинным соображениям уж так-то взахлеб, уж так-то заливисто расточаются превосходные степени и лавровые венки в адрес пьес и спектаклей, которые на поверку не переживают и журнальной страницы, их превозносящей. Умирают подобные поделки смертью скорой и естественной, и хоронят их уже в застенчивом молчании.

Попросту говоря, весь вопрос в том, как себя мерить: какой меркой, какими эстетическими нормами, что себе избрать в непреложный эталон? Конечно же, проще простого забыть или сделать вид, что забыли — ради собственного душевного уюта, хотя бы, — что до нас в отечественном театре были Гоголь, Островский, Чехов, Станиславский, Мейерхольд, Вахтангов. Тогда и однодневная кочка сможет показаться с горную вершину, особенно если она сама о том громогласно заблаговестит на весь белый свет и очертит вокруг себя меловой заповедный круг: ничего и нет, кроме меня самой, ни в ближних, ни в дальних краях.

Снижение критериев, смещение оценок — вся эта критическая «добродота» особенно вредна, когда речь идет о тех, кто (наедине с самим собой, хотя бы) знает истинную цену большому искусству, глубоко человечному и социальному, кто готов платить за него полной самоотдачей, или уж лучше по-старинному — самоотречением.

Думаю, что это наблюдение относится не только к театрам: неоправданно затянувшаяся «подростковость», инфантильность и в замысле и в исполнении не в меньшей степени бросается в глаза во многих

вещах молодых прозаиков, поэтов, драматургов. Впрочем, это предмет слишком серьезный, чтобы позволить себе говорить о нем вскользь, на ходу.

Вернемся, однако, к «Лучафэрулу».

Не стану скрывать, это мой любимый театр. И одно только это дает мне право поразмышлять в этих заметках не столько о том, что уже достигнуто, завоевано им — тем более, что об этом много уже писалось, — сколько о том, что озадачивает меня в сегодняшних его спектаклях.

Что же до спектаклей вчерашних, то среди них немало было таких, которые и сейчас кажутся отлично задуманными и отлично сыгранными. Года четыре назад «Лучафэрулу» показал их на сцене Кремлевского театра, и горячий прием столичной публики был для него не только вполне заслуженной наградой и признанием, но и как бы векселем на будущее.

Самое время предъявить вексель к оплате. И, как уже было замечено выше, не одному «Лучафэрулу».

Говоря со сцены вполне современным художественным языком, кишиневский театр остался верен (и тут он может низко поклониться своим учителям-вахтанговцам) яркой, праздничной зрелищности, легкости, тому, что я бы назвал непринужденной артистичностью. Это счастливый дар — естественность и непринужденность таланта, когда он не только результат, не просто итог труда, а начало отсчета, исходная его точка, нечто как бы само собой разумеющееся.

«Лучафэрулу» не был обойден ни любовью зрителей, ни похвалами — вполне заслуженными — рецензентов. Но вот понемножку, полегоньку в потоке доброжелательных и справедливых оценок стал тихо пробиваться ручеек сильно подслащенного елеса. Поначалу его и не распознать было, но, как известно, капля и камень точит... Впрочем, об этом ниже.

Восемь лет не прошли даром. Сегодня в театре (наряду с совсем еще зеленой молодежью) по крайней мере десятки не просто талантливых, но вполне уже сложившихся артистов, нашедших себя в театре и свое в себе, непохожих друг на друга и отлично друг друга дополняющих. Что же до главного режиссера Иона Унгуряну, то он по праву стал первым среди равных и как актер и как руководитель театра, и не в силу только режиссерских своих наклонностей, но потому, что именно в нем, как художнике, наиболее четко определилось то, что называется стилем театра, его направлением. Или его душой, что гораздо точнее.

Направление театра, жанр, к которому он сознательно тяготеет, — комедия, хотя подчас театру уже тесновато в жестких ее рамках, — а в перспективе, будем надеяться, вероятно, и трагикомедия, и фарс, и сатирический гротеск, и притча, и, наконец, как бы парадоксально это ни звучало, та драма, которую мы довольно расплывчато называем интеллектуальной. Под этим я разумею переход от отображения, от художественной фиксации того или иного явления жизни к его осмыслению, к анализу (художественному, разумеется) причин, его породивших, к исследованию жизни в ее быстротечности и изменчивости.

Однако до сих пор театр ставил в основном пьесы «легкие», неприязательные, ни на что особо серьезное не претендующие. Не станем перечислять — за восемь лет их набралось предостаточно. Спектакли были лучше, хуже, они помогли театру найти и понять себя: стиль, жанр, свое лицо. Но это было лишь начало, предполагающее продолжение — «впе-

ред и выше», проба голоса, за которой должна последовать песня. И если период этого, так сказать, первоначального накопления затянулся, вина в том не одного только театра.

Вспомним в этой связи о «доброй» критике, о которой шла речь чуть выше. Это она от всего своего любвеобильного сердца стала с некоторых пор твердить «Лучафэрул»: ты таков, каков есть, иным тебе быть не надо да и не дано, бойся изменить себя — как бы тебе не изменить себе, ты хорош и такой, будь же и впредь таким, не тщишься всякий раз начинать сначала...

Как будто в искусстве вообще возможно не начинать всякий раз сначала, с чистой страницы, с полной неизвестности!

Но вот неожиданный поворот! Стоило театру споткнуться, даже не то чтобы споткнуться, а просто — и это не могло пройти незамеченным ревнивой публикой — потерять обаяние и непосредственность первой молодости и стукнуться лбом о вечный и неминуемый вопрос: как быть? каким быть? что дальше? куда дальше? — как те же его вчерашние единодушные доброжелатели и «болельщики» тут же насупились, сделали строгое и отчужденное лицо и либо вовсе отошли в сторонку, быстренько умыв руки, либо с поспешностью ударили в бубны: «Лучафэрул» кончился, «Лучафэрул» иссяк, «Лучафэрул» бесовски обманул наши сокровенные упования!

А оно бы куда лучше спокойно и здраво пораскинуть мозгами, покопаться в причинах и следствиях, отделив зерно от полова. На то ты и друг, чтобы не только заламывать руки, когда беда уже пришла, но и вовремя предупредить о ее приближении.

Итак, главной проблемой в «Лучафэрул» стала сегодня проблема творческой зрелости. Сегодняшний «Лучафэрул» способен, на мой взгляд, на большее, чем он делает. Бóльшее, более глубокое, серьезное — зрелое. В конце концов дело в том, какой сложности и остроты задачи — художественные, гражданские — ставит перед собою художник. Ну, а поскольку речь идет о театре, дело, грубо говоря, сводится к тому, какую драматургию он избирает себе в союзники.

Сегодня из Шекспира — «Двенадцатая ночь», из Чехова — «Предложение», из Гоголя — «Женитьба», из Александри — одноактные водевили. Разумеется, все это прекрасные пьесы. Но, поставив их в ряд, легко обнаружить, что театр берет у классиков далеко не самое глубокое и сложное. Что же касается современных наших пьес, — наиболее значительные из них часто проходили мимо внимания «Лучафэрул». То есть за его порогом остается пока большая драматическая литература, которая могла бы стать для него и учителем и другом.

Не увидеть этого вовремя — опасно, так недолго и оборваться тончайшим связям, которые объединяют зал и сцену. А уж оборвутся — поди свяжи их заново!

В «Коварстве и любви» Унгуриану играет Президент, играет так, что совершенно очевидно — в нем не расходуются (рамки роли тесны) большие запасы трагизма и тончайшего психологического чутья. Ему бы в пору Лира играть, Вершинина, Фамусова, Креонта, Тартюфа! Глядя на отличных актрис Екатерину Малоч, Валентину Избешук, Нину Мокряк, нельзя не подумать: какие были бы чеховские сестры — неожиданные, непохожие на то, как играют обычно трех сестер! А Ион Шкуря — он подошел вплотную к Треплеву, Чацкому, Пер Гюнту... а время не ждет, оно необратимо, и жаль, если когда-

нибудь о них можно будет сказать словами Вознесенского: «Громовой Ливанов, ну где ваш несыгранный Гамлет?!»

Не так давно — в феврале этого года — Олег Табаков был приглашен в Прагу, чтобы сыграть в тамошнем «Ревизоре» Хлестакова. Хлестакова, которого он у себя дома, в Москве, не играл и не играет. Уж не знаю, каким образом чешские коллеги проводили о том, что Хлестаков для артиста — давняя, заветная мечта, что роль эту он подспудно и совершенно бескорыстно репетирует про себя уже долгие годы, словом, что она для него, как не написанная еще, но уже вызревшая в писателе «главная книга» жизни, — не знаю. Но вот, пригласили.

И Табаков сыграл своего Хлестакова. Своего.

Ну так вот, Хлестаков — Табаков (а может, вернее Табаков — Хлестаков?) стал событием в театральной жизни Праги. И не потому, что актер вписал, как говорится, еще одну страницу в сценическую биографию роли, а потому прежде всего, что он, артист, переосмыслил роль, увидел в ней то, чего никто до него не увидел, щедро насытив ее собою, своими мыслями, своим суждением о жизни — своей личностью.

Я говорю не понаслышке — Олег не раз и подробно рассказывал (нет, об актере нельзя сказать рассказывал — *показывал*) мне, как он хочет сыграть Хлестакова, как он понимает его, ничуть при этом не изменяя Гоголю, напротив: он увидел в Хлестакове, кроме всего прочего, то трагическое, жалкое и вместе возмущающее сегодняшнюю нашу душу, что связывает его с героями «Петербургских повестей».

Но вот ведь не разумнее ли, не достойнее и не расчетливее ли было бы тому же «Современнику» поставить «Ревизора» для одного из лучших своих актеров? Да и не для него одного вовсе — для себя, для Москвы, для русского театра! Ведь пройдет сколько-то скорых лет и тому же Табакову станет, пожалуй, поздно уже играть эту роль, во всяком случае, сложнее, труднее, а значит, что-то уйдет, потеряется, невосполнимо утратится...

Как не сыграл он до сих пор годами лелеемую главную роль в «Глазами клоуна» Бёлая. А ведь напротив, стоит только перейти площадь Маяковского, в театре имени Моссовета ее уже играет Геннадий Бортников...

Как не сыграл еще своего шекспировского Ричарда Михаил Ульянов.

А время не ждет. И если, берясь за ту или иную пьесу, театр не будет принимать в расчет актера — его желания, его самоотверженность, его возможности (увы, не вечные!), то, сколько бы ни было на его сцене плохо, или хорошо, или даже отлично сыгранных ролей, не быть на ней созданиям столь же живым, столь же новым и неподвижным, столь же художественно самостоятельным, как и сам образ, написанный драматургом.

И уж коли зашла речь об этом, подобно тому, как людей, умеющих писать вполне профессиональные, вполне технически оснащенные стихи, нынче более чем достаточно (хоть от этого ни истинно хороших стихов, ни истинно талантливых поэтов не стало больше против прежнего), так и в театре — средний, так сказать, актерский уровень стал весьма высок: и характер вам такой артист вылепит, и правдив будет, и убедителен, и совершенно по Станиславскому вам будет переживать на сцене — что делаешь, наше время не терпит дилетантов, недоучек, неумельцев, — но от этого среднего уровня до настоящего искусства дистанция внушительная.

Личности — вот что требует сегодня время от артиста.

Личности — то есть того, чтобы в нем, крупно и определенно, более крупно и определенно, глубже, драматичнее, резче, чем в нас, простых его зрителях, жили те же мысли, те же вопросы, устремления и цели, которыми живем и мы.

Чтобы роль для него была не самоцелью, а средством выразить себя, а значит, и нас, а значит, время, общество, мир.

Чтобы он был не интерпретатором, не исполнителем чужой идеи, чужого замысла, а равноправным с драматургом создателем характера, в котором мы бы узнали себя. Нет, не узнали — познали себя.

Больше мы ничего от него не требуем — эту малость.

Еще одна трудно разрешимая проблема — режиссура. Впрочем, опять-таки не только для «Лучафэрул». Вообще тревожно, что самые интересные, самые одаренные и беспокойные молодые люди, ощутившие в себе режиссерский дар, идут не в театр, а в кино. В нашем кинематографе можно назвать десятки талантливых художников, объявившихся в последние годы, в театре их единицы. Даже в Москве театральных режиссеров, недавно переваливших за тридцать лет и уже сказавших свое первое слово — кого назовешь, кроме все тех же Хейфеца, Фоменко, Ташюка, Салюка, Захарова?.. А ведь без непрерывного режиссерского обновления и пополнения наш театр столкнется в недалеком будущем с затруднениями более чем серьезными, и, право же, они не за горами.

В «Лучафэрул» сегодня, по сути дела, один-единственный режиссер — Унгуриану. Ясно, что он один не в состоянии поставить все спектакли, предусмотренные планом. Вот и приходится приглашать режиссеров со стороны, хоть на стороне их тоже не густо. Да ведь к тому же, для пользы дела, нужно еще, чтобы приглашаемый «варяг» был одной школы, одного направления с театром, иначе не найти им общего языка и спектакль постигнет судьба Вавилонской башни.

Так случилось с «Баней» Маяковского, которую поставил в Кишиневе москвич (в Москве, кстати, ничего никогда не ставивший) Л. Калиновский. Сидя на этом спектакле и досадуя, что он явно не удался, я вспомнил другой, незадолго до этого виденный мною, — тоже неудачный, тоже по Маяковскому (только на этот раз «Клоп»), тоже в молодом театре: в павлодарском. Общего у этих двух спектаклей — только неудача, во всем остальном они совершенно разные, даже полярные — в режиссерском замысле, по крайней мере. Причины же неудачи одни и те же.

Они прежде всего в том, по-моему, что в обоих случаях театр (а значит, режиссер) не очень-то понимал, не очень-то твердо знал, зачем ему сейчас эта пьеса, эта драматургия, что он в ней нашел для себя и для сегодняшнего зрителя, не было у него непреклонного убеждения в неопровержимости, обязательности постановки именно этой пьесы. Вот и получилось: вместо спектакля — эпизоды, не связанные единым замыслом, отдельные актерские удачи, так и не слившиеся в целостный ансамбль, разрозненные режиссерские проблески, не ставшие стержнем всей постановки. А в результате — недоуменная скука и растерянность в зале, и это — на «Бане»-то! На «Клопе»-то! На Маяковском!.. И актеров не узнать — потерянные какие-то, неприятно

бродят по сцене, а ведь я видел их в других спектаклях (кишиневцев — во многих, павлодарцев — в арбузовском «Городе на заре») и убедился: когда они знают что играют, они знают и как играть, и в этом единстве как раз и рождается художественная идея спектакля, его образ, то есть именно то, что должен привнести в спектакль сам театр помимо драматурга, как бы «сверх» драматурга. Конечно, если ему, театру, вообще есть что сказать — свое, выношенное, выстраданное.

Как, впрочем, и драматургу.

Много ли мы назовем в театральной драматургии последних лет молодых писательских имен, достаточно ярких и самостоятельных? Имена, конечно, вспомнить можно, но, во-первых, большинство их пьес так и не увидело огней столичной ramпы, а, во-вторых, если уж совсем честно, не больно густо в них было новых характеров, новых типов, новых конфликтов. Но были — и есть — среди непоставленных пьес молодых и действительно талантливые, интересные, неожиданные.

Отвлекаясь от злоключений каждой из этих пьес в отдельности (большинство из них — гротескные, сатирические), думаю, что они были отвергнуты театрами — увы, и молодыми в том числе! — потому что не привычны. Для театров, для режиссуры, для публики.

Алексей Николаевич Арбузов, самый, пожалуй, многоопытный по этой части из наших старших драматургов, как-то заметил не без печальной иронии:

— Чтобы иметь успех на сцене, пьеса должна быть чем-то похожей на свою имевшую успех предшественницу.

То есть, говоря простецки, она, пьеса, не должна слишком «воображать о себе».

Будто не у нас, не нашими великими предтечами и учителями, не русским гением созданы «Нос», «Портрет», «История одного города», «Смерть Тарелкина», «Баня» и «Клоп», наконец! Будто это не одна из мощных струй в могучем потоке русской литературы, русского реализма! А то, что выбрала она себе условную, гиперболизированную, метафорическую-обостренную форму — так затем лишь, чтобы самым разящим, самым неподдельным образом сказать ту же правду о жизни, о времени, о современниках.

К тому же, напомним еще раз, речь идет о литературе по преимуществу сатирической, а уж тут, как говорится, сам жанр велит обострить, укрупнить, выпятить каждую деталь, каждый образ.

Я не литературовед, не историк, но, право же, даже невооруженным оком вполне легко убедиться, что это направление в русской литературе и театре не менее реалистично, не менее идейно, не менее социально-наступательно, чем все прочие, включая и то, что общедоступно называется полным реализмом. И что оно полноправно и без ограничений входит в берега реализма социалистического. И служит верой и правдой нашим идеям, нашим целям, нашей эстетике.

А непривычность достаточно ли веский аргумент против того, чтобы приветствовать их появление на сцене? Препятствие ли? Нет, я не отвлекаюсь, я все о том же: о молодой драматургии, о молодых театрах.

Друзья в Кишиневе, да и в Москве тоже говорили мне: конечно же, пиши все, что думаешь, что считаешь нужным, но помни при этом, у того же

хотя бы «Лучафэрул» есть не только союзники, но и недоброжелатели. Я твердо уверен: «Лучафэрул» не только молодой, но и истинно художественный, граждански-ответственный театр. И именно потому, что верю в его будущее, я позволил себе вскользь говорить о его достижениях и подробно о том, что мешает ему сегодня. Если в чем и нуждается сегодня милый моему сердцу «Лучафэрул» и его (а заодно и мои) сверстники в искусстве, то как раз в требовательности.

Все дело в том, что дорогу в настоящее искусство одними благими намерениями не вымостить, и не розами она усыпана, и никто за нас ее нам не проторит; что же касается таланта — он не бывает молодым или старым, — истинный, единственный его возраст — зрелость.

Появление статьи в журнале — дело не скорое, пока отредактируют, пока наберут, напечатают, много воды утечет.

Так и с этой статьей — я успел побывать еще раз в Кишиневе, а «Лучафэрул» — выпустить два новых спектакля: «Сильнее любви» (по повести Б. Лавренева «Сорок первый») и «Дом Бернарды Альбы» Гарсии Лорки.

И произошло то, чего, вероятно, и следовало ожидать и на что я по душевной осторожности лишь уповал между строк: театр становится взрослым. Короткие штанишки забыты.

Вместо юношеской торопкой самоуверенности — уверенность в себе мастера, твердо знающего, чего он хочет, чего добивается и как добиться того, что хочет.

И не боящегося ошибиться.

В этих спектаклях уже почти нет «ножниц» между замыслом и исполнением. Артистам и режиссуре нет нужды прятать свои промахи за обаяние молодости, а недостаточность профессионализма — за этой шустрой лихостью.

Им непросто досталось это: в течение последних двух «кризисных» сезонов они сполна уплатили за свой новый успех и настороженностью критики, и пустыми креслами в зале, и отливом зрительского доверия.

Они помалкивали, работали, искали, сомневались, находили, и отметали найденное, и опять искали — и вот он, итог. Впрочем, заново выдавать векселя наперед нет расчета — не все в театре решено, не все переменялось, не все сделано — никто еще не считал, сколько ступенек на лестнице мастерства.

«Что ж, — подумал я, — может быть, в таком случае и нечего теперь публиковать эту статью? Не-зачем уже бить тревогу и требовать внимания к проблемам, которые сами собой и разрешились? Опоздал, мол, а ложка-то дорога к обеду?!»

Оно так бы и было, если б то, о чем я хотел сказать, относилось к одному «Лучафэрул». Если б затяжная инфантильность, затянувшаяся «подростковая» робость — родная сестра кокетства — не были и по сей день довольно-таки обильно представлены и в прочих искусствах: в кино, в прозе, стихах и, конечно же, в драматургии. Если бы все мы — вчерашние молодые — не робели еще перед самыми неотложными вопросами и тревогами времени, не чурались втихомолку трезвой, неподкупной самооценки, не боялись брать за то, что еще вчера казалось нам не по силам.

По силам!



**Николай
Рыленков**



И сам бы я хотел
Забить о всяких бреднях,
Рассудка не терять
В удаче и в беде,
Но есть в моей душе
Какой-то привередник,
Меня за годом год
Он путает везде.

Чуть что — и приплетет
К удаче неудачу,
Событие сделает
Из сущей чепухи.
Кляня его, я с ним
И радуюсь, и плачу,
И, может, потому
Пишу мои стихи.



Не затем ли бродил я по дебрям лосиным,
Умывался жарой, обдавался росой,
Чтоб найти тот родник, что лепечет осинам,
Как пробился на свет он, к березке босой.

Хватит всем на земле неразменной
красы нам,
Но родник заповедный у каждого свой.
Не затем ли бродил я по дебрям лосиным,
Умывался жарой, обдавался росой!

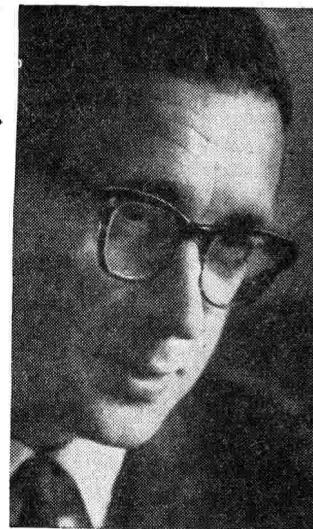


Как пчелы летят к цветам медоносным,
Как тянут шмели по теплым следам,
Так я выхожу поклониться соснам,
Малиновкам, иволгам и дроздам.
Но пчелам не надо решать загадок,
Не знают сомнений в пути шмели,
А я, какой ни сбирал бы взятки,
Должен помнить всю радость и боль земли.



Егор Яковлев

ТАКОЙ ВОТ СТАРИК



Рисунки
А. Федотова.

I

Когда не ладится работа или кошки на душе скребут, я уйду из дома, миную Новокузнецкую улицу, шагаю по Пятницкой, сворачиваю в Голицынский четырехколенный переулок. Делаю несколько шагов и останавливаюсь, вновь находя открытую когда-то точку. Стоять лучше не шевелиться: чуть повернешься направо, и откроется большой дом с плоской крышей, облицованный розовой плиткой, — пятидесятые годы нашего столетия; налево появится тщательно оштукатуренная, с пупырышками «под гранит» стена, в оконных проемах видна толстая, добротная кладка кирпича — такие возводили в тридцатые годы, чаще на кооперативных началах. А потом откроется уголок прошлого века.

В небе улыбается пятью маковками-кулачками белая опрятная церковенка. А прямо перед тобой домик: двухэтажный, скособочившийся, удивительно нескладный. Повернулся он к тебе длинной и глухой стеной, что выходит во двор. Есть на ней оконце одно, да и в него никто не смотрит: в кладовку или под лестницу скупо пропускает оно померкшие в

паутине лучи. Видна и дверь, не иначе как черного хода.

Смотришь на церковь, дом, дворик, и ничто, ни один штрих не нарушает твоих представлений о былом Замоскворечье.

Налюбовавшись, я прохожу мимо домика, всякий раз удивляясь, как он до сих пор не развалился. (Написал и еще раз испугался: а вдруг и вправду возьмет и этим же вечером разлезется по швам!) Пересекаю улицу Островского и вхожу в церковную ограду.

Места эти памятниками прошлого не обижены. Куда ни взгляни — купола... Рукой подать до церкви, которую начинал строить Баженов, а закончил Бове, возвышается мрачная колокольня собора святого Кирилла. А меня тянет только сюда, именно к этой церковушке. Построена она триста лет назад стрельцами из приказа Пыжова и звалась церковью Николая, что в Пыжах. Тот, кто возводил ее, соединил многое, что присуще было для церковной архитектуры его времени. По-нашему, заимствовал. Но уж не такой я ценитель старины, чтобы воротить нос лишь потому, что кто-то у кого-то заимствовал в XVII веке.

Выросли большие дома по соседству, должны были б задавить церковушку; троллейбусы, автобусы, автомобили, ритмы современного города должны были б рассеять сосредоточенную тишину ее сводов. Нет, ничто не в силах отвлечь, — лишь шагнул за ограду, так и остался с ней наедине.

Зодчий побеждает в городе, где современниками его остались лишь камни. Начал он, казалось бы, с заимствования, а создал такую концентрацию красоты, которая гипнотизирует через столетия. Времени не подвластна отрешенность его творения, та исключительность, которая заставляет остановиться и познать.

Этот живописный уголок старой Москвы не только восхищает, он вызывает различные чувства, в том числе и сожаление. Домик, о котором я уже говорил, населенный нынче хуже Вороньей слободки, не какой-нибудь, а святыня русской культуры. Святыня, потому что здесь родился Александр Николае-



вич Островский. Те же, кто разместился в нем сейчас, души не чают перебраться в благоустроенные квартиры, освободив место для мемориального музея.

Рано или поздно так и будет. В узком проулке столются экскурсионные автобусы. А пока этого нет, я торопился сфотографировать излюбленное место. Сделал кадры осенью и зимой. А по весне срыли бугорок на заднем дворе, выжгли молодую траву асфальтом. Накопленный опыт косметического благоустройства дает себя знать.

Впрочем, я отвлекся, забежал вперед, потому что о домике и церквушке заговорил несколько по другому поводу. Я не вспомню теперь, когда заметил и полюбил это место. Но был же такой день, потому что не от рождения, очевидно, делюсь я с друзьями и незнакомыми, со всеми, с кем прохожу по Пятницкой или Ордынке, своим открытием. Как, наверное, был тот день первый, в который испытал я интерес к памятникам отечественной культуры. Интерес, который зовет сегодня бродить без усталости по храминам и усадьбам, чаще всего без фотоаппарата, блокнота, просто так — для души.

День первый был, но я никогда бы к нему не вернулся, если бы этой зимой не провел отпуск на сорок седьмом километре Каширского шоссе и не вспомнил бы о старике.

II

Приехав отдыхать в санаторий «Подмосковье», я услышал знакомое название соседнего села — Заборье. Конечно же, это было то самое Заборье, и как только я увидел два порядка домов, понял, что не ошибся. Здесь в послевоенное лето вместе с приятелем и соседом по парте Толькой Поляковым работали мы пионервожатыми. Был тут лагерь Дорпрофсожа Павелецкой железной дороги. Устроились мы в него с трудом, потому что оба были несовершеннолетними и не могли отвечать перед судом на тот случай, если кто-нибудь из нашего отряда утонет в протекающей неподалеке реке Рожайке.

Я прошелся по селу. На самой верхушке телеграфного столба дятел в красных штанах и тюбетейке, в черном с белыми просветами камзоле, выстукивал дробь. Заглянул я в дом, где помещался когда-то отряд девочек, жили начальник лагеря и старшая вожатая. Когда-то представлявший крепким и большим, дом обветшал, стал тесен для сельской школы.

На улице по-прежнему стучал дятел. Время послевоенное, голодное, когда еще действовала присказка, произносимая в магазинах одним духом: «Кто последний, я за вами переписываться», — хорошо помнил. Под перестук птицы живее поднимались в памяти хоть и разрозненные, но одна за другой картины нашего лагерного житья-бытья.

...Мы несемся через пригорок с кривыми соснами, полем. Спрашиваем у каждого встречного:

— Не видали мальчика, лет десяти, белокрылого, белый верх, синий низ?

Нам отвечают, что видали, к станции шел. Прыгаем в отходящий поезд, бежим из конца в конец. В последнем тамбуре обнаруживаем беглеца-пионера из моего отряда. Ему давали невкусное лекарство — бактериофаг, и он решил ударить домой.

...Рано, почти на рассвете, завхоз, двое пионеров и я отправляемся на полutorке в город за продуктами. Кузов полutorки обит фацерой, которая щепится длинными и ломкими дранками. Завхоз бегаёт, с кем-то спорит, что-то достает. А мы ждем в тени у базы, потом нагружаем. Снова ждем и снова нагружаем. Возвращаемся затемно. Я засыпаю в кузове, а

проснувшись, застаю мальчишек на месте преступления. Один в шитом из клеенки мешке пробуравил дырочку, небольшую, в палец. Крошит буханки и через дырку выдавливает мякиш. Другой подобрался к мешку с лапшой, одну горсть отправляет в рот, другую — в карман. Мы весь день ничего не ели...

Ребята в отряде были ненамного младше нас, вожатых. Мы с Поляковым быстро истратили свой скудный запас педагогических познаний. И вот однажды ночью спалня, в которой спал я, пошла стеной на спальню, в которой спал Толька. Дрался на подушках. Кто был повержен или трусил, уползал под кровати. Только хочешь пойти в наступление, перескочить с кровати на кровать, как точный удар подушкой в ухо — и ты уже на полу. А в окно барабанят давно, упорно. Шум нашего сражения подняла старшую вожатую с другого конца села...

...Дятел стучал и стучал, ничего не находя для себя съестного. Я перебирал прошлое, стараясь вспомнить главное. Несколько дней так и ходил, мучимый неродившимися воспоминаниями.

III

Этой зимой было много фиолетовых дней. А может быть, я впервые заметил их, стал различать. Фиолетовое небо, фиолетовый снег, деревья в фиолетовой оправе. Изредка в щель между набухших снегом черных век — туч проглянет воспаленный глаз солнца и скроется опять.

Снег падает сырой, липкий, на всем виснет. Чуть покривилось молодое деревце — снег навалился на ствол, пригнул его до земли. Тяжестью невыносимой ложится на ветви сосен. Они ломаются с громким неожиданным хрустом, от которого, кажется, вздрагивает лес.

Мы долго бродили по лесу, одолевали подъемы, скатывались в овраги, шли чужой лыжней, прокладывая свою. Вдруг, как всегда бывает, неожиданно в незнакомом лесу показался просвет между деревьев. Лес кончился, потянулись какие-то домики, и мы не успели оглядеться, как оказались у массивной башни с высокой аркой ворот и разметающимися направо и налево крыльями пристроек. Сквозь арку была видна аллея черных, коротко подстриженных, а потому словно беспалых тополей. Около башни стоял мужчина в пушистой шапке, коротком пальто-пиджаке, в черных чesанках с галошами.

— Добрый день, — сказал я, но в ответ ничего не услышал. — Вот выехали и не знаем куда.

— А чего же так ездите, что не знаете, куда выезжаете? — сказал мужчина, и нельзя было понять, не то шутит он, не то сердится.

— Куда же мы все-таки заехали?

— В дом отдыха.

— А как он называется?

— Сказано, дом отдыха.

— Что это за башня?

— Не видите, что ли, башня.

— Может быть, раньше здесь имение было?

— Скажут тоже, имение. Дача Саввы Морозова. Слыхали про Морозова? Вон там пониже и дача его.

— А тут въезд был на дачу?

Обладатель пушистой шапки промолчал, а мы покатались вниз, к желтеющему среди сосен большому дому. Прямо с горки съехали на просторную террасу. Красивая лестница вела вниз к еще одной террасе с фонтаном. А над нами возвышался дом, выкрашенный свежей охрой, с подведенными синькой

сводами парадного крыльца. Я взглянул на здание и закричал:

— Корабль. Это же тот самый корабль!..

Среди заснеженного парка с удивительной реальностью увидел я зеленый глубокий овраг, цепочку пионеров — одни спускаются, другие только начинают подъем по противоположному склону...

Нас вел тогда старик.

...Слышу резкий вечерний запах цветника, вижу, как загораются огни в доме-корабле. Он плывет и плывет. Его почти остроконечный нос устремлен на волну — пологий лесистый холм. Видна мачта-башня на крыше, капитанский мостик — палаточный купол над домом, еще одна мачта у кормы — башня пониже. На высоте второго этажа терраса — открытая палуба. Дом-корабль своим фасадом будто причален к остальным постройкам. На пристань ведет застекленная галерея зимнего сада.

Так научил нас видеть старик. И через двадцать лет я смотрел на этот старый дом его глазами, потому, наверное, сразу и вспомнилось безнадежно, казалось бы, забытое.

...Приезда гостя ждали в лагере за несколько дней. Ребята, отдыхавшие здесь в прошлом году, рассказывали о старике почти чудеса:

— Сами посмотрите! Говорит — будь здоров. Заслушаешься, до чего страшно. А вообще-то за ним гипнотизерство подозревается. Как сказал про черную руку, так Гелька Рыжий, да и все пацаны ее и увидели. Девчонки пищат, спасу нет. А в поход поведет — держись только. Он все знает. Курганы показывает, где французы похоронены. В одном пушка закопана. Я сам ее простукивал, гад буду! В прошлый раз подземным ходом обещался привести.

Рассказиям этим не верили.

И вот он появился. Впервые — в столовой. Был он худ, высок, изможден. С седой бородкой и седой шевелюрой. Длинные руки беспрестанно суетились. Одет в заношенный костюм, серая рубашка штопана-перештопана. Был он голоден, как все, кого я знал в тот послевоенный год. Приехал он, как догадываюсь я теперь, по путевке общества «Знание», или



как оно тогда называлось, но для нас он был едва ли не посланцем небес. Старика представляли писателем, и он, помнится, показывал написанные им путеводители по Подмосковью. В лагере, где никто и мечтать не смел о добавке, его кормили по несколько раз. И это никого не удивляло: вечером ему предстояло рассказывать. Все ждали, когда стемнеет.

Мы собрались в открытой беседке. Ночь была полетнему жидка, и на горизонте угадывалась темная полоска леса. Старик, как и в прошлом году, рассказывал «Месс-Менд». Признаюсь, я прочел эту книгу лишь теперь, не видел поставленного по ней когда-то фильма, но всегда прекрасно помнил рассказ старика. Многие легло на зрительную память, и я вижу, как несут по сходням цинковый гроб, как раздвигаются стены перед тем, кто знает пароль, как сгибаются в катастрофе автомобили в Нью-Йорке.

Слушать было жутко. Перед началом старик предупреждал притихших мальчишек и девчонок, чтобы они не пугались, когда появится черная рука. И от ожидания ее появления, конечно же, было еще страшнее. Да что там пионеры — у нас, у вожатых, пробегал мороз по коже. Подняв руку на фоне серого ночного неба, он выкрикивал после паузы:

— Появилась черная рука!!!

Позже я узнал, что «Месс-Менд» написана Мариэттой Шагинян. Но и по сей день живет во мне навивная убежденность, что старик принимал участие в создании повести. А может быть, не такая навивная? Старик давно превратил этот рассказ в свой, в тот выношенный и, несомненно, оригинальный сплав, где не скажешь, что твое, а что заимствовано.

Два вечера прошло в беседке; но уже после первого, когда наутро всем лагерем отправились в поход, мы были преданы старику душой и телом. Наш путь был невелик, километров десять по кругу. Но какими удивительными и неразгаданными оказались места, где мы жили! Сколько историй, легенд, гипотез знал он о лесе с курганами, где бывали мы каждый день, о высоком берегу реки с осыпавшимся лавозом, о старой усадьбе!

Старик был первым, кто открыл мне свободу во времени, научил, как в кресло с ногами, залезать в далекое прошлое. Для городских мальчишек он вынес историю из школьного класса, из учебников с разрисованными от скуки портретами освободителей и завоевателей в обычный подмосковный лес и поле. Он и в этот раз пообещал, что когда-нибудь мы разроем курганы с погребениями 1812 года, облазим подземный ход и этим самым добавим к истории то, о чем и не помышляла наша преподавательница с бамбуковой указкой — наша Сусанна Васильевна.

Я не знаю, все ли было на самом деле так, как рассказывал старик, не знаю, правда ли, что именно здесь столкнулись в поединке донские казаки Платова и конница Мюрата. Но, быть может, как раз с того дня я люблю выдумывать и фантазировать, ухватившись за самую малость. Студентом доказывал, что первые поселения на месте будущей Москвы были совсем не там, где это принято считать, а московский князь Иван скончался тремя днями раньше, чем записано это в летописи. Ищу и сейчас: много лет пытаюсь выяснить судьбу карты ГОЭЛРО, которая была на VIII съезде Советов, пытаюсь узнать, что произошло с ней после того, как она была выставлена в Большом театре. И только лишь начиная поиск, я заранее уверен в его успехе... Старик подарил мне чувство ожидания, ожидания открытия, которое вот здесь, рядом с тобой, на расстоянии вытянутой руки.

Лето, когда-то проведенное в лагере, теперь оказалось таким значительным, что мне снова захотелось пройти маршрутом, которым шли мы за стариком, вернуть радость, которою оделил меня два десятилетия назад заезжий московский краевед.



IV

Назавтра я снова был в селе Заборье. Во дворе бревенчатой школы и следа не осталось от той беседки, где с наступлением темноты рассказывал старик. Но я все-таки разыскал это место и попробовал услышать: «Появилась черная рука!» Из этого ничего не вышло. Я улыбнулся и вышел в поле, решив повторить поход юности.

Молодых, еще не оформившихся, как подростки, сосен, что росли прежде за школой, теперь не оказалось. Дымчатая поземка без помех шныряла по полю, вставленному в рамку далекого леса. Чуть левее проходила шоссе-ясная дорога со светильниками, кутавшими замерзшие шен в свежие воротники. Я же шел напрямик, глубоко проваливаясь в мягкий настил. Шел, как ходили мы в поход, через пригорок, где играли обычно в футбол, через луг и лес к одиноко стоящему на берегу реки дому отдыха.

Поле кончилось. Потянулись дачи. Их не было раньше. Заснеженные, покинутые, продуваемые со всех сторон на обезлесенных участках. В забитых крест-накрест окнами виднелся то розовый бумажный абажур, то белый лоскут оставленной занавески. Нет, не узнать, не вспомнить! Застроенные, покрытые снегом места...

Я прошел дальше. И вдруг что-то заставило меня остановиться у края весело спускавшейся вниз дорожки с двумя бороздами, оставшимися от розвалней, и втоптанном в заледеневший снег навозом. Я беспомощно оглядывался по сторонам, ничего не замечал и в то же время чувствовал, что это место мне знакомо.

Навстречу поднималась тетюшка лет пятидесяти. Край вытканного инеем пухового платка прикрывали светящиеся на морозе красные яблоки щек, быстрые черные глаза.

— Вы не скажете, — обратился я, сам не зная, о чем хочу спросить, — нет ли здесь каких-нибудь достопримечательностей?

— Каких-таких... как вы сказали? — не поняла тетюшка.

— Чего-нибудь исторического?

— А чего здесь исторического? Вон лес свели, дач понастроили, и вся история.

Я посторонился, чтобы пропустить женщину. Она прошла рядом. И уже в спину ей спросил:

— Экскурсии какие-нибудь бывают здесь?

— Так вы про танк, небось, спрашиваете, — охотно обернулась женщина. — К нему и пионеры и отдыхающие на экскурсию ходили.

Конечно же, я спрашивал про танк. Он стоял в са-

мом начале леса. Кажется, это была тридцатьчетверка. Он не был подбит, фашисты не прорвались сюда. С машиной случилось что-то на походе, ее раскомплектовали и оставили. Сырая земля сбегающего к речке спуска просела под танком, молодой кустарник поднялся у разбитых гусениц. Люк был откинут. Внутри оставался лишь металл — то, что нельзя было ни отломать, ни унести. Но это не мешало мальчишкам проводить в машине целые дни. Сюда привел нас старик. Он поведал какую-то необычную историю об экипаже, который оставался с машиной и должен был принять бой, если бы прорвались немцы.

Женщина посмотрела на меня так, словно хотела понять, правда я интересуюсь или разговоры завожу. Потом ответила, поджав губы:

— Увезли с года два назад. Железа у них не хватило. Разрезали и увезли. План по металлолому выполняли.

В словах ее была обида. Обида человека за свои родные места, которые лишились чего-то привычного, дорогого, по праву им принадлежащего. Быть может, если бы танк увезли сразу после войны, когда по полям и лесам собирали ее металлические останки, никто бы и внимания не обратил. А за все эти годы танк стал неотъемлемой частью жизни, как сама война, которая прошла, но навсегда осталась в памяти.

Танк олицетворял эту память, и кому было дело до того, подбит ли он в бою или случайно остался в лесу.

Я не спрашивал женщину, кто ушел у нее на фронт и кто не вернулся... Я не спрашивал, служил у нее кто-нибудь в танковых частях или нет, просто лишний раз отметил, что отношение к танкам у людей вообще уважительное. Видно, слишком многое с ними связано...

Разрезали и увезли остоу старого танка. Сожалей теперь или нет — все равно ничего не изменишь. Да и кого судить за это? Свои действия мы всегда стремимся согласовать с принятым порядком. А у порядка свои критерии. Согласно им, есть памятники для всех, памятники общепризнанные, которые заслужили право на охрану и почитание. Только вот память порой не считается с тем, что общепринято, она выбирает в минувшем произвольные вехи. Кто и на богатый монумент не взглянет, а кому и полузасыпанный окопчик растревожит душу.

Мальчишкой на набережной Москвы-реки глазел я на выставку трофейного оружия — подбитые «тигры» и захваченные многоствольные минометы. Провожал по Садовому кольцу понуро шагавшие колонны военнопленных. И все-таки мое представление о войне прежде всего нерасторжимо связано с чуть заметной сегодня выемкой, затянувшейся воронкой подде полотна Казанской железной дороги. Здесь я впервые узнал, что такое налет, здесь увидел, как гибнут от взрыва люди и сметаются волной дома...

В общем-то, все зависит от взгляда: встречаться ли с историей лишь в заповедниках, или уметь повсюду находить прошлое, искренне дорожа его приметями, как дорожил старик.

Раздумывая, я спустился по дороге к реке. С невысокого берега был виден другой — деревенька, ставшая в сугробах еще приземистой, и церковь, на редкость похожая на ту, которую изобразил Саврасов на картине «Грачи прилетели». Теперь оставалось лишь снова побывать на даче Саввы Морозова. В тополиной аллее, что ведет к высокой арке ворот, меня обогнали две девушки. Роста обе были как раз такого, чтобы не задевать портфелем за дорогу. Оказавшись впереди, они обернулись, стали пятить-

ся, приплясывая, и без стеснения меня рассматривать.

— Вы куда идете? — строго спросила малявка в зеленом пальто. — Чужим в парк нельзя.

Другая, в красном, не дослушала подругу и побежала. В зеленом пустилась ее догонять. Мне оставалось только кричать им вслед:

— А вы видали когда-нибудь чужого? Какие они такие, эти самые чужие?

Девчушки замедлили шаг, головки их склонились: они совещались. В зеленом продолжила переговоры:

— Мы сейчас скажем директору, и он воротит запрета перед вами.

— Я сам пойду к директору и расскажу, как вы со взрослыми себя ведете, — озлился я.

Такого оборота маленькие хранительницы порядка не ожидали, и они долго совещались; уже у самого входа в парк в зеленом прокричала:

— А как зовут директора?

Я промолчал, и девчонки поняли, что им ничего не грозит, потому что я не какой-нибудь приятель директора, а из тех, кто каждый день здесь толчется, вызывая возмущение взрослых.

Директора дома отдыха разыскать было не просто. Раньше обнаружилась его жена. Она грелась на первом январском солнце. В ответ на просьбу осмотреть дачу Морозова жена директора популярно объяснила:

— С утра до ночи ходят и все посмотреть хотят. Так и пускай всех. Увидели снаружи, и достаточно.

Директор был более определен:

— Мне мое руководство не только в дачу, на территорию парка не велит никого пускать. А то ходят здесь полным-полно, да еще в окна подсматривают. Никого пускать не разрешено.

В той же форме примерно отказано было и двум студентам-лыжникам, которые просили разрешения войти в дом, пустующий всю неделю, потому что отдыхать сюда приезжают лишь с субботы на воскресенье. Были челом и пожилые женщины, пришедшие из далекого санатория, но тоже получили от ворот поворот. А дом этот притягивает людей и красотой своей и тем, что принадлежал Савве Морозову, фигуре необычной, трагической.

Я смотрел, как реагируют люди на отказ. Была в нем наглость, несовместимая с нашими понятиями просвещения, культуры для народа, и те, кто приходил сюда с праздничным настроением, уходили оскорбленными. Но известно же, что если делаются установления в нарушение наших принятых норм, их непременно заедят исключения. И в этот раз пришлось директору отомкнуть замки.

Вновь увидел я столовую темного дуба и гостиную светлого ореха, комнату — зима со снежинками на стенах и лепниной потолков в виде сосулек, мебель, инкрустированную перламутром; поднялся по чуть скрипучей деревянной лестнице на второй этаж; взглянул на великолепные фигуры цыгана и цыганки, на пейзажи этих мест, выполненные маслом.

Понятно, что ни о каком доме-корабле не было и речи. Директор водил из комнаты в комнату и давал пояснения, что камин — это камин, а картина — картина, но автор ее неизвестен. Нет, я не сравнивал его со стариком, не пытался! Просто существовало два разных мира, и в каждом — по даче Саввы Морозова.

— Я начал собирать историю этого дома, — сказал директор на прощание.

— А кто строил его, как фамилия архитектора? — спросил я.

— Архитектор, между прочим, наш, русский, а фамилию сейчас скажу.

Директор раскрыл папку и назвал архитектора. Я услышал и забыл имя, как никогда не вспомню облик самого директора, как не удержался в памяти ни один из фактов, которые он называл.

Директор повторял историю дачи. Старик повторял то, что написала Шагинян. Зодчий церкви Николы на Пыжах повторял то, что строили в Новгороде и Пскове. Но отчего же оставляет безучастным одно повторение и так волнует другое?

Человек часто вынужден повторять. Люди и до нас строили, воевали, писали стихи, музицировали. Никто не начинает с нуля, всякий продолжает то, что было создано раньше. Наследие поколений служит отправной точкой для творца и для эклектика, для самобытного художника и холодного подражателя. Но это единственная точка, где перекрещиваются их пути, перекрещиваются с тем, чтобы навсегда разойтись.

Повторение без проникновения в суть, лишенное своего, личного, выстраданного, а потому и нового, — такое повторение мертво. Лишь сопричастность к творчеству дарит то, что можно назвать правом наследия. И тогда в твоём труде продолжает жить тот, кто творил до тебя. И нет разницы: возводишь ли храм, познаешь ли старину или рассказываешь то, что написал кто-то другой. Если свершилась сопричастность к творчеству другого, то здесь начинается и твоё творчество. Право наследия всегда отличить от самого изысканного подражания потому, что мир творчества и мир, равнодушный к нему, всегда остаются антимирами.

...Мне захотелось, и я прошел по маршруту юности — это не было трудно, но пережить то, что было прежде, не удалось: такое не повторяется. Я побывал в знакомых местах, но не стал от этого ближе к тому, что произошло два десятилетия назад: ни одна, даже самая незначительная деталь не подтвердила существования старика. Я готов был поверить, что его никогда и не было. Ведь существует же как-то в моей фантазии тот, кто построил церковь Николы на Пыжах. Можно было придумать и старика.

На обратном пути мне снова повстречалась тетушка в пуховом платке. В сумерках короткого зимнего дня мы беседовали уже, как старые знакомые. Я доверительно спросил ее:

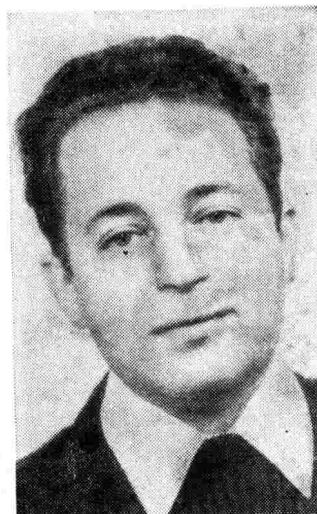
— А вы не помните старика, высокого такого, с бородкой? Он сразу после войны ходил здесь с пионерами на экскурсию.

— Своими глазами видела, честное слово, зачем после войны, с года два назад к тому танку с пионерами приходил, про который вы давеча расспрашивали. А как танк увезли, так и ему ходить стало незачем...

Р. С. А старика я все-таки разыскал. Краевед и путешественник Алексей Петрович Прусаков живет в Москве. И когда приезжал к нам в лагерь, он был вовсе не старик. Это нам, мальчишкам, так казалось. Теперь ему уже семьдесят лет. Экскурсии он больше не водит. И не потому, что тяжело стало на старости лет. Говорят, им недовольны в экскурсионном бюро: много от себя прибавляет.

Ф. Махов

КАНИКУЛЫ В «ТОС»



В небольшом кафе «Гренада», на Тихорецком проспекте в Ленинграде, за празднично накрытым столом три десятка подростков внимательно слушают чудесные светловские стихи. На стене висит выгоревшее красное полотно, на котором с трудом можно различить три буквы: ТОС.

Уже выпит весь лимонад, съедено все мороженое, сказано много. Пора расставаться. Впереди новый учебный год. Кто-то встретит его в старой школе, кто-то в профессионально-техническом училище, а кто-то впервые пойдет работать.

Вот звучит последняя команда: «Рота, в две шеренги становись!.. Равняйся!.. Смирно!» — Это голос Алика Воронова, старшины роты. «Товарищ капитан, — четко докладывает он, — лагерь «ТОС» по вашему приказанию построен!» Подхожу. Приказываю снять со стены лагерное знамя. На нем автографы всех тосовцев, включая и воспитателей. Под автографами слова: «Пусть крепнет нерушимая наша дружба!» Беру знамя в руки. И вдруг приходит в голову мысль: «А что, если?.. Черт побери, рискованно: может получиться дешевка, фарс...» Смотрю в лица мальчишек, ставших мне родными за это трудное, беспокойное лето. Голос мой слегка дрожит от волнения.

— Ваши отцы и деды целовали боевые знамена перед боями. У вас впереди тоже сражение — новый учебный год. Это сражение надо выиграть с наименьшими потерями. Второгодники будут считаться «убитыми» и на будущий год в лагерь «ТОС» не попадут. Давайте же поклянемся перед этим знаменем, что будем хорошо учиться, работать, помогать друг другу, что никогда не опозорим славное имя «тосовца».

Я беру кончик кумачового полотнища, еще пахнущего солнцем и ветрами, и медленно подношу его к губам. На строй не смотрю, но чувствую, что и намека на пронические улыбки нет. Передаю знамя воспитателям.

После них целует знамя старшина, затем командиры отделений, и так все ребята...

Когда веселая гурьба вывалилась из кафе, ко мне подошла пожилая официантка.

— Мне говорили, что здесь сегодня самое хулиганье нашего района будет. А они у вас дисциплинированные, вежливые. Прямо дорого смотреть...

— А это и есть те самые «трудновоспитуемые», которыми вас напугали, — с улыбкой ответил я. — Еще три месяца назад я тоже думал, что ничего с ними сделать не удастся...

Лето 66-го... Лагерь «ТОС»...

В самом начале своей педагогической карьеры я оказался в дребезжащем автобусе, набитом галдящими подростками, которые вместе со мной должны были составить летний трудовой военно-спортивный лагерь при Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Не успели мы отъехать от Ленинграда, как чей-то ломкий мальчишеский голос запел песню:

Мать у Сашки прачкою была,
Заболел, в больнице умерла,
Шухерной у Сашки был отец,
Спился, позабыл его, подлец...

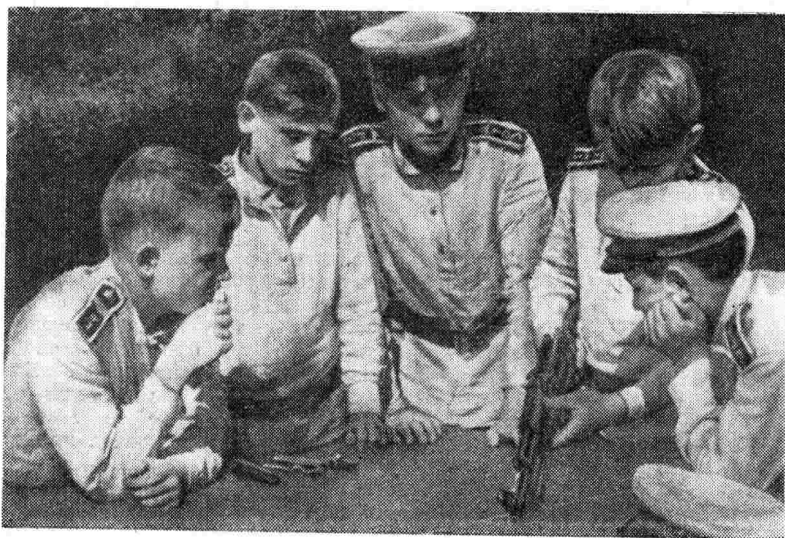
Песню подхватила группа человек в восемь — десять, сидевших сзади. Сразу было видно, что песня была многим знакома. Особенно самозабвенно пел подросток лет 15—16, которого все, несмотря на его круглую румяную физиономию, почему-то звали Голодный...

Вот такое было начало. А Голодный меня сразу заинтересовал.

...Приехав в лагерь, я повел ребят обедать. Официантка принесла хлеб и кружки с киселем, и началось нечто невообразимое. Больше всех досталось вертлявому белокрысому мальчишке, сидевшему за первым столом. Он навзрыд плакал, размазывая по лицу слезы, смешанные с киселем. За столами стоял дикий хохот. Со всех сторон несло: «Кисель! Кисель!»

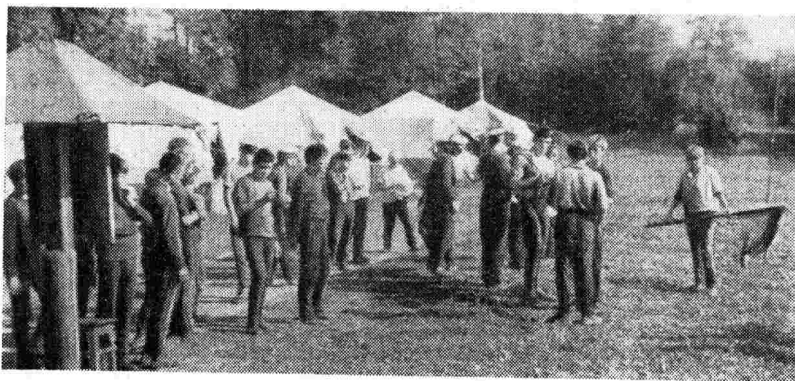


Ансамбль бывших шалопаев встречает утро бравурным маршем.



Карабин можно разобрать с закрытыми глазами.

Внизу — перед лагерной линейкой (Снимки из фотоархива лагеря «ТОС»).



— В чем дело? — строго спросил я, обращаясь к высокому парню, который с нагловатой улыбкой пытался вылить на голову белобрысому остатки своего киселя. — Как твоя фамилия?

— Моя-то Корнеев, — ответил тот и добавил все с той же улыбочкой: — Товарищ начальник, ну разве мы виноваты, что у него фамилия... — И он захохотал, вызвав новый взрыв смеха своих соседей.

— При чем тут фамилия?! — окончательно выйдя из себя, закричал я. — А ну, марш из столовой!

Как выяснилось, фамилия пострадавшего была Киселев, и только поэтому над ним измывались.

С трудом успокоив разбушевавшуюся мальчишечью стихию, я попытался пообедать сам.

Направо от меня за один из свободных столов уселся Корнеев. Перед ним была бутылка кефира и полкруга краковской колбасы. Все это он сам купил в буфете. Своим независимым видом Корнеев как бы говорил мне: «Плевать я хотел на ваше бесплатное питание. Меня этим не купишь. Денежки у нас пока еще водятся!»

В мое сознание снова вползла трусливая мыслишка, убеждавшая меня в том, что я не могу, не способен управлять этой дикой толпой, а тем более воспитывать ее. Характерно, что и потом чаще всего такие мысли приходили ко мне именно в столовой.

Я не претендую на оригинальность своего суждения, но глубоко убежден, что проверку дисциплины в любом детском учреждении надо начинать именно со столовой. Вспомните Помяловского, Макаренку, Белых и Пантелеева. Столовая может стать для воспитателя тем, чем является микроскоп для биолога. «Зеркалом души» часто называют глаза. Не знаю, может быть, это и так. Но что касается ребят, то их поведение в столовой тоже может быть «зеркалом».

...Уже в первый день в столовой я высмотрел шесть наиболее авторитетных, волевых, а скорее всего, пусть меня простят ученые-этики, просто нахальных подростков, которые должны были сразу же стать моими помощниками. Решил рискнуть. Голодного (настоящее его имя Игорь Галадник) я решил назначить командиром отделения лишь после того, как увидел, что ему «добровольно-принудительно» отлили толику своего киселя два его соседа по столу. Как я позже убедился, это всегда было у ребят самым красноречивым проявлением либо уважения, либо подхалимажа. Что означало

это в тот момент, трудно сказать, да, честно говоря, у меня и не было времени вдаваться в такие тонкости. Во всяком случае, при всей рискованности и поспешности избранного мною метода подбора кадров в четырех случаях из шести я не ошибся. Лучших командиров, чем Игорь Галадник, Саша Саннин, Вова Чиркин и Валя Селивановский, мне бы не найти.

Работать мы не любим, а любим мы пожрать...

Слова этой песни вызвали у меня приступы плохо скрываемого бешенства. Всех этих лодырей, любителей уже в 14—15-летнем возрасте прокатиться за чужой счет, я ненавидел и поэтому иногда срывался, сам потом казня себя за вспыльчивость и грубость. Подобная реакция объяснялась, видимо, и тем, что лагерь наш был на особом положении. За возможность избавиться на все лето от своих «трудновоспитуемых» сорванцов родители платили всего лишь 10 рублей. Да и эти деньги шли на подарки ребятам, призы и покупку мороженого во время экскурсий. Так что лагерь, по сути дела, был бесплатным. А если добавить, что в организации его принимали участие десятки людей, начиная от первого секретаря райкома партии и кончая водителями, которые нередко ради нас работали не по 8, а по 10—12 часов в сутки, то можно понять, почему разнузданность некоторых ребят иногда доводила воспитателей до белого каления.

Так случилось и в первый день нашей совместной работы по оборудованию лагеря. Разделив весь отряд на отделения и назначив командиров, я приказал ребятам принести щиты, чтобы затем сколотить из них палаточные гнезда. Работа была не из легких.

По неопытности я решил, что в целях воспитания коллективизма будет лучше, если мы все вместе вначале принесем щиты, а потом уже будем сооружать гнезда. Но не прошло и получаса, как добрая половина моих работников исчезла. Не было видно и двух командиров: Чиркина и Селивановского. Такого оборота дела я не ожидал. Мне казалось, что работа на себя, а не на «дядю», подкрепляемая личным примером воспитателя (а я действительно старался изо всех сил), должна быть ну если не удальством, то, во всяком случае, «осознанной необходимостью». Тогда я не понимал, что одной из трудностей в воспитании таких ребят было то, что они не признавали слова «нужно», а руководствовались только одним «хочу».

Чтобы собрать снова весь отряд, мне пришлось прочесать близлежащий кустарник в радиусе, по крайней мере, полукилометра. В результате этого рейда у меня в кармане оказались три колоды игральных карт.

Когда наконец все ребята были построены в две шеренги, я начал свою первую, «историческую» речь.

— Паразитами называют насекомых, которые пьют кровь других. На большее они неспособны. Вы сейчас похожи на этих насекомых. Кто-то из вас работает, а кто-то в кустах режется в карты...

— Мы принесли уже два щита, а многие ни одного, — обиженно сказал Вова Чиркин, которого, судя по всему, сравнение с паразитом серьезно обидело.

Вслед за ним загалдело еще несколько человек:

— А почему Никитин совсем не таскает?

— А Кобзев с Юркиным?.. Бросили щит на подороге!..

Я чувствовал, что самой зажигательной речью ребят сейчас не проймешь. Тут нужно было нечто иное.

— Первое отделение, два шага вперед! — скомандовал я. — Вы будете жить в первой палатке. Пока все не сделаете, никуда отсюда не уйдете. Галадник, задача ясна?

— Ясно, товарищ капитан, — ответил Игорь и, повернувшись к ребятам, решительно добавил: — Ну, фраеры, пошли себе хату ставить!

— Второе отделение, два шага вперед!

— Третье...

— Отделению, первому закончившему работу, будет присвоено наименование гвардейского, ему будет вручен на недельное хранение вот этот гвардейский знак, — сказал я и потрогал пальцами символ своей принадлежности к гвардейскому племени. — А теперь, друзья, за работу! Разойдитесь!

Как ни странно, эта идея, которая пришла мне в голову столь внезапно, решила все дело. Через два часа все было закончено, и я прикрепил к курточке Игоря Галадника гвардейский значок.

Первый трудовой день был позади. Меня он чему-то научил. А ребят?

Весь следующий день прошел у меня в беготне. Надо было раздобыть спортивный инвентарь, винтовку для штыкового боя (с ее помощью я думал организовать несение ночной караульной службы), фотобумагу, краски, бланки «боевых листов» и массу других необходимых вещей, без которых мы не могли начать нормальную жизнь. Но са-

мое важное — надо было получить форму!

Почти две недели я бомбардировал телефонными звонками Нахимовское училище, слезно умоляя начальника вещевого снабжения подарить нам вышедшие из употребления нахимовские рубы, брюки и бескозырки.

Но, видимо, опасаясь, что пошение Выборгской шпаной роб и бескозырок может запятнать репутацию училища, вещевое начальство сказала твердо и решительно: «Нет!» Нам не оставалось ничего иного, как отправиться в Ленинградское Суворовское училище. Но и здесь нас поджидали те же трудности. Все решила маленькая военная хитрость. Сорок комплектов летнего суворовского обмундирования были нам выписаны сразу же после того, как я сказал, что в случае отказа нам ничего не останется делать, как взять рубы и тельняшки, предложенные нахимовцами.

Этого душа суворовского интенданта выдержать не смогла.

— Наконец-то нашелся человек, который понимает, что армейская гимнастерка в сотню раз лучше, практичнее и красивее всяких там матросок, могущих сбить с толку разве только легкомысленных девчонок! — сказал мне, расчувствовавшись, начальник вещевого снабжения.

Нам сразу крупно повезло. На следующий день после приезда в лагерь рота «ТОС» (Труд, Отдых, Спорт) получила официальное признание как настоящий воинский коллектив. Вот как это произошло. По установившейся традиции, 22 июня, в годовщину начала войны, у памятника Александру Типанову, герою-комсомольцу, повторившему подвиг Александра Матросова, должен был состояться митинг. Наши палатки стояли недалеко от шоссе, по которому подразделения Военно-медицинской академии должны были следовать к памятнику.

Утром командиры взводов Герман Фокин и Виктор Гуляев вывели тосовцев на шоссе, чтобы научить их азам воинской выправки и строевой подготовки. Но не успели отработать повороты на месте, как послышались звуки оркестра и со стороны академического лагеря показалась колонна, направлявшаяся к обелиску. Построив ребят в две шеренги, я отвел их на обочину.

— Сейчас перед вами пройдут слушатели и офицеры прославленной Военно-медицинской ордена Ленина академии имени Сергея

Мироновича Кирова, — сказал я, обращаясь к ребятам. — По уставу, воинским подразделениям положено отдавать честь друг другу. Учтите, что вы еще не военно-служащие, ходите пока без погон и не принимали присягу, лагерь академии отдавать честь нам не будет. Но мы с вами должны принять положение «смирно» и стоять так до тех пор, пока не пройдет вся академия.

— А когда мы примем присягу и наденем погоны, нам будут честь отдавать? — спросил меня Киселев.

— Обязательно. По академии специальный приказ отдадут, — сфантазировал я.

В это время военный оркестр поравнялся с нами.

— Рота, смирно! Равнение на середину! — громко подал я команду.

И тут случилось то, на что я втайне надеялся. Шедший впереди колонны полковник, начальник лагерного сбора, скомандовал:

— Лагерь, смирно! Равнение налево! (То есть на нас!!!).

Было такое впечатление, как будто разом ударила сотня барабанов. Перейдя на чеканный строевой шаг, от синхронной силы которого, казалось, вминался асфальт, сотни воинов и офицеры отдавали честь трем десяткам хулиганов-второгодников. Впереди каждой колонны шли офицеры, участники войны, не раз смотревшие в лицо смерти, люди, которые по возрасту могли быть отцами стоявшим на обочине мальчишкам. От удивления и неожиданности лица моих ребят стали каменными. Не было видно и улыбок на лицах проходивших воинов. То ли они действительно думали, что перед ними настоящие суворовцы, то ли поняли, что смехи и улыбки здесь неуместны.

Все это было так волнующе, что у меня к горлу подступил ком, а по спине побежали мурашки.

Значение этого события трудно переоценить. Оно явилось своеобразным камертоном, давшим настройку всему образу жизни лагеря «ТОС». Ребята почувствовали себя приобщенными к большому мужественному племени защитников Родины, из которого вышли Александр Матросов и Александр Тихонов, Виктор Талалихин и Николай Гастелло...

У многих тосовцев сложный процесс превращения в правонарушителей начинался с того, что из сотен окружающих их людей уходил один. Но этим одним был

отец. Уходил, переставая быть главным воспитателем.

Говорят, в капле воды отражается весь мир. Возможно, наш лагерь и не был на все сто процентов типичным для данной категории подростков; возможно, ученые-социологи скептически улыбнутся, читая эти строки, ибо для них «капля» (когда в ней всего 36 человек) не может служить полноценным объектом социологического исследования. Тем не менее я не могу умолчать о том, что из 36 «трудных» подростков, побывавших в 1966 году в трудовом и военно-спортивном лагере в Красном Селе, 22 не имели отцов, у одного была осуждена и лишена родительских прав мать, а у 7 не было нормальной домашней обстановки: отцы пили, избивали близких, были совершенно равнодушны к детям и т. д. Другими словами, в 30 случаях из 36 отсутствовал тот, кого я называю главным воспитателем. Подобная картина наблюдалась не только в нашем лагере.

В такие лагеря, как наш, отправлялись «самые неблагонадежные» ребята, которых органы милиции во что бы то ни стало хотели вывезти на лето из города. Пожалуй, больше всего в их детской судьбе должно тревожить не то, что они иногда имеют дело с милицией, а то, что они порывают со школой, бросают учиться. Из 36 наших тосовцев, например, 26 были второгодниками, а двое остались на третий год. На следующий год большинство из этих второгодников так и ушли из школы, не закончив пятого или шестого класса. Ушли потому, что им наконец-то исполнилось шестнадцать!..

«Я — юный житель славной Выборгской стороны города-героя Ленинграда, вступая в ряды трудового военно-спортивного лагеря «ТОС» при Военно-медицинской орден Ленина академии имени С. М. Кирова, торжественно клянусь:

— крепить дружбу и товарищество и жить по принципу: один за всех, все за одного;

— быть трудолюбивым, честным, дисциплинированным, строго выполнять все приказания начальников и воспитателей;

— строго соблюдать установленный в лагере воинский порядок, следить за чистотой, быть опрятным, культурным и вежливым;

— быть смелым и мужественным, не бояться трудностей лагерной жизни и всегда помнить,

что нет таких крепостей, которые бы не могли взять тосовцы;

— после окончания лагерного сбора продолжать крепить дружбу с друзьями и воспитателями и приходить на помощь друг другу в трудную минуту.

Если я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть мои друзья-тосовцы назовут меня подонком, а Совет командиров лишит права носить погоны».

Один за другим подходят ребята к столу, накрытому красной скатертью, берут в руки текст присяги и читают его. Вокруг много гостей, родителей, шефов, среди которых есть даже боевой генерал. По этому случаю он надел парадную форму со множеством орденов и медалей. Каждый, зачитав текст присяги, расписывается и получает из рук генерала долгожданные заветные тосовские погоны. Наконец-то свершилось! Теперь и мы будем отдавать честь, нести ночную караульную службу и, может быть, даже стрелять из настоящих боевых автоматов! Лагерь «ТОС» получил права гражданства!

После принятия присяги и вручения погон начались спортивные соревнования. Совершенно неожиданно второй взвод, где было отделение «малышей», первенствовал в волейболе, эстафете и, что самое главное, в стрельбе из мелкокалиберной винтовки. «Малыши» публично источали сладкие оскорбления и унижения в адрес «перестрелков» из первого взвода, которые ходили мрачные и злые, как футболисты ленинградского «Зенита» после очередного проигрыша аутсайдеру.

В 7.00 у нас в лагере был подъем, потом — туалет, физзарядка, утренний осмотр, завтрак. В 10.00 мы начинали работу в совхозе имени Жданова. Скажем прямо, привести роту в полном составе на поле, где в бурьянных тисках изнемогала обессилевшая капуста, была делом нелегким. Но еще трудней было убедить ребят в том, что прополка — это дело нашей чести и трудовой славы. Этот вид работы пацаны презирали, считали его женским, другой же работы в совхозе нам подобрать не сумели, а может быть, и побоялись: как-никак, репутация у нас была не ахти какая хорошая.

Несмотря на применение новых принципов экономического планирования и стимулирования (лучших прополщиков мы отпускали в увольнение в город, премировали конфетами, грамотами и т. д.),

больших успехов на этом фронте нам добиться не удалось. Работали все по-разному. Игорь Галадин, Саша Санин, Боря Захарченко, Толя Голышев и другие быстро и чисто пробегали свою «пятисотку» и с одним из воспитателей уходили на озеро купаться. Другая часть ребят, в число которых прежде всего входили Генка с Костей, Витка Малышев и еще человек 5—6, обивали порог медицинского пункта, готовые лучше глотать касторку, чем работать. В тех же случаях, когда освобождение им получить не удавалось, они подзали по грядкам, как черехаи, и больше ворчали, чем ложились.

Но худо ли, бедно ли — дело на прополке продвигалось. За проделанную работу нам ежедневно перечислялись деньги на текущий счет, который был специально для нас открыт в бухгалтерии совхоза. На Совете командиров было решено истратить эту сумму на памятные подарки и на грандиозный банкет, который мы собирались устроить в кафе «Гренада» перед началом нового учебного года.

— Рота, смирно! Слушай приказ!

Мой помощник Герман Фокин выходит на середину — он у нас сегодня дежурный воспитатель — и зачитывает приказ:

— «Приказ № 6 по трудовому военизированному лагерю «ТОС». Содержание: о лишении права носить погонны тосовца Горшенина Сергея.

21 июля сего года тосовец Горшенин Сергей самовольно покинул расположение лагеря и пошел ловить рыбу. После этого Горшенин совершил еще более тяжкое преступление, уехав в Ленинград, где со своими друзьями бесчинствовал в саду на Поклонной Горе. Вернувшись в расположение лагеря после вечерней проверки, Горшенин, боясь ответственности, решил провести ночь на сеновале. Была объявлена тревога, и весь лагерь разыскивал его. На следующий день к обеду Горшенин сам пришел в расположение роты.

В связи с вышеизложенным ПРИКАЗЫВАЮ: за злостные нарушения воинской дисциплины, за волнения, причиненные маме, воспитателям и всему личному составу лагеря, за неоднократные проступки, порочащие славное звание тосовца, — лишить Горшенина Сергея права носить погонны сроком на одну неделю с конфискацией ремня и фуражки, а также лишить

права участвовать в походе на военно-морском катере 28 июля сего года.

Начальник лагеря «ТОС»
(подпись)»

При этих словах стоящий на правом фланге барабанщик начал бить дробь. Подхожу к Сереже и вижу, что его подбородок дрожит в такт барабанной дробью. Начинаю отстегивать погонны. Фуражку и ремень забирает Герман.

А барабан все бьет, бьет, и лица у ребят строгие. Никто Сереже не сочувствует, никто его не жалеет. Он это видит, а может быть, и нет, потому что глаза полны слез. Но он это чувствует, знает.

Мы, круглые идиоты, думаем, что его слезы — это наша педагогическая победа. Мы уверены в том, что всеобщее ребячье презрение к нарушителю дисциплины (то, чего мы так усиленно добились) ставит нас чуть ли не на одну ступень с Макаренко и Корчаком. В тот момент мы еще не знали, что скоро, очень скоро нам придется горько расплачиваться за свое педагогическое невежество.

Среди 30—40 мальчишек не всегда найдется самый уважаемый подросток, но почти всегда есть один всеми презираемый и нелюбимый. Такое отношение ребят к нему обычно имеет достаточно оснований. Как правило, это наиболее эгоистичный, злопыхатный, трусливый парень. К тому же он нередко и наиболее слабый физически. Все это приводит к тому, что он больше, чем другие, заискивает перед сильными и в особенности перед взрослыми, которые тоже не пылают к нему любовью. Возникает невидимый, едва уловимый союз между мальчишеской толпой и воспитателями против одного-единственного человека. Так незаметно для него и для окружающих он оказывается в моральной изоляции.

И вот в этот момент барабанный бой, снятие погон, фуражки, ремня окончательно добивают его; он лишается возможности хотя бы внешне быть таким же, как и все.

Как же мы не подумали, что каждый удар барабана для Сережи Горшенина похуже, чем свист шомпола или розги?

Вскоре, как и следовало ожидать, Сережа сбежал. Мы с Германом поехали к нему домой, в Парголово. И там я почувствовал, как он нас ненавидит. Он смотрел на нас глазами затравленного зверька и, прижавшись к матери, повторял: «Не могу я там жить, не могу!»

Казалось, все было сделано правильно: во-первых, Сережа своим

поведением заслуживал самого строгого наказания, а, во-вторых, для других это должно было послужить уроком.

Но чего мы добились? Ничего, кроме того, что сами получили урок. И все произошло потому, что мы, как и многие другие, в том числе и некоторые профессиональные воспитатели и учителя, смотрели на педагогику как на науку о ребенке, а не о человеке.

Никто из воспитателей не застрахован от ошибок. Только у хороших это случайность, а у плохих — закономерность.

К сожалению, в детских комнатах отделений милиции и в комиссиях по делам несовершеннолетних иной раз сидят люди черствые, определяющие свое педагогическое кредо поговорками типа «Дыма без огня не бывает» или «Лес рубят — щепки летят».

Воспитатель должен быть садовником, а не дровосеком. Это знают все. И тем не менее нигде, к сожалению, так часто не рубят с плеча, как в обращении с детьми.

Наш первый туристский поход начался не совсем обычно. В шесть часов утра 25 июля прозвучал сигнал боевой тревоги. Полусонные, зевая и поеживаясь от бодрящей утренней прохлады, выходили ребята на переднюю линейку. Но сон с них как рукой сняло, когда я сообщил, что в район Рощина брошено несколько воинских подразделений для тушения лесных пожаров и перед нами ставится задача обнаруживать новые участки горящего леса и вызывать аварийно-спасательные команды. Для этой цели командование академии выделяет нам одну рацию и грузовую автомашину, которая доставит нас в район Рощина. Нам предстояло прочесать лесную полосу глубиной в 30 километров.

— Мало! — закричали ребята. — Мы можем сто километров прочесать!..

Лагерь сразу стал похож на муравейник. Одни несли со склада продовольствие, другие снимали палатки, а третьи, упаковав личные вещи, суетливо бегали между передней линейкой и шоссе в надежде первыми увидеть автомашину.

Минут через тридцать на территории лагеря оставалась лишь одна палатка. Она предназначалась для тех, кому Совет командиров за серьезные нарушения дисциплины не доверил участвовать в выполнении боевого задания. Таких было четверо, в их

числе Гена Корнеев и Виктор Гуляев.

Когда сборы были закончены, Геннадий подошел ко мне:

— Товарищ капитан! Разрешите мне поехать. Очень прошу, возьмите меня!..

Увидев отчаянную мольбу в Генкиных глазах, я не устоял:

— Ладно, я соберу сейчас Совет командиров и попрошу отменить принятое решение, но с одним условием: ты понесешь вещмешок с консервами. Имей в виду: он много тяжелее остальных. Согласен?

— Согласен.

Через пятнадцать минут Генка стоял в общем строю. Он ехал с нами...

Пожар мы потушили только один (горел валежник, специально подожженный ушедшим вперед Германом), а связаться с центральным аварийно-спасательным пунктом нам так и не удалось, потому что наша рация ничего, кроме треска, не извлекала из эфира. Но тем не менее тридцать километров мы прошли по-боевому: за восемь с половиной часов! Слабаков и нытиков среди «бойцов спецотряда» не оказалось. И если со всех ребят сошло по пяти потов, то с Генки — все десять. Характер у него все-таки был. От помощи он отказался наотрез.

Этот первый поход был чем-то вроде «сварного шва», прочно спаявшего обе части нашего коллектива — воспитателей и воспитанников. Это произошло прежде всего потому, что в течение пяти дней ребята редко вспоминали, что мы старшие воспитатели. Мы так же, как и они, тащили на своих плечах объемистые рюкзаки, набитые продовольствием и снаряжением, только у нас вещмешки были много тяжелее.

Мы так же, как и они, окоченев в холодной воде Вуоксы, упрямо вытаскивали на берег рваный бредень, оглашая воздух дикими криками радости, если вдруг среди водорослей трепыхался глухой щуренок.

Мы так же, как и ребята, дежурили по кухне, чистили картошку, заготавливали дрова, а вечером у костра не только сами рассказывали всякие необыкновенные истории, но и умели увлеченно слушать. А ведь в городской суматохе из-за нашей постоянной спешки мы не умеем и не привыкли слушать ребят. «Говори скорей, мне некогда!» — это тоже одно из проявлений неуважения взрослого к подростку.

Однажды вечером у костра я

прочитал ребятам очерк Владимира Амлинского «История нормального мальчика». Автор рассказывал о том, как 15-летний Володя Дроженин зарезал 18-летнего В. Антонова. Из-за ревности, в пьяном угаре лишил жизни парня, которого видел первый и последний раз.

В ту ночь мы разошлись спать, когда уже светало.

— Не надо было убивать, пужно было слегка погугать...

— Из-за девчонки? Я бы никогда!!

— Я бы эту дрянь прирезал!!

Таковы были вначале три мнения, вокруг которых развернулась горячая дискуссия. Говорили ребята захлебываясь, перебивая друг друга, как будто боялись, что и здесь их не дослушают. Мы молчали. И только когда ребята выговорились, Герман, помешивая палкой угли, тихо сказал:

— А ведь Антонов никогда уже не будет так вот сидеть у костра и есть печеную картошку...

Стало тихо. Фокин немного помолчал, а потом добавил:

— Когда двадцать пять лет тому назад погиб Саша Типанов, ему тоже было восемнадцать лет...

— Только Саша Типанов погиб как герой, а Антонов так, ни за что, ни про что... — грустно добавил Саша Санин.

Мне кажется, что наши мальчишки в тот вечер, может, впервые в жизни, задумались о смерти. И о том, что разная она бывает. И долго еще этой ночью мы говорили о месте каждого в жизни, о подвиге. О многом...

АНКЕТА «ТОС» (подпись ставить не обязательно).

1. Где, по-твоему, интересней проводить лето? В городе или в лагере «ТОС»? (нужное подчеркнуть).

2. Какое мероприятие тебе понравилось больше всего за эти каникулы?

3. Какую работу в лагере ты считал самой скучной и неинтересной?

4. Где было лучше питание? Дома или в лагере? (нужное подчеркнуть).

5. Кого из своих товарищей по лагерю ты уважал больше всего?

6. За что?

7. Кого из взрослых, находившихся с тобой в лагере, ты уважал больше всего?

8. За что?

9. Кого из своих товарищей по лагерю ты уважал меньше всего?

10. За что?

11. Какое нарушение дисципли-

ны и со стороны кого ты считаешь самым серьезным за весь лагерьный период?

12. Чем бы ты хотел заниматься в городе осенью и зимой в свободное от учебы время?

Желаем тебе успешного нового учебного года!

Совет командиров лагеря «ТОС».

Эту анкету, подготовленную Советом командиров лагеря «ТОС», заполнял каждый, кто пришел в кафе «Гренада», на банкет, посвященный началу учебного года.

Снова и снова вчитываюсь в ответы тосовцев. Строки корявые, порой безграмотные, но чувствую, искренние. «Где, по-твоему, интересней проводить лето? В городе или в лагере «ТОС»? Все как один отвечают одинаково: «В лагере!» А ведь как рвались первое время пацаны в Ленинград! А сейчас грустят: «Эх, снова бы в лагерь! Вот там была житуха!» А «житуха» — это не только хорошее питание, которое, кстати, по мнению всех тридцати, пришедших в «Гренаду», было лучше, чем дома. Это еще кое-что, над чем следует подумать. Seriously подумать, ибо даже наша маленькая анкета проливает свет на многое.

Взять, например, второй вопрос: «Какое мероприятие (да простится нам это слово!) тебе понравилось больше всего?» «Стрельба из автомата, походы». «Стрельба, походы, военная игра». «Стрельба и спорт». И так все тридцать. Как один. А ведь каждый из них по-настоящему стрелял всего-навсего одну минуту.

Боевая стрельба проводилась «под занавес»: на следующий день мы уезжали. Стрелковые тренировки, военные игры, походы, занятия спортом, наконец, укрепленные дисциплины — все было подчинено «гвоздю сезона» — стрельбам из боевого оружия. О них думали, к ним готовились, о них рассказывали потом друзьям.

Кстати, наверно, это немало способствовало тому, что слава «ТОС» быстро разнеслась по всему району. Вот и перед банкетом подошли ко мне двое незнакомых парней и спросили, что надо сделать, чтобы на будущий год поехать к нам в лагерь.

А как им скажешь, что для этого сначала нужно попасть в милицию?! Да не один раз!..

Часто возникает вопрос: почему скачуют в пионерских лагерях мальчишки 14—15 лет? Да потому, что мы не видим (а скорее всего видим, да ничего сделать не можем), что из коротких штанишек

ребята выросли. Они преклоняются перед Рихардом Зорге и Юрием Гагариным. После очередного просмотренного кинофильма у них в ушах долго стоит треск пулеметных очередей и свист улетающей в космос ракеты, а их вместе с девочками из начальной школы ведут на экскурсию в совхозное овощехранилище! Им бы маршировать под настоящий духовой оркестр, а тут под ухом надоедливо дребезжит полугруппочный барабан!

Умное, очень умное решение принял ЦК ВАКСМ об усилении военно-патриотического воспитания наших школьников. Но сколько еще здесь нерешенных проблем — не только воспитательных, но и организационно-хозяйственных! Достаточно сказать, что материальное снабжение и финансирование таких лагерей, как наш, было организовано в обход существующих смет, путем компромиссов, на которые шли люди, понимавшие важность этого дела. Пусть пацаны об этом не догадывались, но каково было нам, взрослым?!

Тридцать анкет. Тридцать человеческих характеров. Почти все листки без подписи, но многих ребят нетрудно узнать «в лицо». Вот, отвечая на седьмой вопрос, один пишет: «Геру, Анатолия Сергеевича и Люду». Люда — официантка. Эту анкету, наверно, заполнял Витя Мальшев. Однажды Витя принес в столовую букет полевых цветов и подарил их Люде. Не по случаю праздника, не в день ее рождения, а просто так. Надо было видеть, какой радостью засветились глаза молодой женщины! «Трудновоспитуемый», хулиган — и вдруг, краснея и смущаясь, протягивает ромашки и колокольчики!

Еще ответ: «Хотел бы находиться в коллективе». И подпись: Корнеев.

Одна анкета доставила нам, воспитателям, особенную радость. В конце ее автор написал: «Спасибо за все».

Правда, отгадать, кому принадлежала эта анкета, мы не смогли. Да, честно говоря, и не очень старались. Наверно, потому, что хотелось думать: это — благодарность всех тосовцев.

Закончился сезон. К каждому из нас пришли старые заботы и старые обязанности.

Но вот однажды телефонный звонок принес первую неприятную новость: наш бывший стар-

шина Алик Воронов за драку и хулиганские действия привлечен к судебной ответственности.

Это известие поставило меня в тупик.

Как же мог я писать о каких-то успехах по перевоспитанию «трудных», если лучшие из них, распрощавшись с лагерем, снова стали на путь правонарушений?

Неужели наши надежды на то, что мы посеяли в их души толлку разумного и доброго, оказались иллюзией?

Взяв список наших бывших подопечных, мы поехали по районным отделениям милиции. Вот что нам сообщили:

Галадник Игорь. Участвовал в коллективной драке. С сотрясением мозга отправлен в больницу Мечникова. Ведется следствие.

Чиркин Владимир. Совершил побег и кражу носильных вещей из интерната. Дело передано в народный суд.

И так далее... Как ни грустно об этом писать, но почти половина из наших бывших воспитанников вновь оказалась в милиции. А ведь прошло лишь три месяца после возвращения ребят из лагеря!

Конечно, очень хотелось закончить эти заметки иначе.

Да мало ли чего еще хотелось нам, наивно уверовавшим в то, что лагерь «ТОС» станет поворотным пунктом на коротком, но уже тернистом жизненном пути наших питомцев.

Однако этого не случилось. А ведь могло случиться, если бы...

10 марта 1967 года в Ленинграде, в одноэтажном особняке на проспекте Смирнова, произошло событие, имевшее самое непосредственное отношение к нашему рассказу. В этот день состоялось торжественное открытие военно-спортивного клуба «РВС» (что означает: Ребята Выборгской Стороны).

В большом спортивном зале, еще пахнувшем сыростью и краской, стояло три сотни подростков, одетых в специально сшитую (не где-нибудь, а в ателье индивидуального пошива!) форму. Начальник клуба, слушатель ленинградской партийной школы Анатолий Евдокимов, подает команду «Смирно!» и отдает рапорт председателю исполнительного комитета районного Совета.

В этом клубе есть спортивно-зрительный зал, кабинет морского дела, кабинет топографии, радиомастерская, фотолаборатория,

библиотека, комната для художественной самодеятельности. И, что самое главное, на все это ни одного штатного работника. Настоящее самоуправление! Своя республика «РВС».

Если вам придется быть на проспекте Смирнова и захочется взглянуть на ребят из лагеря «ТОС», зайдите в этот клуб — вас всегда встретят приветливо.

Войдя в вестибюль, вы увидите около знамени большой фотопортрет мальчишки в форме воспитанника Нахимовского училища. Это Костя Несмиян, чье имя носит взвод, состоящий из бывших тосовцев. Когда Костя погиб, ему было столько же лет, сколько сейчас многим героям нашего рассказа. Он погиб, потому что безоружный пошел на вооруженных ножами бандитов. Костя Несмиян верил, что в жизни всегда есть место подвигу, и доказал это.

Ребята из клуба «РВС» расскажут вам о Косте, о том, как хотят стать такими, как он, как любят свой клуб, как хотят, чтобы у них было больше взрослых друзей.

Я радуюсь всему, что вижу здесь, хотя огорчает меня, что таких клубов в Ленинграде раз два и обчелся. И с грустью я думаю о том, что если б этот клуб открылся не 10 марта, а несколькими месяцами раньше, с началом учебного года, если б тогда гостеприимно распахнулись его двери для тех, кто вернулся из летних трудовых военно-спортивных лагерей, мы обошлись бы без печального осеннего рейда по отделениям милиции Выборгской стороны.

Мы часто пишем и говорим о необходимости преемственности в воспитании подростков. Все это справедливо. Но как редко мы задумываемся над тем, что во многих случаях «воспитательная эстафета» состоит из одного-единственного этапа — школы. Бывает так, что ежедневно после конца занятий, а также летом, после окончания учебного года, учителя некому передать путеводную «палочку»: у многих мальчишек жизнь складывается так, что семьи, где они воспитываются, и дворы, где они проводят все свое свободное время, не могут принять эту эстафету.

Лагерь «ТОС», клуб «РВС», разнообразные отряды «искателей» — все это вехи на путях того энергичного поиска, который уже ведется и еще предстоит комсомолу, всей нашей педагогической мысли и практике в сложной работе с «трудными» подростками.



С. Езерский

ПРОГУЛКА НА ВОЛКОВО

Рисунок Е. Медведева.

Осенью, в солнечный и ясный воскресный день, какие иногда выпадают в Ленинграде даже в октябре, я предложил своим новым ученикам, девятиклассникам, пойти на Волково кладбище.

Мальчики встретили мое предложение без энтузиазма, пожалуй, даже с недоумением:

— Вот так прогулка — на кладбище! Что там может быть интересного? Уж лучше поехать за город, в Пушкин или Петергоф!..

Девочки отнеслись к моей идее более благосклонно. Но я не уверен, что ими руководил действительный интерес к запущенным аллеям, надгробиям, Литераторским мосткам... Скорее в девочках говорила природная деликатность — им не хотелось огорчать нового учителя. Дискуссия закончилась демократически: голосованием. Поскольку девочек было больше, победа осталась за ними.

И вот мы едем на Волково кладбище. В трамвае — то ли примирившись с неизбежностью этой поездки, а возможно, и успев забыть, куда и зачем они едут, — мальчишки оживленно беседуют. В конце концов куда бы мы ни ехали, ребятам хорошо уже от одного того, что они вместе. И, слушая, как они дружно смеются, глядя на их оживленные лица, я начинаю испытывать беспокойство: а не зря ли я затеял эту прогулку? Не лучше ли было бы поехать куда-либо за город? Все-таки кладбище есть кладбище. Правда, Волково особенное, оно в известном смысле достопримечательность города. Но зачем я везу туда ребят? Какую воспитательную или учебную цель ставлю я перед собой?

Удивительная эта учительская черта — каждый свой шаг рассматривать с точки зрения того, какую педагогическую цель он преследует... Ну какую, в самом деле, можно поставить перед собой воспитательную, педагогическую цель, приглашая ребят на эту прогулку? В то же время ведь не просто так, не просто погулять по кладбищу еду я со своими учениками...

Пока я предаюсь этим размышлениям, трамвай останавливается. Ребята шумной гурьбой высыпают из вагона. Кто-то включает транзистор, звучит джа-

зовая музыка. Всем так весело, что мне даже неловко гасить улыбки на их лицах, объясняя, что на кладбище нельзя бегать, кричать, нельзя петь, а разговаривать лучше вполголоса.

Ребята выслушивают меня внимательно. Транзистор смолкает. И мы молча проходим в ворота.

Здесь малоллюдно. Дорожки, как ковром, покрыты опавшими кленовыми листьями. Какая-то особенная, строгая стоит тишина. Необычность обстановки смущает ребят. Вероятно, они в первый раз в своей жизни на кладбище. Даже самые бойкие растеряны, они не знают, что полагается делать, на что следует обращать внимание, как вести себя.

Вероятно, мне следовало бы прийти им на помощь. Но мне не хочется превращаться в экскурсовода по кладбищу. Я не люблю в музеях объяснять ребятам содержание картин, а на природе обращать их внимание на красоту пейзажей. В этом постоянном стремлении все объяснять, все растолковывать есть что-то, вызывающее протест. Почему юноша или девушка должны смотреть на картину только из-под моей руки? Даже восход солнца мы порой готовы превратить в воспитательное мероприятие... Есть такие вещи, события, явления, которые ребятам полезнее и лучше воспринимать без подсказки, оценивать самостоятельно, переживать интимно.

К счастью, ребята быстро преодолевают робость и скованность первых минут и, повинуясь естественному любопытству, разбредаются по аллеям, разглядывают памятники, читают надписи на них. Я не мешаю им и только улыбаюсь, когда они, находя знакомые фамилии, радуются: «Вот могила Белинского!.., а вот Добролюбова!.. А вот какого-то Гаршина...»

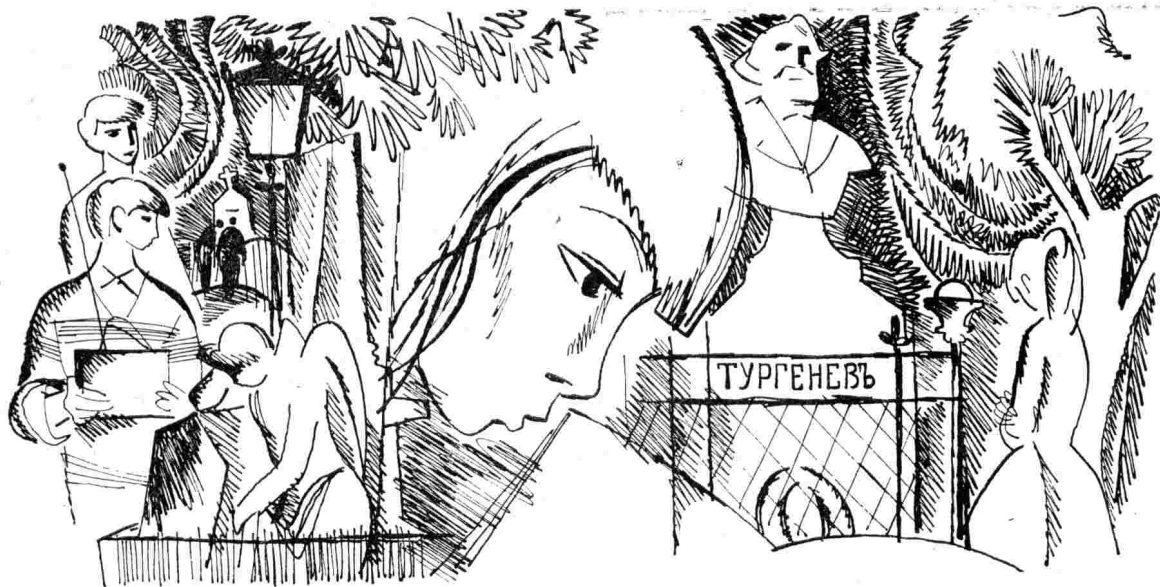
Могила Тургенева привлекает общее внимание. Этот писатель им близок. Кто больше, кто меньше, но все читали Тургенева. Тесно сгрудившись, они разглядывают белую мраморную плиту с короткой надписью. Проходит минута-другая, и ребята оборачиваются в мою сторону. Я вижу на их лицах знакомое мне выражение терпеливого ожидания. Они убеждены, что сейчас я начну объяснения...

Вероятно, если бы я действительно вдруг прочел им лекцию о жизни и творчестве Тургенева, ребята прослушали бы меня внимательно и отошли от могилы удовлетворенные. Но как-то претило устраивать учебное мероприятие из обозрения могилы великого русского писателя. Я звал их сюда не затем. И хотя я еще и сейчас не мог бы сказать, зачем именно, но, во всяком случае, не для урока, как бы он ни был полезен.

Мое молчание вызывает недоумение. Они не верят, что я не хочу помочь им. На их лицах откровенное разочарование: зачем же они ехали сюда? Постоять у могил, и только? Мне даже кажется, что в эту минуту они берут под сомнение мою педагогическую опытность: вот так учитель, ничего не может объяснить!..

Расценив молчание как разрешение действовать самостоятельно, ребята разбредаются. Я остаюсь в одиночестве. Я сажусь на скамью и отдаюсь невеселым мыслям. Чего я, собственно, ждал от прогулки? На что рассчитывал? Чего ждал от ребят? Не глупо ли, что я не заговорил о Тургеневе? Разве не было бы полезно ребятам узнать важнейшие факты жизни великого писателя, особенности его творчества, наконец, даже подробности его похорон? Именно здесь, у могилы писателя, моя речь произвела бы особое эмоциональное воздействие. Вот и методическая литература рекомендует проводить уроки, так сказать, на месте происшествий. Урок на могиле Тургенева. Чем плохо?

Ребятичьи голоса доносятся до меня все глуше. Надо



идти. И когда я встаю со скамьи, вдруг замечаю, что у могилы Тургенева я не один: какая-то девочка не ушла со всеми.

Я еще плохо знаю имена и фамилии своих учеников. Девочку зовут, кажется, Ирой. Ириной. Что же она не ушла со всеми? Задержалась случайно? Или, может быть, не захотела оставлять учителя одного? Впрочем, у девочки такой сосредоточенно-задумчивый вид, она так отрешена от окружающего, что вряд ли замечает мое присутствие. Так что же удержало ее здесь?

Странное чувство испытывает человек, стоя у могилы великого писателя; это чувство называют обычно благоговением, почтением. Непривычно видеть имя, знакомое по обложкам книг, высеченным на могильной плите. Где-то я прочитал, что на местах исторических событий, у древних памятников, у дорогих могил человек, если сердце его не глухо, испытывает чувство, правильной сказать — переживает состояние, когда реально ощутимой становится для него связь времен, та связь жизни и смерти, прошлого и настоящего, без которой человеческая жизнь — как странничка, вырванная из книги...

О чем же думает девочка, стоящая у могилы Тургенева?

Может быть, по-детски грустит, что Тургенев умер? Но грусть о смерти человека, умершего почти сто лет назад, наивна.

Может быть, кладбище навеяло на нее мысль о бренности жизни? Но в юности проблема жизни и смерти обычно не тревожит. В юности жизнь кажется бесконечной.

Может быть, Ира, стоя у могилы Тургенева, вспомнила те книги писателя, что успела прочесть, тех его героев, которых полюбила? Что же успела она прочесть? «Дворянское гнездо»? «Новь»? «Дым»? «Записки охотника»? Или только знаменитое «Муму» — рассказ, который изучала на уроках литературы в школе? А вдруг она вспомнила «Первую любовь»? Нет. Сколько я помню, «Первая любовь» не включается в рекомендательные списки.

О чем же ты думаешь, Ира, стоя у могилы Тургенева?

Чем внимательнее гляжу я на ее лицо, еще по-детски округлое, в эту минуту повзрослевшее от недетского раздумья, тем больше хочется мне верить, что

она задержалась не случайно. Что-то навязное кладбищем взволновало ее, удержало на несколько молчаливых минут у могилы Тургенева...

И вдруг с внезапной ясностью я осознаю, что ведь была у меня тайная цель, когда я приглашал своих учеников на прогулку на Волково кладбище. Была! Но только теперь она стала очевидной для меня. Может быть, мне всего только и хотелось, чтобы ребята, вот как сейчас Ирина, молча постояли у дорогих могил. Я не знаю, что дают человеку эти минуты. Но я убежден, что каждый человек должен такие минуты пережить. Что без них человеческая жизнь была бы намного бедней. И что для духовного развития человека эти минуты значат больше, чем самые содержательные лекции и подробные объяснения.

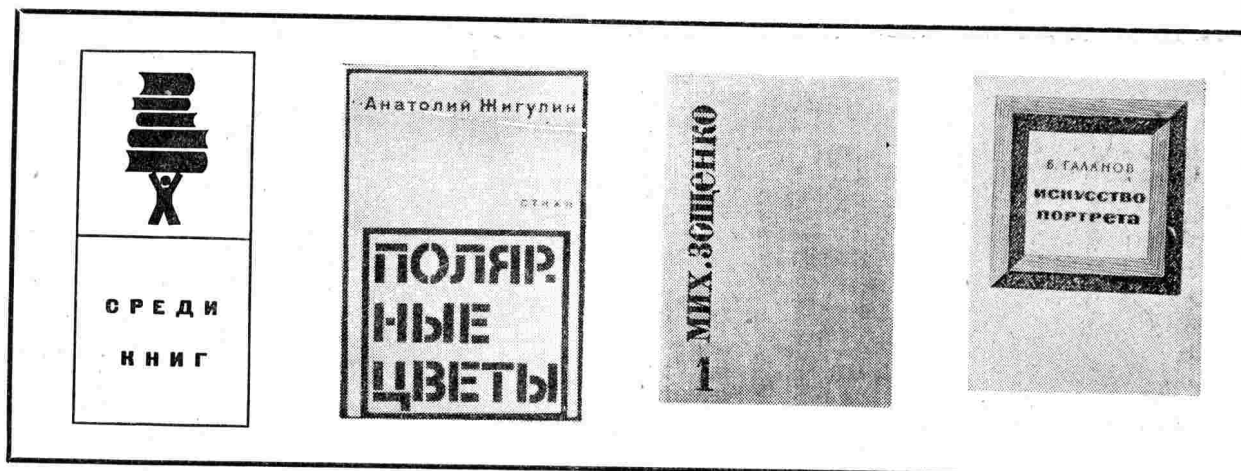
— Ира! Ира!..

Это ребята, заметив отсутствие Иры, зовут ее.

Словно очнувшись, Ира, еще не понимая, прислушивается к голосам. Потом медленно, словно нехотя, отходит от могилы. Чем дальше уходит она, тем шаги ее становятся быстрее, потом она переходит на бег и бежит легко, стремительно, красиво, как бегают девушки, привыкшие к спорту.

...Скоро мы собираемся у ворот и покидаем кладбище. На улице по-прежнему солнечно. И такое ощущение, что из тени вышли на свет. Я иду вместе с ребятами и верю, что в них что-то изменилось, что-то произошло. Что-то стало иначе. Но что? Ах, да, молчит транзистор. И идут они чуть медленнее и говорят тише... Значит, все то, что почувствовала у могилы Тургенева Ирина, испытала не только одна она. Испытали и другие: каждый по-своему, каждый в разной степени, но все — нечто общее. Просто я не сразу понял это.

Но вот снова запел транзистор, и, когда подошел трамвай, ребята взяли его штурмом. В трамвае возникла беседа, оживленный разговор о том, о чем говорят обычно юноши и девушки в пятнадцать лет: о шансах футбольных команд, о последних телепередачах, о школьных делах. И, глядя на них, никто не догадался бы, что они возвращаются с прогулки на кладбище. Ну и что ж!.. Это меня теперь несколько не огорчает. У меня нет больше сомнений, что было бы лучше: поехать за город или совершить прогулку на Волково?



Вот отрывок из стихотворения, давшего название книге «Полярные цветы» (Анатолий Жигулин, изд-во «Советский писатель»).

Сползла машина
с перевала,
И в падах,
Что всегда пусты,
Нас будто всех
околдовало —
Мы вдруг увидели
Цветы!

И разом ахнули ребята.
Нажал водитель
на педаль.
Была светла и розовата
От тех цветов глухая
даль.

Уж пятый час трясется
кузов,
И склоны гор опять
пусты...
А мы в ладонях
заскоружлых
Все держим нежные
цветы.

Заполярье — край выюг
и суровости, край изы-
скателей и строителей,
где у людей заско-
ружные от нелегкой
работы ладони, — сли-
вается в этих стихах с
цветами, а с цветами
связано представление о
нежности, богатстве и
сложности цветовых от-

тенков, вообще о богатстве и избыточности жизни. Сливается в единый образ мужества, который проходит через всю книгу.

О нем, мужестве, говорят и пишут многие. Все знают, что это способность переносить трудности, преодолевать страх, в любых условиях делать свое дело. Но иногда забывают о том, что мужество только потому так высоко стоит в глазах людей, что это единственный способ отстоять и утвердить, пронести через жизнь нежность и доброту человечности. Анатолий Жигулин никогда не забывает об этом.

Наум КОРЖАВИН

Недavno ленинградское отделение издательства «Художественная литература» выпустило в свет двухтомник избранных произведений Михаила Михайловича Зощенко (первый том — рассказы и повести «Коза», «Возмездие», «Мишель Синягин и др.»; второй — повесть «Возвращенная молодость» и «Голубая книга»). Стотысячный тираж издания, несомненно, восполняет некоторые пробелы в смеховой культуре нынешнего поколения. Великий русский смех, от Фонвизина и Гоголя произошедший, продолжается в признанном сегодня творчестве скромного ленинградца.

В 20—30-е годы Зощенко издавали много, но зачастую он воспринимался обрывочно, поверхностно, прежде всего как писатель-юморист, зарисовщик быта. Понадобилось время и терпение, чтобы зощенков-

ский «быт» открылся как фантазмагория нравов, как гротесковое обобщение, запечатлевшее вечно мелкие страсти вечно мелких людей. Мир Зощенко — мир могучей иронии, которая под пером сатирика из чисто литературного приема, из счастливо найденной новой и неожиданной для развития прозы XX века языково-словесной структуры, из пародийного стиля превращалась в целую систему чувств и мыслей о своем времени.

Высмеиваемый Зощенко биологический дурак поступает всегда логично. К тому же он наделен каким-то пугающим обаянием — чистосердечием, незаметно переходящим в жуткое лицемерие, и непосредственность, которая мгновенно превращается во вселенское хамство. Герои Зощенко — жертвы описанных писателем частных случаев. Не опиши их писатель, они, эти герои, жили бы спокойно и счастливо. И здесь, думается, заключается главная победа Зощенко: он открыл нам обывателя, мужественно надев на себя его маску. И трудно не заметить ту грань, где герои эти кончались и начинался сам писатель-гражданин, от первого лица сказавший в «Голубой книге» такие прекрасные, столь же серьезные, сколь и шуточные, слова:

«Нет, вообще-то говоря, если подумать глубже, профессия эта (профессия сатирика. — М. Р.) тоже нужная и полезная в общественном смысле. Она одергивает дураков и предупреждает умных от их глупых поступков. Она расширяет кругозор и мобилизует внимание то одних, то других на борьбу то с тем, то с этим...

Так что профессия, спорю нет, в высшей степени не так уж очень особенно бесполезная».

М. РОЗОВСКИЙ

Может ли литературоведческий труд — книга не научно-популярная, быть занимательной? Она должна быть такой, скажете вы, но... К сожалению, книги, посвященные литературе, высокому искусству, частенько отпугивают читателя-неспециалиста усложненной формой изложения, написаны бывают скучным языком. Да еще если припомнит читатель школьные учебники, то уж и не захочется ему читать критическую литературу. Меж тем, хотя в науке о литературе (как, впрочем, и в самой литературе) предостаточно книг средних, сереньких, ремесленных, не они, к счастью, определяют лицо нашего литературоведения. Радостные находки ожидают здесь читателя куда чаще, чем это можно было бы предположить, исходя из некоего среднего уровня. Одна из таких приятных для читателя находок — книга Б. Е. Галанова «Искусство портрета» (издательство «Советский писатель»).

Борис Галанов вводит нас в не совсем обычную портретную галерею: «на ее стенах не видно полотен художников. Эта галерея портретов воображаемых, тех, что однажды ожили под пером писателя, а потом надолго, если не навсегда, поселились в нашей памяти, рядом с живыми, реальными



людьми... Есть тут залы Диккенса и Бальзака, есть Гоголя, Толстого, Чехова, Горького, есть и наших современников — Шолохова, Хемингуэя, Алексея Толстого». Путешествие по этим залам с увлеченным, знающим экскурсоводом — истинное удовольствие. Предмет специальный, узкий вопрос — «искусство портрета» — неожиданно преобразуется: перед нами драматическая история борьбы за реализм в искусстве, история изображавших и изображаемых; у большого художника взгляд на мир преломляется в отношении к герою, определяет поведение и внешность персонажей. Смотрите, например, с каким отвращением относится Гоголь к стяжательству, к скупости, к душевной глухоте и как пародийно нелеп, жалок Плюшкин. А Старик Хемингуэя — герой, писателю духовно близкий: у этого художника и изможденного человека все было старое, кроме глаз, а глаза были цветом похожи на море, веселые глаза человека, который не сдаётся...

От портрета к портрету, из зала в зал ведет нас Б. Галанов. Литература и эстетика, литература и живопись, литература и кинематограф — разговор ведется обо всем серьезно, живо, заинтересованно.

Вяч. ИВАЩЕНКО

Книга Елены Мушкиной «Будьте добры — пожалуйста» (изд-во «Молодая гвардия») агитирует за преобразования в службе быта, действуя и

собственно словом и фактом прямой причастности автора к этой службе: Е. Мушкина периодически меняла репортерскую работу в газете на труд парикмахера, портнихи, телефонистки, официантки, повара, приемщицы, продаваца.

Резервы преобразований — современный уровень техники. Уже сейчас принципиально осуществим электронный повар, аппарат с множеством специальных камер для хранения продуктов, с «памятью» в виде перфокарт, где закодированы тысячи рецептов, разнообразнейшие меню. Выбрав блюдо, вы нажмете кнопку. Теперь садитесь за стол. «Повар» сам найдет нужную перфокарту, включит дозаторы и получит продукты — ровно столько, сколько потребуется. Автомат послушный, действует строго по заданному режиму. Поэтому ничего не подгорит, не убежит, не выкипит.

Резервы преобразований — взятые уже сейчас вершины мастерства. Ленинградец Д. А. Маргулис, сообщает автор, шьет без примерок. На дверях ателье так и написано: «Изготовление пальто без примерки».

Резервы — высота идеалов, новые нравственные критерии, все прочнее утверждающиеся среди более чем 10-миллионной армии работников службы быта.

Не подумайте, что книжка вся обращена в будущее, что-то вроде научно-фантастических рассказов. И разговор отнюдь не об одной только нарядной стороне труда.

Читатель видит и трудную «кухню» успеха обувщика, и пот, и артистизм, и... дозу униже-

ний официанта от «гостя, который всегда прав». А ведь часто, доказывает книга, официанты — это подлинники, потомственные мастера своего дела, влюбленные в него. И, кстати, установлено: труд официанта — не легкий, как считает иной резонерствующий человек, а один из труднейших. Подсчитано: самый тяжелый труд у горняков, за ними идут официанты, и лишь потом металлурги, машинисты, станочники, строители, ткачи. В ресторане «Арагви» за рабочий день каждый официант проходит десять километров. И в руках всегда ноша в пять — семь килограммов.

В книге Е. Мушкиной масса ценных сведений о профессиях — от исторических фантов, серьезных и курьезных, до последних новшеств, изобретений.

Главное же — горячая публицистичность книги, ее гражданственная наусущность: в будущем службе быта, как утверждают социологи, понадобится каждый четвертый выпускник советской школы.

Л. БЕЛАЯ

Сейчас ни у кого не вызывает сомнения, что самое глубокое и цельное, что есть в древнерусской культуре, выражает — наравне с архитектурой — живопись Древней Руси. Она сокровище искусства мирового. И все же еще в начале века икона как образец средневековой русской живописи не имела широкого зри-

теля. Невозможно было отличить красочную живопись от густо покрывшей ее многослойной копоти, разглядеть ее, закованную в помпезный и тяжелый оклад. Благодаря успехам современной техники расчистки мы увидели краски далеких веков.

Частные собрания иконной живописи были известны уже в первой половине прошлого века (коллекции А. Круглова, Е. Афанасьева). В свое время были знамениты коллекции знатока древнерусской живописи Н. Репникова, художника В. Васнецова, советского архитектора А. В. Щусева.

Самое крупное из сегодняшних частных собраний — коллекция недавно умершего советского художника Павла Дмитриевича Корина.

В выпущенной издательством «Искусство» книге «Древнерусское искусство в собрании Павла Корина» автор В. И. Антонова дает историко-художественную классификацию шедевров начиная от новгородской школы XII века и псковской XIV. В описании собрания представлены четыреста лет развития древнерусской живописи, послужившие истоками иконописи XVI и XVII веков. Широко показаны живопись и шитье XVI века: ростово-суздальской и московской школ, Поволжья, северных и строгановских писем; живопись городов и монастырей государства Московского в XVII веке; иконопись XVIII—XIX веков: письма палехские, костромские, романовские, поморские, пешехоновские.

«Избранная панорама древнерусского искусства», пишет В. И. Антонова, — далеко не охватывает всего многообразия его, представить которое не под силу ни средствам, ни трудам отдельного человека или даже музея. Но коллекция П. Д. Корина все же соперничает своим совершенством подбором с лучшими государственными собраниями. Сознавая высокую значительность и ценность ее, Павел Дмитриевич Корин высказал желание, чтобы после смерти принадлежащие ему шедевры нашли место в Третьяковской галерее.

В книге приведены иллюстрации ста шестидесяти наиболее ценных произведений собрания.

Н. ФИЛИППОВСКИЙ



ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

О ПРОФЕССИИ

Прошел я ответ редакции на письма школьников о выборе профессии («Юность» № 1, 1968 г.), и захотелось мне написать вам письмо.

Будем смотреть правде в глаза. Наше время—время статистики и фактов научного подхода. Предположим, что в 1969 году десятые классы окончат 6 миллионов школьников. (Все цифры, приведенные автором, условны.—Р е д.). Прием в институты—примерно 700—800 тысяч. Следовательно, только каждый шестой или седьмой школьник поступит в институт. В этих условиях смешно говорить, что в институт можно не торопиться, нужно поработать, выбрать профессию по душе и т. д. Нет, нужно торопиться, иначе будет поздно: забудутся свежие школьные знания, закиснет ум, отвыкший от учебы, затянется новая жизнь, в которой надо будет устроиться, а год или два (практически где придется и кем придется) ничего не даст для узнавания профессии по душе. И потом, не пора ли кончить сюсюкать, что каждый может найти себе профессию по душе, что все профессии интересны и что главная проблема — разобраться, куда тебя тянет?

Не будем обманывать молодежь. Обратимся снова к фактам, а они говорят, что есть профессии интересные, романтические, творческие: артисты, писатели, ученые, врачи в НИИ и крупных клиниках и т. д., — и есть профессии, которые приобретают, потому что нужно зарабатывать на жизнь, когда люди отработывают время ради денег: грузчики, рабочие на конвейере, дворники, продавцы и т. д. Не будете же вы утверждать, что и в профессии ассенизатора есть своя романтика, нужно только открыть этих прекраснейших ассенизаторов.

Не нужно ставить все с ног на голову и утверждать, что главное — открыть свои склонности. Нет, главное — это пробить дорогу в институт, дорогу к интересным, творческим профессиям, выбраться из массы людей, которые работают, чтобы жить, в ту группу, которая живет, чтобы работать.

Не нужно забывать, что народное хозяйство требует и будет иметь, допустим, в 70-м году 10 миллионов инженеров, 20 миллионов сапожников, 30 миллионов сельскохозяйственных рабочих и только 5 миллионов научных работников, летчиков, геологов, врачей, артистов, писателей. И вот этот «спрос» будет удовлетворяться «предложением» 65 миллионов теперешних школьников, из которых 50 миллионов считает, что у них призвание к интеллигентному труду.

Поэтому надо прямо сказать милым детям: все хорошо и гладко бывает только в сказках, в жизни многих из вас труд будет не удовольствием, а суровой обязанностью, и жить для удовольствия вы

будете после работы. И то, кем вы станете, зависит не только от вас, но и от многих не зависящих от вас обстоятельств: где вы учитесь — в городской или сельской школе, кто ваши родители — обеспеченные, интеллигентные или малообеспеченные, рабочие или крестьяне, будет ли судьба благоволять к вам: элемент счастливых случайностей очень много решает в жизни. В первом случае у вас больше шансов «выбиться в люди», во втором случае нужно хорошенько взвесить свои силы, определить свои возможности, чтобы не разочароваться в жизни, не перейти в когорту неудачников и примириться со своим положением. Одних жизнь гладит по голове, других иногда бьет по голове. И это нужно знать.

М. Левинов — инженер, 33 года
(окончивший институт не по призванию,
работающий не по специальности).

г. Орел.

Он не сообщил своего адреса. Даже имя его неизвестно полностью — только инициалы. У меня не было никакой уверенности, что я найду его в Орле, — он мог жить где-нибудь в области или вообще опустить письмо проездом. И все-таки надо было найти его, чтобы оставить в покое, если он всего лишь мелкий любитель красного словца, или спорить с ним, если он человек убежденный, готовый свои убеждения отстаивать.

Не стану описывать технику поиска. Если бы я писал приключенческий сюжет, там были бы и гонки ночных трамваев, и переправа через речку Орлик с тростинкой в зубах, и шифрованные переговоры с продавцом магазина охотничьих товаров. Но, увы, ничего такого на самом деле не произошло. Мне повезло, и автора письма искать пришлось недолго. Сравнительно легко в руках у меня оказался его адрес, и я даже знал имя его далекого приятеля, на которого мог сослаться, чтобы при первом разговоре не пугать человека командировочным удостоверением московской редакции...

Он встретил меня радушно. Небольшая холостяцкая комната его была со вкусом и аккуратно убрана. Он пригласил садиться в мягкое кресло и достал бутылку сухого вина.

— Значит, вас интересует конструкция моей донной удочки? — спросил он и стал охотно объяснять.

Это был очень удачный повод для визита: оба мы были рыбаками. Я внимательно слушал. Такую конструкцию удочки я знал — она давным-давно использовалась на наших рязанских реках. Потом разговор перешел на прошлогодний отпуск, на туристические походы, на отпуск нынешнего года.

— По-настоящему живешь только во время отпу-

ска, — сказал он. — Это — самостоятельное время. Стараешься, чтобы хоть этот месяц в жизни была романтика... Все остальное время прозябаешь на работе... Я инженер, но что толку? Ежедневные будни...

— А что же такое романтика? Где ее искать?

Он улыбнулся мне. Помолчал. Ему нравилось объяснять, и делал он это спокойно и убежденно.

— Мы знаем о ней большей частью понаслышке, по кинофильмам, из газет. Романтичных профессий не так уж много: летчик, физик, геолог, актриса...

Точно! Это был тот человек, который писал письмо!

Я, видимо, некстати задумался. Он посмотрел на меня подозрительно.

— Вы называли профессию актрисы, — нашелся я, — и мне вспомнилось, как одна старая актриса рассказывала, что ее театральное поприще началось разрывом отношений с родными и знакомыми. И было это не так давно. Романтика — штука относительная.

— Отстае люди, — сказал он. — Зато новые профессии всегда были романтичны, несомненно.

— Летчики?

— Хотя бы летчики.

Не вставая с кресла, я протянул руку и с его пола достал книгу. Стал читать вслух:

— «Он считается — чудак. Отношение к нему — юмористическое. Неизвестно почему. Он одним из первых стал ездить на велосипеде, мотоцикле, автомобиле, одним из первых стал летать. Смеялись. Он упал в перелете Петербург — Москва, разбился. Смеялись. Он был чемпион, а в Одессе думали, что он — городской сумасшедший».

Это — писатель Олеша о летчике Уточкине.

— Обыватели, — понимающе вздохнул мой хозяин.

— Пожалуй... Но как раньше обыватели-торгаши пренебрежительно относились к профессии летчика, так в наше время обыватели пренебрегают работой в торговле, на заводе, в порту и склонны жалеть людей, занятых этими работами.

— Ну, это уж вы хватили через край. Что же романтичного в работе продавца? Нет, общество специально, а порой и невольно поощряет именно те профессии, которые идут на переднем крае прогресса. Вокруг них и слава и материальное вознаграждение. Одно дело, когда человек изобретает донную удочку, другое — когда строит летательный аппарат новой конструкции. Для человечества это не одно и то же и по-разному вознаграждается.

— Но разве слава и деньги — синоним романтики?

— Ах, да бросьте вы идеализировать — по крайней мере эти понятия сопутствуют друг другу. Но, конечно, не всем удастся пробиться к этим романтическим делам. И вот как раз неудачники идут в торговлю или в грузчики. Разве не так?

— Думаю, что нет.

Хозяин покачал головой. Он не знал, как еще убеждать меня.

— Я думаю вот о чем, — сказал я. — Профессия, скажем, летчика всегда считалась на переднем крае прогресса, и, к слову сказать, обыватели это заметили последними. Но теперь для них это стало глывой предрасудка, которую ничем не пошатнуть. А между тем люди истинно творческие уже замечают изменения, происходящие в этой профессии. Не случайно же один из известных летчиков-испытателей увидел, что в век атомной физики крылья Икара уже меньше привлекают юных романтиков.

— Что-то не верится, чтобы у нас летчиков становилось меньше.

— А их и не меньше. Происходит иной процесс: профессия становится обычной. И ничего плохого в

этом нету. Летчик, который водит четырехместную машину из Рязани в деревню Веретье, исполняет работу ненамного более сложную, чем шофер автобуса. А от профессии шофера до сферы обслуживания — рукой подать.

— Ах, вот вы куда клоните!.. Ничего не получится! Уж эту «сферу» и пропагандируют и рекламируют, а все без толку. Даже те, кому по штату положена защита и пропаганда, делают это так стыдливо, что результат получают совершенно обратный тому, к которому стремились. А вы... с такой страстью, словно у вас задание от большого универмага.

— Да нет, я не приглашаю на работу в магазин. Я о другом. Я думаю, что сфера обслуживания потому и противостоит творчеству или романтике, что мы искусственно противопоставляем их сами. А между тем жизнь эти противопоставления давно уже отбросила: за последние несколько лет в сфере обслуживания произошли такие революционные изменения, каким может позавидовать любая область человеческой деятельности. Огромные универмаги — комбинаты с десятками эскалаторов, лифтов, машин; магазины самообслуживания; столовые и рестораны, оборудованные по последнему слову автоматической техники... Знаете, недавно в Москве один мальчик в метро сказал мне: «Какие здесь автоматы древние!»

— Бросьте, я читал — это из научной фантастики.

— Да нет же, мальчик был из Ленинграда, а у них в метро автоматические турникеты были поставлены позже и более оригинальной конструкции. Автоматы продают газеты, считают деньги. Автоматы с сигаретами, с молоком и, конечно, автоматы с газированной водой. Такова сегодня сфера обслуживания, и это — начало завтрашнего дня.

Мой хозяин слушал меня со скептической улыбкой.

— Ваша поэма о продаже товаров в розлив весьма нравоучительна. Но молодость-то зовут не конструировать автоматы, а торговать. Вон у нас на углу буфетчик пиво разливает. Уверю вас, сущность его работы не изменится, если он вдруг начнет улыбаться и его работу назовут «служба добра».

— В этом-то все и дело, что вы не видите пути человеческого дальше малосимпатичного буфетчика. А мне кажется, что призывать молодежь в сферу обслуживания надо не просто в том смысле, что, мол, займите ваше место за стойкой. Надо сказать молодым: придите и перемените самый смысл профессий в сфере обслуживания. Сделайте их профессиями абсолютно современными. Современная техника, понимание экономических законов помогут в этом... Если и звать молодых за прилавок, то только при одном условии: учиться дальше, чтобы иметь достаточно знаний и произвести полный переворот в сфере обслуживания. А без творческих людей такой революционный сдвиг вряд ли возможен.

— Хотите ли вы сказать, что тогда в торговле будет почетнее работать, чем в физике?

— Нет, не хочу. Вообще не хочу делить деятельность людей на почетную и непочетную, на передний край и тылы. В любой работе, в любой профессии можно быть и среди творцов и среди потребителей. А пренебрежение — барское или рабское, как хотите, к чужому труду позволяет и к вам относиться с пренебрежением... Что же касается неромантических работ... Знал я когда-то бригадира грузчиков Находкинского порта Маякова. Наблюдал великолепную гармонию организованных им работ. Он всю жизнь ходит в грузчиках. Пожилой человек с умным, спокойным лицом. Для вас, видимо, небезраз-

лично, что он Герой Социалистического Труда. Однако никогда он не стремился сделать карьеру. Творческий ли он человек? Романтичен ли его труд? Вот так вот... Ну, конечно, есть еще и сегодня пошлые обыватели, для которых и Маяков мало достоин внимания, поскольку должностей не занимает и в детчихах-испытателях не числится.

Мой хозяин обиделся.

— Странно у вас получается, — сказал он. — Если человек хочет лучше работать, выходит, он обыватель? Если врачу не хочется бегать по домашним вызовам, но вести научно-исследовательскую работу в НИИ — он, что же, обыватель? Не станете вы отрицать, что в НИИ простора для творчества сколько угодно, а при беготне по вызовам о творчестве не может быть и речи. Вот и получается, что к творчеству надо пробиться административно.

— Так что же такое творчество? Должность или состояние духа?

— Творчество — это должность, на которой каждый может проявить состояние своего духа. И не возражайте. Даже у художников так, даже у артистов и писателей. Сначала надо сделать имя, потом получаешь возможность самостоятельного, свободного творчества, получаешь независимость.

— А знаете, у вас удивительный талант перевернуть все с ног на голову... Каким же путем, по-вашему, художник приходит к признанию, делает имя, как вы говорите? Молчите?... А я вам скажу: путь этот лежит только через творчество, поднятое до степени повседневной работы... Должности «самого хорошего писателя» не существует. Так что по знакомству или по удаче ее не получишь. Творчество вообще не административная «должность». Ты прожил жизнь и пережил что-то, ты работал с предельным напряжением сил и отдал своим произведениям весь свой опыт, все мысли. Ты сделал все, что мог, и пусть тебя не заботит, на какую полку поставят твою судьбу библиотекари.

— Ну, это писатель... — сказал мой собеседник.

— Почему же только писатель... А наш врач? Он в НИИ как придет — по знакомству, что ли? Если так, то какой же из него ученый? Но думаю, что нет, и здесь то же самое: только творчество в ежедневной практике приведет его к большой науке... Впрочем, если пойти дальше, то и любого юношу к институту, к своей профессии может привести только практика, только работа, только стремление понять сущность того, что ты делаешь.

— Ну да, — сказал мой собеседник, — старая теория: страдать сегодня ради завтрашнего счастья. Байки...

Я рассмеялся:

— Конечно, конечно: «ученье — вот чума, ученье — вот причина...» и так далее. Впрочем, именно вас я ни на какое «страдание» не обрекаю. Как видно, вам учиться в жизни уже не предстоит. Ведь так?

— Как знать... Может, еще в аспирантуру устроюсь...

— Ах, «устроюсь»!

— Нет, правда, ну там — творчество, учеба... но ведь надо же что-то и для себя.

— Как это для себя?

— Ну там... материальная обеспеченность, чтобы уважали тебя, чтобы положение в жизни...

— Погодите, погодите... Вот вы о чем! Да ведь мы начали-то о романтике.

— Ну да, романтика романтикой, а как бы в неудачниках не засидеться. Мне бы, к примеру, в институт надо устроиться... Снова читаю: «Ищите и

найдете...» А что мне искать? Пока я искать буду, мою должность кто-нибудь другой хапнет. Нет уж, в наше время другие лозунги: торопись, а то тебя опередят, и ты навсегда останешься среди тех, кто работает на неинтересных работах только ради куска хлеба. Словом, в неудачники выйдешь!..

— А сами вы неудачник?

Он оторопело посмотрел на меня.

— Простите, не понял...

— Я о том, что вы не там видите неудачников. Пока человек ищет истину, пока он работает, пока познает общие законы и взаимосвязь вещей и явлений, нечего бояться, что ум закиснет, что перестанешь расти духовно и сделаешься жалок. Скорее уж тот, кто случайно хапнул первую попавшуюся специальность, поромантичнее на вид, разочаруется, когда дело дойдет до практической работы. Судите сами... Человек думал выделиться среди людей за счет должности... ан нет, не по Сеньке шапка. Все мечты и планы летят в тартарары. Неудачника найдешь в любом НИИ. Не так ли появляются студенты не по призванию и инженеры, работающие не по специальности?..

Я замолчал. Все. Я раскрыл свои карты и ждал реакции. Я сказал то, о чем мог знать только из его письма в «Юность». ...Но он молчал тоже. Он словно не слышал или не отнес сказанное к себе. Я пошел в последнюю атаку:

— Но даже у такого неудачника еще не все потеряно, — всегда есть время схватиться за голову, задуматься над жизнью и над самим собой... И если ты почувствуешь, что занят не своим делом, черт с ним, иди на все, только чтобы повернуть течение жизни и впредь никогда, ни для каких выгод не изменять своим склонностям и идеалам.

Мой собеседник слушал и усмехался.

— Для этого нужно немного, — сказал он, — знать свои склонности и идеалы...

— Но если вы подписываетесь, что учились не по призванию и работаете не по профессии, значит, вы знаете свое призвание и не забыли профессию?

— Простите, кто подписывается?

— Я о вашем письме в «Юность».

— О каком письме?... О каком моем письме?

Он был растерян. Я еще больше.

— Разве это не вы изрекли: «Одних жизнь гладит по голове, других бьет по голове. И это нужно знать?»

Хозяин теперь уже молча и угрюмо смотрел на меня.

— Как ваша фамилия? — задал я и вовсе глупый вопрос.

Он назвал... Это был совсем другой человек.

Извиняясь, я заспешил. Я сказал, что засиделся. А настоящего Левинова я так и не нашел. Видно, автор письма подписался чужой фамилией...

В конце концов тут не может быть третьего мнения: или — или. Или стремиться «выбиться в люди» и, поставив себе именно это самоцелью, стремиться хапнуть должность получше, такую, чтобы помогла возвыситься так или иначе над окружающими.

Или усмехнуться советам неудачников (или успешных хапуг — все равно), учившихся не по призванию и работающих не по специальности, и искать своего пути в жизни, пути по призванию, по влечению сердца и своей профессиональной деятельностью активно вмешиваться в жизнь, чтобы творческим мышлением и трудом изменить ее согласно своим идеалам.

г. Орел.

Л. ТИМОФЕЕВ



Анастас Микоян

Бакинское подполье при английской оккупации (1919 год)

Из воспоминаний

В ДНИ ЗАБАСТОВКИ

Центральный стачечный комитет, как я уже говорил, назначил начало всеобщей забастовки на 6 мая, установив, что сигналом к началу стачки будет служить прекращение подачи электрического тока к 3 часам ночи на 6 мая. Как помнится, все предприятия и учреждения города были разделены на три группы. В первую входили электростанции, железная дорога и водный транспорт; во вторую — все остальные предприятия и организации, и, наконец, была еще третья, резервная группа — водопровод, бойни, больницы и кооперативы.

Понимая, что члены Центрального стачечного комитета, несмотря на все средства конспирации, все же могли быть арестованы, мы решили создать «запасной» комитет и заранее определили его персональный состав. В стачкоме первого состава должны были работать пять человек: Губанов, Караев, Микоян, Стура и Чураев. Во главе запасного стачкома мы утвердили Гогоберидзе. Кроме того, опять-таки на всякий случай, мы организовали еще и третий состав стачкома во главе с Анашкиным. Было решено, что, пока действует первый состав, все остальные товарищи — из второго и третьего состава стачкома — не принимают участия в руководстве забастовкой, а работают на своих местах в Президиуме Рабочей конференции. В случае ареста первого состава второй состав автоматически заступает на его место, причем предусматривалось, что кандидаты в члены

Президиума Рабочей конференции также автоматически в этом случае становятся членами Президиума. Запасным стачкомам было поручено, по согласованию с районами, подобрать запасных районных представителей в Центральный стачечный комитет. Руководство проведением стачки на каждом предприятии было поручено заводским и промышленным комитетам. Было принято также решение мобилизовать в распоряжение Центрального стачечного комитета двадцать ответственных работников для выполнения всякого рода поручений комитета во время забастовки. На комитеты молодежи была возложена обязанность выделить необходимое количество лиц для организации охраны стачечных комитетов: они должны были нести наружную охрану зданий, в которых заседали стачечные комитеты, предупреждать об угрозе появления полиции, а также выполнять всевозможные технические поручения стачкома.

Условия проведения стачки диктовали необходимость строжайшей конспирации всей нашей работы. С этой целью было решено: руководителям стачки не появляться в рабочем клубе — легальном центре нашего движения; проводить заседания стачкома ежедневно около двух часов и всякий раз в другом помещении; места проведения заседаний были, как правило, засекречены. Приглашаемые из районов приходили обычно в рабочий клуб, откуда наши молодые конспираторы провожали их небольшими группами к месту заседания. Никто из них не имел права покидать помещение до окончания заседания. Делалось это для того, чтобы какой-нибудь случайно проникший к нам провокатор не мог уйти с заседания до его окончания и тем повредить нам. Для поддержания связи между членами Централь-

Продолжение. Начало см. «Юность» за 1967 год №№ 11, 12; за 1968 год №№ 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11.

ного и районного стачечных комитетов были установлены, явки в рабочем клубе, а в случае его закрытия — в союзе печатников и в союзе нефтепромышленных рабочих.

Как было условлено, ровно в 3 часа ночи погас свет. Забастовка началась.

Рабочие и служащие железнодорожного и водного транспорта начали забастовку накануне. Теперь к ним присоединились предприятия и организации второй очереди.

Но на всех ли предприятиях рабочие бастуют? Вопрос этот, естественно, тревожил каждого из нас. Ждали утра, когда из районов должны были поступить сводки.

Боясь, что правительство, ожидая забастовку, могло этой же ночью арестовать рабочих на электростанциях и прислать туда штрейкбрехеров, чтобы снова пустить электростанции в ход, мы послали туда специального человека с поручением снять и спрятать в надежное место основные части и детали машин, без которых электростанции не могли работать. Особенно мы опасались за Баилловскую электростанцию, где еще сильно было влияние эсеров.

Надо сказать, что вообще бакинские электростанции — а их здесь было три: на Баиллове, в Белом городе и Балаханах — должны были сыграть решающую роль в забастовке. Во-первых, нельзя не учитывать огромного психологического воздействия на население внезапно наступившей полной темноты в городе, а во-вторых, отключение электроэнергии лишило возможности работать всякого рода штрейкбрехеров, если бы таковые нашлись среди бакинских рабочих.

Утром стало известно, что все намеченные по нашему плану предприятия города бастуют. Немедленно начались аресты вожakov рабочих с целью обезглавить движение и разложить его. Последнее особенно активно делалось среди рабочих-азербайджанцев, где наше влияние было еще недостаточно сильным. Власть применяли обман, ложь, запугивание. В результате в отдельных местах, где большинство составляли мусульмане, стачка началась недостаточно решительно, а в некоторых случаях рабочие даже соглашались продолжать работать. Плenum стачкома, собравшись в связи с этим 6 мая, заслушал сообщения о положении дел по каждому району и дал соответствующие директивы.

В целом забастовка шла хорошо и дружно. Правительство продолжало принимать репрессивные меры: самых квалифицированных рабочих электростанций арестовывали и силой заставляли работать. Несколько человек на Баиллове были таким образом задержаны. Стачком немедленно распорядился переслать квалифицированных рабочих электростанций на время стачки в другие районы и так их устроить там, чтобы полиция не могла их найти. Это было сделано. Потом выяснилось, что на Баилловской станции наши товарищи не успели вовремя спрятать машинные части. Одним словом, беспорядков было выявлено немало. Мне пришлось даже специально ездить в Белый город, чтобы через наших товарищей все же добиться выполнения решения об остановке электростанции.

Не находя рабочих, правительственные чиновники арестовывали и изгоняли из квартир их жен и детей. Репрессии все усиливались. Однако если они и влияли в отдельных случаях на некоторых мусульман-рабочих, то совершенно не достигали цели в отношении других, сознательных рабочих, которых все эти репрессии только еще более озлобляли.

Правительство, английское военное командование

и все национальные группы буржуазии, обычно враждующие между собой, объединились теперь единым фронтом против нас. Широко применяли они провокации и клевету. Жандармы, полицейские и агенты правительства распространяли среди мусульман-рабочих всяческие слухи, вроде, например, того, что забастовка устроена не для улучшения жизни и быта азербайджанских рабочих, а специально русскими и армянами против Азербайджана в целом и мусульман в частности, что русские вооружены и готовятся устроить резню мусульман.

В те дни не бастовала только одна газета «Азербайджан»: наборщиками в типографии этой газеты были специально подобраны реакционно настроенные мусаватисты. С первой до последней страницы эта газета была заполнена руганью и клеветой в наш адрес.

В частности, 8 мая в этой газете было опубликовано состряпанное по указке английских оккупантов так называемое правительственное обращение, в котором азербайджанское буржуазное правительство, искажая и фальсифицируя смысл и цели забастовки, старалось создать вокруг нее удобное ему и оккупантам общественное мнение. Признавая объявленную Рабочей конференцией всеобщую забастовку политической, «преследующей цели, направленные против основ Азербайджанской республики, государственности, и руководимой чуждыми азербайджанской демократии большевистски настроенными элементами и агентами Совдепии...», это обращение призывало бакинских рабочих продолжать работу. Используя политику «кнута и пряника», авторы обращения предусматривали поручение министру труда «...обсудить совместно с предпринимателями и рабочими справедливые части экономических требований рабочих». Однако, не будучи, очевидно, уверенными, что рабочие откликнутся на все эти посулы, власти формулировали и прямую угрозу расправиться с рабочими, если они не приступят к работе. Они прямо заявляли, что «нарушители нормального течения работ в правительственных, общественных и частных учреждениях будут караться по законам военного времени».

Наряду с этим правительственным обращением газета поместила на первой же странице «Воззвание от Бакинского комитета партии «Мусават». В нем без обиняков, прямо говорилось: «Большевики обманывают рабочих, толкают их на опасный путь, толкают их на авантюристическую забастовку. И при этом говорят вам, будто эта забастовка экономическая. Это ложь! Эта забастовка носит политический характер и преследует большевистские цели... Не верьте, товарищи, замаскированным авантюристам и лгунам».

Все наши противники стремились всячески смазать значение наших экономических требований и свести все на «политику», причем представить дело так, что будто бы большевики — эти «агенты» Советского правительства — хотят устроить гражданскую войну, вырезать мусульман и т. п. Та же газета «Азербайджан» в статье под названием «Правда о забастовке» 8 мая возвещала, что «...большевики немедленно внесут в налаживающуюся жизнь Азербайджана кровавый кошмар межнациональной и политической неприимой резни, все ужасы которой в достаточной мере уже известны бакинским пролетариям... Политические маньяки из рабочего клуба для достижения этой цели прибегли к обычным демагогическим приемам самой прозрачной лжи и бессмысленным запугиваниям рабочих масс грядущей безработицей и голодовкой».

Никак не реагировать на подобные провокации буржуазной печати было нельзя. Предвидя, что пе-

чатная агитация может сыграть сильнейшую роль в деле поддержания забастовки, мы решили еще на первом заседании стачкома выпустить «Известия стачкома». Выпуск был поручен члену правления Союза печатников Аршаку Хачиеву. Несмотря на преследования полиции и другие трудности, нам удалось выпустить два номера этих «Известий» в разных типографиях, захваченных рабочими, но полиция вскоре заняла эти типографии и не дала возможности продолжать выпуск газеты. Тогда мы пошли на выпуск небольших прокламаций.

Президиуму Рабочей конференции было поручено выпустить специальное обращение к английским солдатам, в котором разъяснить экономический и мирный характер нашей забастовки и призвать их не вмешиваться в это дело, потому что это такая же забастовка, какие устраивали у себя на родине и английские рабочие, борясь за экономические интересы. Мы предупреждали английских солдат, что их командование попытается навязать им роль кровавых палачей голодных бакинских рабочих.

Помню, когда текст этого обращения был готов, переведен на английский язык и отпечатан на листках типографским способом, мы поручили распространение этих листовок среди английских солдат бакинским девушкам — членам Интернационалистского союза рабочей молодежи. Они и до этого самоотверженно помогали нам в выполнении различных партийных поручений. А тут мы считали, что ни у одного английского солдата или матроса не поднимется рука против девушек за то, что они раздают им листовки, в то время как мужчины могли быть за это арестованы. Надо было видеть, с каким воодушевлением и с какой радостью эти девушки потом нам докладывали, как хорошо удалось им без всяких инцидентов раздать листовки!

Стачка шла тяжело, трудно. Хотя она и была всеобщей, но на деле нам приходилось выдерживать борьбу буквально на каждом предприятии, в каждом районе против многочисленных агентов правительства, полицейских приставов и жандармов, все время старавшихся мешать нам: давать на заводах ложные гудки, запугивать рабочих, терроризировать их, арестовывать и т. п.

Это влияло, конечно, на некоторую часть рабочих, которые через несколько дней после начала стачки кое-где стали приступать к работе. В основном же большинство рабочих держалось героически.

Полиция усиленно разыскивала членов стачечного комитета. Мы работали день и ночь. Иногда приходилось в течение дня по нескольку раз менять места заседаний исполкома стачкома, ежедневно менять места заседаний пленумов стачкома. В районах все время шли аресты членов местных стачечных комитетов, которых полиции удавалось изловить. Но, несмотря на это, руководящие органы продолжали действовать: вместо арестованных в строй вступали запасные активисты.

8 мая Центральный стачечный комитет получил через рабочий клуб предложение от министерства труда азербайджанского буржуазного правительства прийти на переговоры. Предварительным условием этих переговоров мы поставили: освобождение всех арестованных, немедленное прекращение репрессий и провокаций и неприкосновенность нашей делегации.

Министерство дало согласие на эти требования, и мы — Караев, Чураев и я — три представителя, избранные стачкомом, пошли вечером в министерство труда.

Поднявшись на второй этаж, мы вошли в большой зал заседаний. Председательское место за столом занял министр Сафикюрдский, справа от него, по его приглашению, сели мы, представители рабочих. Напротив — представители капиталистов: три тучные, пожилого возраста персоны, не могущие, мягко говоря, вызвать никакой симпатии. Один из них был русский, другой — азербайджанец, а третий — армянин. Чуть поодаль сидели фабричные инспектора, а также член парламента Абилов. Особняком держался представитель английского командования капитан Вальтон.

Мы заранее условились, что главную тяжесть переговоров возьмут на себя Чураев и Караев. Надо сказать, что Чураев лучше всех нас знал условия коллективного договора и был в курсе всех деталей борьбы за него. Что касается Караева, то он должен был «нажимать» на значение вывоза нефти в Астрахань, настаивать на налаживании товарообмена с Советской Россией, обосновывая его важность не только для бакинских рабочих, но и для всей экономики Азербайджана.

Надо сказать, что они весьма обстоятельно обосновали наши требования, показав всю безвыходность положения бакинских рабочих и доказав неизбежную гибель нефтяной промышленности, разорение Баку и голод, если вывоз нефти в Астрахань не будет налажен немедленно.

Фабричные инспектора, Абилов и английский представитель все время молчали и никакого участия в переговорах не приняли.

Все три капиталиста выступали по очереди и горячо спорили, считая для себя неприемлемым ряд важных пунктов договора. Они заявляли, что если будет разрешен вывоз нефти в Астрахань, то они вообще отказываются подписывать какой бы то ни было коллективный договор.

Когда переговоры еще продолжались, я, отойдя от стола, подошел к капитану Вальтону и спросил, передал ли он английским солдатам приглашение Рабочей конференции выделить своих делегатов, как я об этом просил его. Он ответил, что приглашение передано им командованию, которое, наверное, сообщило о нем солдатам. Тогда я задал вопрос: как понравилось ему наше обращение к английским рабочим по поводу забастовки. Вальтон сказал, что, к сожалению, и наши первомайские плакаты и обращение были написаны на очень плохом английском языке, со многими ошибками, и их трудно было ему прочитать. На это мне пришлось ответить с улыбкой, что, когда в Баку будет установлена Советская власть, мы пригласим нашим переводчиком его самого и тогда наши обращения и прокламации будут более грамотными. Он довольно кисло улыбнулся.

Надо сказать, что роль министра Сафикюрдского на этом совещании была довольно жалкой. Он ссылаясь на то, что английское командование не разрешает вывоз нефти в Астрахань, рассматривая это как помощь большевикам, и что они — азербайджанское правительство — пойти на это тоже не могут. Что касается коллективного договора, то он заявил, что будет добиваться, чтобы промышленники подписали такой договор, за исключением ряда пунктов, в частности правовых (прием на работу, увольнение с работы и т. д.). Кроме того, он предложил нам меньшее повышение зарплаты, чем мы требовали.

Прения шли долго, около трех часов. Нам стало ясно, что переговоры никаких практических результатов не дадут.

Тогда я взял слово и откровенно заявил министру примерно следующее. Мы понимаем, что вывоз нефти — это поддержка не только для бакинских рабочих, но и для Советской России, и мы за такую поддержку, потому что лучшим другом азербайджанского народа являются не английские империалисты, а Советская Россия. Вместе с тем мы ничего не имеем против независимости Азербайджана, и Советская Россия тоже не будет добиваться свержения ныне существующего в Азербайджане правительства, если оно согласится продавать России нефть. Здесь экономические интересы Азербайджана и Советской России полностью сходятся. Это видно из того, сказал я, что в вашей правительственной декларации было заявлено о желании установить товарообмен с Астраханью. Теперь вы отклоняете это ввиду того, что английское командование против. Где же тогда независимость Азербайджана? Чьи интересы вы защищаете — английских оккупантов или Азербайджанского государства? Скажите нам, господин министр-социалист, об этом прямо.

Сафикюрдский был очень смущен. Он пробормотал что-то очень невразумительное о том, что «нельзя не считаться с реальным положением», и предложил сторонам сказать свое окончательное мнение.

Чураев заявил, что наша делегация не имеет полномочий отступать от требований, выдвинутых стачечным комитетом, без того, чтобы не доложить ему об этом, так как только он и может принять окончательное решение. «Завтра мы соберем Центральный стачечный комитет, обсудим ваши предложения и дадим свой ответ».

Капиталисты, в свою очередь, обещали доложить о наших переговорах Союзу нефтепромышленников. Министр же в конце заседания заявил, что на время ведения переговоров сохраняется в силе обещание правительства не производить арестов стачечников.

На этом переговоры закончились.

Только мы вышли из подъезда и сделали несколько шагов, как нас окружили пятеро здоровенных полицейских и объявили нас арестованными. Как мы ни объясняли, что находились в министерстве труда, куда были приглашены для переговоров правительства, что нам гарантирована неприкосновенность, — ничто не помогало. Видимо, Сафикюрдский просто надул нас, как последний мошенник, не сдержал своего слова. Караев, как член парламента, стал настаивать, чтобы полицейские вместе с нами поднялись к министру труда, который сейчас у себя в кабинете, и спросили у него, как с нами поступить. К счастью, то, что Караев был депутатом парламента, произвело впечатление на полицейских. Они послушались, и мы вместе с ними вошли в кабинет министра. Мы сказали ему:

— Как же нам относиться к вашему честному слову министра-социалиста? Неужели у вас нет храбрости сдержать свое слово?

Сафикюрдский прикинулся очень смущенным, удивленным, рассердился на полицейских и приказал нас отпустить. Выйдя из здания, мы быстро по темным закоулкам разошлись в разные стороны, чтобы опять не попасть в какую-нибудь ловушку.

8 мая английский генерал Мильна со свойственной ему откровенностью солдафона объявил, что английские войска оккупировали Закавказье для того, чтобы «поддерживать закон и порядок до окончательного решения территориальных вопросов нынешней мирной конференции».

Я, нижеподписавшийся, будучи главнокомандую-

щим английскими силами в Закавказье, сим объявляю:

Обязанностью жителей является совершенно спокойное поведение и елико возможное занятие своими делами... Но если они отклоняются от исполнения своего долга в этом отношении, то необходимость военного времени вызывает самое применение наказания... Вообще переступление какого-нибудь из предписаний сего объявления будет передано военному суду и наказано смертной казнью, или каким-нибудь меньшим наказанием, в зависимости от обстоятельств дела».

Так обычно столетиями поступали английские колонизаторы всюду и в Африке и в Азии. «Бравый» генерал забыл только на этот раз, что это не те времена и не те люди...

Сначала мы выдерживали конспирацию образцово. Молодежь блестяще поставила связь, проявив при этом большую находчивость, преданность и подлинное геройство. Но с каждым днем соблюдать конспирацию становилось все труднее и труднее. Было очень сложно находить новые помещения, особенно для таких больших собраний, как пленумы стачкома.

Утром 9 мая по районам были назначены собрания рабочих: надо было не только собрать информацию о ходе борьбы, но и поддержать среди рабочих настроение, поднять их боевой дух. Было решено, что все члены исполкома стачкома разойдутся по районам и выступят на этих рабочих собраниях.

Мы с Чураевым отправились в Черный город, на собрание в нобелевскую столовую.

Там все было переполнено. Рабочие, которым не удалось попасть в столовую, толпами стояли на улицах, где рядами выстроились и жандармы.

Выступления были довольно краткими, но среди рабочих-черногородцев чувствовался необычайный моральный подъем. Местная молодежь совершенно изумительно организовала нашу охрану от полиции. Когда после окончания собрания мы сошли с трибуны и стали проходить через толпу людей, сопровождавшие нас молодые рабочие по несколько раз меняли наши шапки. Они вывели нас какими-то только им ведомыми закоулками и подворотнями на улицы, усадили в ожидавший фазтон. Мы отправились на очередное заседание пленума стачкома, которое проходило в помещении Союза нефтепромышленных рабочих.

На этот раз конспирация была нарушена: в этом месте мы собирались уже второй раз. Однако вокруг была поставлена надежная охрана из молодежи.

В небольшой комнате нас было человек двадцать. Выслушивая доклады о положении в районах, мы тут же давали указания районным руководителям. Стало известно, что английский командование поставило на Баилловской электростанции английский инженерный батальон и пытается пустить электростанцию в действие. (Как потом выяснилось, это не только им не удалось, но из-за незнакомства с системой два их человека сгорели.) Труднее всего было на железной дороге в Баладжарах, где правительству все-таки удалось отправить поезд.

Еще в начале стачки ряд эсеров и меньшевиков, отстраненных от выборных должностей, предложил нам свои услуги для различных поручений. Мы на это согласились, тем более что некоторые эсеры уже работали у нас по таким же поручениям. В Баладжарах тогда у нас не было своего работника, и эсер Ребрух был послан туда в качестве нашего уполномоченного. Надо сказать, что эсеры, пришедшие к нам, в первые дни довольно исправно выпол-

няли все задания стачкома. Но чем напряженнее становилась борьба, тем быстрее скатывались они к анархическим действиям. В Баладжарах, например, они предлагали разобрать рельсы, взорвать путь, чтобы помешать движению поездов, часть которых правительству все же удалось с помощью штрейк-брехеров отправить, применив насилие над отдельными железнодорожниками. Они предлагали также взорвать линию электропередачи в город и т. п.

Понятно, что все эти предложения были нами решительно отвергнуты.

НАШ АРЕСТ

Во время заседания Центрального стачкома я вышел в соседнюю угловую большую комнату, где тоже была контора профсоюза, и вдруг увидел полицейских, направивших на меня со всех сторон дула маузеров. Раздался окрик «Стоять!». Я тут же бросился обратно в комнату заседания и сообщил товарищам, что мы окружены полицией. Только я успел сказать им, что надо уничтожить все бумаги, которые могли хоть сколько-нибудь нас скомпрометировать, как в комнате уже появился пристав с двумя жандармами.

Должен сказать, что все присутствующие товарищи проявили при этом удивительное спокойствие и полное хладнокровие. Нам приказали выйти в большую комнату. Нужно было успеть уничтожить бумаги. Их у меня лично было довольно много. Я стал рвать их на мелкие клочки. То же делали и другие товарищи. В суматохе нам удалось, к счастью, все бумаги уничтожить.

В общей сложности нас оказалось довольно много — человек сорок: кроме членов стачкома, в комнате находились представители из районов, молодые рабочие-связисты и работающие на ротаторе, который мы к тому времени приобрели для выпуска листовок. Дело в том, что полицией была захвачена типография, где печаталась газета «Известия стачкома».

Нас вывели на улицу, окружили большим нарядом полицейских и повели в жандармское управление. Мы шли по улицам города с высоко поднятыми головами и громко пели революционные песни. Прохожие останавливались, с интересом и видимым сочувствием глядя нам вслед.

В жандармском управлении началось выяснение наших фамилий. По дороге мы сговорились между собой, что основные руководители стачки — Чураев, Анашкин и я — возьмут на себя всю ответственность. Коваль и Мирзоян, которых полицейские хорошо знали в лицо, назовут свои подлинные фамилии, но должны отказаться признать свое участие в руководстве стачкой. Большинство товарищей, которых полиция знала плохо или совсем не знала в лицо, должны были скрыть свои настоящие фамилии и отрицать участие в руководстве стачкой. Все остальные, которым особая опасность не угрожала, фамилий своих скрывать не должны.

Когда происходила перепись, член исполкома стачкома Губанов, который по уговору должен был скрыть свою фамилию, вдруг почему-то заколебался и назвал свою настоящую фамилию. Среди нас был недавно приехавший из Тифлиса Георгий Стуруа. Полиция знала, что он входит в состав стачкома, но не знала его в лицо. Начальник сыскного отделения спросил: «Кто здесь Стуруа?» Мы ответили, что Стуруа уже уехал обратно в Тифлис. Так полиции и не удалось установить, что среди нас был Стуруа, который при опросе назвался Ахабадзе.

Арестовали также члена стачкома Караева. Но он, как я уже рассказывал, был депутатом парламента (от партии «Гуммет»). Поэтому, воспользовавшись своим депутатским положением, он потребовал своего немедленного освобождения и был действительно сразу же освобожден.

После окончания процедуры выяснения личности арестованных начальник сыскного отделения заявил, что мы пятеро: Чураев, Мирзоян, Коваль, Анашкин и я — изолируемся от всех остальных арестованных. Кроме того, мне и Ковалю было объявлено, что мы арестованы по распоряжению английского штаба за подготовку вооруженного восстания и потому находимся в распоряжении английского командования. По этому поводу сохранился любопытный документ — донесение начальника Бакинской сыскной полиции на имя бакинского губернатора:

Вх. № 8070. Спр. акт. 12-32
М. В. Д. ГУБЕРНАТОРА АРЕСТАНСКОЕ

НАЧАЛЬНИК БКИНСКОЙ
СЫСНОЙ ПОЛИЦИИ
11 МАЯ 1919 г.
№ 1913
Г. БАНУ.

Бакинское губернаторское сыскное отделение

При сем представляю на распоряжение ВАШЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА протокол дознания, вместе с постановлением о задержании лидеров Бакинских большевиков МИКОЯНА, КОВАЛЯ, АНАШКИНА, ЧУРАЕВА и МИРЗОЯНА. При этом докладываю, что Микоян и Коваль арестованы по сообщению Английского штаба, как явные вредные элементы /большевики/.

Начальник Сыскной полиции *А. Бекмурзаев*

Потом нас пятерых повели в сыскное отделение полиции. Остальные товарищи остались в жандармском управлении, не зная, что с ними будет дальше. Пока нас вели по улице, большая группа молодежи — членов Интернационалистского союза рабочей молодежи — следила, куда нас ведут.

Нас поместили в темной и грязной, с разбитыми окнами комнатке сыскного отделения. Но все мы настолько устали, что тут же улеглись на полу, чтобы хоть немного поспать. В течение последних пяти дней я спал, может быть, всего лишь несколько часов. Это вполне понятно. Но и тут поспать не удалось. Еле успели чуть прикорнуть, как из соседней комнаты послышались страшные крики и вопли, раздражающие сердце. Полицейские избивали там каких-то арестованных. Эти крики избиваемых людей действовали, конечно, и на наше состояние. Думалось, что скоро очередь может дойти до нас.

Наконец нас вызвали в кабинет к начальнику Бакинской сыскной полиции Фаталибекову. Он стал спрашивать, кто мы такие. Мы назвали свои фамилии и наше отношение к политическим партиям.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1913

1919 года Мая 9 дня. — Я, Начальник Бакинской Сысской полиции ФАТАЛИБЕКОВЪ, на основании обязательного постановления Азербайджанского Правительства, отъ 24 Июля 1918 г. отъ 2 § 1. ПОСТАНОВИЛ задержанныхъ сего числа въ засѣданіи стачечнаго комитета: Анастасія Ивановича МИКОЯНА, Ивана Ивановича АНАШКИНА, Андрея Емельяновича ЧУРАЕВА, Степана Семеновича КОВАЛЯ и Левана Исаевича МИРЗОЯНЦА заключить въ Бакинскую центральную тюрьму съ зачисленіемъ содержаніемъ за Бакинскимъ Губернаторомъ, въ административномъ порядкѣ, которому представить протоколъ съ настоящимъ постановленіемъ. — Копію съ сего постановления представить Товарищу Прокурора и Прокурору Азербайджанской Судебной Палаты. —

Начальникъ Сысской полиции *Фаталибековъ*

Содержаніе сего постановленія намъ объявлено: *А. Микоянъ, И. Анашкинъ, А. Чуревъ, С. Коваль, Л. Мирзоянъ*

Фаталибеков начал свое нападение с Чурева и Ковалья, стараясь уязвить их самолюбие и добиться, чтобы они признали себя большевиками. Он говорил им: «Вы трусы, вы никогда не сознаетесь, а нам вся эта канитель надоела». Особенно зло он нападал на Ковалья, упорно заявлявшего, что он не большевик. Видимо, у Фаталибекова было указание англичан арестовать Ковалья во что бы то ни стало, независимо от его участия в стачке. Мы заступились, заявив, что из нас пятерых только трое являются большевиками — Мирзоян, Анашкин и я. Чурев же — социал-демократ, меньшевик, а Коваль — беспартийный (через несколько месяцев после этого оба они вступили в нашу партию).

Фаталибекову все не верилось, что они не большевики, и он долго терзал их своими вопросами на эту тему, пока мы не потребовали прекратить этот бессмысленный допрос. Тогда он взял с нас подписку, что мы трое большевики, а Коваль и Чурев никакого отношения к партии большевиков не имеют. Нужно сказать, что при этом мы сделали одну ошибку: вместо того, чтобы написать просто, что мы являемся коммунистами или большевиками (в этом случае еще можно было бы при надобности кое-как изворачиваться), мы написали, что являемся членами Российской коммунистической партии (большевиков), совершенно упустив из виду, что эта партия в Азербайджане признана вне закона: за одну только принадлежность к РКП (б) можно было легко попасть в лапы английских оккупантов.

После Фаталибекова нас передали на допрос к его помощнику Бачурину, царскому полковнику, стороннику Деникина. Он служил в азербайджанской полиции, хотя Деникин и не признавал Азербайджана и готов был при первом удобном случае разогнать «всю эту мишуру». Бачурин был уже в летах, упитанный, с длинными усами, явно пристрастный к алкоголю, что было заметно по его красному носу. Полковник никак не мог понять, что такое Рабочая конференция, Президиум конференции,

рабочий клуб, стачком. Он безбожно путал все эти понятия. Видно было по всему, что он очень болтливый человек: увлекшись разговором с нами, он рассказывал нам, например, что занимается литературой, даже считает себя драматургом — пишет какие-то трагедии. Желая доказать свое глубокое понимание идейной стороны борьбы большевиков против капитализма, за социализм, он сказал нам весьма «образно»: «Если бы над церковным куполом подвесить горячий шашлык, который вкусно пахнет, кахетинское вино, фрукты и другие яства в изобилии, то люди стали бы карабкаться по стенам купола вверх, желая поскорее добраться до шашлыка. При этом они стали бы скользить по стенам, падать, тащить один другого за руки, за ноги, умирать. Но никто из них никогда не сможет добраться до блаженной

цели. Так вот и ваша борьба. Неужели, господа, вам это до сих пор не ясно? Зачем вам портить свою жизнь? Зачем подвергать себя опасности в погоне за невозможным?»

Все эти «философские» рассуждения жандармского чиновника-белогвардейца нас здорово тогда развеселили. Мы не стали с ним, конечно, вести дискуссию на эту тему — попросту отшутились. По всему было видно, что он остался доволен самим собой. Потом он по очереди подробно, но без грубостей допросил каждого из нас: кто мы такие, откуда родом, где проживаем в Баку, какова наша партийная принадлежность и наше отношение к забастовке. При этом он добросовестно записал все наши показания и дал их нам на подпись.

Наконец часам к двум ночи вся эта канитель закончилась. Бачурин созвонился со штабом английского военного командования и запросил, как дальше поступить со мной и Ковалем, находившимися в непосредственном распоряжении английского военного командования. Куда нас направить — на военные корабли или в тюрьму? Получил распоряжение: пока направить всех в тюрьму.

Затем он составил за подписью Фаталибекова проект постановления о направлении всех пятерых в Бакинскую центральную тюрьму. Документ этот также сохранился в архиве.

Не имея с собой ничего теплого, мы попросили Бачурину послать кого-нибудь из полиции на квартиру Мирзояна, чтобы принести оттуда теплые носильные вещи (квартира эта была не конспиративная, ничего особенного там не было, поэтому, давая ее адрес, мы ничем не рисковали). Через некоторое время полицейский принес нам просимые вещи.

Только потом нам стал известен один курьез, связанный с приходом полицейского на квартиру Мирзояна. Оказывается, Мравян, приехавший из Тифлиса на Кавказскую краевую конференцию, в момент, когда ночью на квартире Мирзояна появился по-

лицейский, находился там. Испугавшись, что полицейский пришел за ним и собирается его арестовать, Мравян опрометью бросился бежать вниз по лестнице и впотьмах чуть было не разбился. К счастью, все окончилось благополучно.

Часа в три-четыре ночи нас повели в центральную тюрьму и посадили всех в одну камеру на пятом этаже. Это был корпус для смертников и вечных каторжников. Камеры здесь были с толстыми стальными дверьми, с маленькими отверстиями для глаза — волчками. На требование дать кровати нам ответили отказом, хотя, вообще говоря, кровати в камерах полагались. Расположились на цементном полу, но спали как убитые.

На следующий день в камеру пришел вице-губернатор. Мы снова потребовали кровати, а также просили перевести из этого корпуса в другое место — мы ведь пока еще не были ни смертниками, ни вечными каторжниками. Между прочим, помню, что я в шутку сказал тогда вице-губернатору, что лучшее оборудование тюрьмы необходимо в его личных интересах, ибо, почем знать, может быть, вместо нас сюда сядет впоследствии он сам. Не знаю, подействовал ли именно этот аргумент, или просто он оказался разумным человеком, но, во всяком случае, кровати нам предоставили.

Вскоре к нам стали поступать через уголовных заключенных записки от товарищей, арестованных за активное участие в забастовке: в этой тюрьме их сидело уже около двухсот человек. Они сообщали нам, что предъявили администрации тюрьмы ультиматум: перевести нас к ним, и если в назначенный час их требование не будет исполнено, они начнут разбивать двери. В тот же день нас перевели к товарищам на второй этаж. Видно, администрация не чувствовала уверенности в завтрашнем дне и побаивалась применять против заключенных оружие.

Приняли нас очень радушно. Условия здесь были несравненно лучше, даже не вполне тюремные. В то время как нашу камеру на пятом этаже держали взаперти весь день, здесь запирались лишь двери, ведущая в корпус. А двери камер внутри корпуса были открыты, и арестованные всего корпуса свободно общались друг с другом и гуляли по коридору.

По случаю встречи с нами экспромтом был устроен концерт с пением, танцами и декламацией. Всем было весело, хотя, конечно, каждый из нас с тревогой думал о том, что творится на воле. Ни у кого из нас не было еще сведений о том, как идет стачка, не сорвана ли она.

Некоторое время спустя вместе с продуктами мы получили с воли письмо от товарищей и листовку, выпущенную новым стачкомом. Оказывается, уже через час после нашего ареста был организован новый стачком. Через три-четыре часа им удалось выпустить первую маленькую листовку, в которой сообщалось рабочим, что члены стачкома арестованы, но действует новый состав стачкома и борьба продолжается. «Да здравствует победа бакинских рабочих!» — так заканчивалась эта листовка.

Большой радости мы себе тогда не могли представить. Однако все время мы думали, какую же политику дальше будут проводить наши товарищи, чем и как закончится стачка. Нам, изолированным в тюрьме, трудно было давать какие-нибудь советы на волю.

Вскоре вместе с продуктами нам была передана газета «Азербайджан» за 10 мая. В ней мы прочли заметку «К задержанию баржи с ору-

жием», в которой содержалось лживое сообщение о том, что в военном порту задержана баржа под названием «Белая», на которой обнаружено «четыре дальнобойных орудия и к ним масса снарядов, пулеметы, большой запас винтовок и около двух миллионов винтовочных патронов... По достоверным сведениям, баржа эта осталась от бывшего «Центрокаспия» и в связи с последними событиями намеревалась вооружить бастующих рабочих-большевиков».

Мы потребовали от администрации тюрьмы разрешения написать заявление протеста в социалистическую фракцию парламента для оглашения его в парламенте и опубликования в печати. Разрешение было получено, и мы написали текст, разоблачающий всю ту провокацию и клевету, которые были направлены против нас газетой «Азербайджан».

В архивах сохранилось письмо прокурора суда от 13 мая на имя начальника Бакинской центральной тюрьмы, в котором он писал: «Прилагаемое при сем заявление содержащихся в тюрьме Чураева, Микояна, Анашкина и Коваля предлагаю возвратить заявителю, разъяснив им, что таковое мной не могло быть пропущено, ввиду помещения в нем оскорбительных для должностных лиц выражений».

Несколько позднее это наше заявление все же каким-то образом попало в меньшевистскую газету «Искра» и было опубликовано там 20 мая 1919 года. Номер этой газеты сохранился.

«Из Центральной тюрьмы.

Заявление

В ПАРЛАМЕНТСКУЮ ФРАКЦИЮ СОЦИАЛИСТОВ —
ДЛЯ ОГЛАШЕНИЯ В ПЕЧАТИ И НА ЗАСЕДАНИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА.

Во всех своих выступлениях, докладах, решениях и действиях Бакинская Рабочая конференция, ее Президиум и Центральный стачечный комитет всемерно подчеркивали, что забастовка является чисто экономической, сколько бы наши противники с провокационной целью ни придавали ей политический характер. И действительно, выставленные требования — коллективный договор и товарообмен, — признание даже правительственной декларации и пути, намеченные к их достижению, — ничего другого не говорили.

Однако газета «Азербайджан» и официальные представители власти, основываясь на заведомо ложных фактах и документах, всячески обманывали и доказывали, что забастовка политическая, ставящая себе целью вооруженное восстание против независимости Азербайджана, чем они и оправдали свои жандармские репрессии против рабочих, повальные аресты и применение вооруженной силы для подавления забастовки.

Представители власти и жандармерия николаевских времен в своем провокационном усердии зашли так далеко, что на баржах в городе «обнаружили» целые склады вооружения, патронов, винтовок, бомб и дальнобойных орудий, принадлежащих якобы конференции.

Все эти «факты» и «вещественные доказательства» настолько явно провокационны, ложны, что нам нечего их опровергать. Но так как они в среде народных масс Азербайджана могут приобрести тень правдоподобности, мы считаем необходимым дать отпор провокационной «деятельности» зарвавшихся клеветников.

Обнаруженное на барже многочисленное снаряжение является наследием Бичерахова и разоруженной Каспийской флотилии и в течение месяца — по распоряжению и с ведома английских властей — находилось в ведении начальника порта денкинского агента капитана Григорьева, что прекрасно известно как азербайджанской полиции, так и правительству. Воспользовавшись удобным моментом борьбы, без капли стыда и угрызения совести правительство «обнаружило» давно известный ему склад оружия Деникина и с легкой руки объявило его «собственностью» Рабочей конференции. Таких складов денкинцев, созданных с помощью и ведома властей, бы-

ло немало и, наверно, еще есть в городе, которые «обнаруживаются» и приписываются сейчас конференции. Когда обстоятельства не позволяли с большой головы свалить на здоровую (как это было при аресте Воскресенского, произведенном только по настоянию социалистов), власти совершенно умалчивали о найденных складах оружия официального представителя деникинской контрреволюции Воскресенского, а его самого отпустили немедленно и дали ему возможность выехать к Деникину «с докладом».

Во всех этих действиях правительственных агентов мы усматриваем тайный их сговор с деникинцами и открытое соглашение с империалистическими оккупантами Закавказья — с целью обезглавить бакинский пролетариат, сделать ему кровопускание, чтобы на невинных трупах голодных рабочих могла прочнее засесть объединенная реакция чужеземных оккупантов-империалистов, местных и российских контрреволюционеров.

Но мы предупреждаем их, что им не удастся вовлечь бакинский пролетариат в кровавую авантюру. Все действительные, а не подложные факты доказывают, что бакинский пролетариат не собирался устраивать вооруженного восстания против Азербайджана, а добивался путем мирной забастовки осуществления своих назревших экономических требований. Пусть докажут зарвавшиеся провокаторы, что при аресте членов Центроствачкома и районных стачкомов или при обыске их квартир был найден хоть один револьвер, одна бомба, хоть одно слово на клочке бумаги о вооруженном выступлении, хоть ничтожные следы подготовки военных действий. Этого никто не может сделать!

Кроме того, во всей работе Рабочей конференции, Центроствачкома и районных стачкомов принимали деятельное участие многие мусульмане-рабочие и не только социалисты, но и мусавитисты. Член парламента товарищ Караев, как товарищ председателя Рабочей конференции и член Центроствачкома, был в курсе всех дел, и без него ничего не делалось. К нашим делам также близко стоял т. Опилов — член парламента. Может ли кто-нибудь из них с чистой совестью сказать, что в нашей работе был хоть маленький намек или повод думать о вооруженной борьбе? Никто!

Если бы нашлись беспристрастные следователи или судьи, они посадили бы на позорную скамью подсудимых всех тех, кто мирную забастовку объявил вооруженным восстанием, подкрепляя это заведомо ложными фактами.

Кроме всего вышеизложенного, наклеим позором недостойный способ борьбы, примененный против нас министром труда и юстиции Д. Р. Сафинюрдским!

7 мая вечером после долгого обсуждения требований рабочих и предложений правительства министром труда и юстиции в присутствии фабричных инспекторов, представителей промышленников и английского командования от имени азербайджанского правительства официально заявил нам, что на все время переговоров гарантируется полная неприкосновенность — для спокойного обсуждения предложений правительства и мирной ликвидации забастовки. Мы доверились честному слову министра. На следующий день мы открыто, без необходимости мер предосторожности созвали представителей заводов и промыслов для доведения до их сведения предложений правительства и выяснения их мнения. Собрание было только открыто, когда вероломно оно было окружено большим отрядом полиции, мы все были арестованы, и вместе с нами много случайных лиц и рабочих с промыслов и заводов.

Доводя об этом до сведения всех граждан Азербайджана, мы выражаем бурный протест против недостойных способов, примененных азербайджанским правительством в борьбе с бакинским пролетариатом!

Центральная тюрьма, 11 мая 1919 года. 15-й корпус. 112-я камера. Подписи: Чураев, Микоян, Анашкин, Коваль.

От редакции. Это заявление было послано социалистической фракции парламента через прокурора.

Но заявление это им по адресу передано не было по какому-то формальному соображению («Искра» № 93. 20 мая 1919 года, стр. 3).

Итак, наше заявление в парламент не попало. Но в связи с этим стоит вспомнить, какую постыдную роль сыграли правые социалисты — члены парламента в отношении забастовки.

Как нам стало известно из газеты «Азербайджан», глава правительства заявил на заседании парламен-

та: «Правительство глубоко убеждено, что эта забастовка не имеет характера экономического, а преследует исключительно политические цели... У нас есть данные утверждать, что местные руководители Рабочей конференции действуют по указанию и планам российской совдепии... Агенты российской совдепии хотят восстановить местных рабочих против Азербайджанской республики и для успешности своей преступной работы вовлекают рабочих в забастовку, прикрывая политические свои цели якобы экономическими требованиями... Если придется, то правительство не остановится перед тем, чтобы выслать из пределов Азербайджана явных агентов совдепии...»

После выступления представителей партии парламентом была принята резолюция, в которой забастовка объявлялась «политическим выступлением против азербайджанской государственности» и вполне одобрялись «решительные мероприятия правительства».

Фракция социалистов не выступила против заявления правительства о характере забастовки и против угрозы применения репрессий в отношении забастовщиков. Правда, она не голосовала за эту резолюцию, но предложила свою формулу: «Выслушав объяснения правительства и одобряя мероприятия правительства, направленные к сохранению порядка и спокойствия, парламент переходит к очередным делам».

В этой формуле был трусливо обойден вопрос об экономическом характере забастовки, но зато открыто одобрялись мероприятия правительства «по сохранению порядка и спокойствия».

Тем самым социалисты одобряли репрессию правительства против участников забастовки. Это было саморазоблачением правых социалистов перед рабочими.

К нам в тюрьму доходили слухи, что среди некоторых товарищей, оставшихся на свободе, шли горячие споры по вопросу — прекращать забастовку или продолжать ее. Моряки, черноморские рабочие, большинство железнодорожников и вообще русские рабочие не хотели и слышать о прекращении забастовки.

Однако в Балаханах, Сураханах и в других нефтяных районах мусавитистам путем обмана, лживых обещаний и репрессий удалось заставить часть рабочих возобновить работу на предприятиях и отправить несколько поездов. Этому способствовало прежде всего то обстоятельство, что рабочие лишились своих подлинных вожаков: в ту пору многие из рабочих активистов (в том числе и азербайджанцев) сидели по тюрьмам. В Баку было арестовано не менее 200 руководителей партийных и рабочих организаций.

Не случайно число мусульманских рабочих, принимавших участие в забастовке, в эти дни уменьшилось. При этих условиях трудно было рассчитывать на длительную и успешную борьбу.

Меньшевики и эсеры, выступавшие раньше за стачку, теперь, столкнувшись с первыми трудностями, проявили малодушие, забили отбой и стали агитировать на местах за прекращение стачки. Однако они встретили сопротивление со стороны переродовых рабочих. Например, меньшевик Рохлин, думая «заработать капитал» на прекращении забастовки, попросил разрешения выступить на собрании черноморских рабочих с докладом о необходимости прекратить забастовку. Зная настроения тамошних рабочих, наши товарищи разрешили

ему такое выступление. И что же? Рабочие встретили Рохлина с возмущением, и он, оскандалившись, ушел ни с чем.

11 мая меньшевики, эсеры и мусульманские правые социалисты, сговорившись между собой, создали так называемое межпартийное совещание. Это собрание имело целью захватить в свои руки руководство бакинским пролетариатом за спиной законно избранного рабочими Центрального стачечного комитета и пойти на капитуляцию перед противником.

На это совещание был приглашен и представитель Бакинского комитета нашей партии. Однако, быстро поняв, что готовится очередное предательство, наш представитель отказался от участия в обсуждении вопроса о забастовке. Заявив, что совещание это неправомерно и что судьбами забастовки может заниматься только законно избранный Центральный стачком, он демонстративно покинул совещание.

Однако самозванное межпартийное совещание все же обсудило вопрос о ходе забастовки и приняло решение: прекратить забастовку немедленно и притом **без всяких условий**. Это предательское решение организаторы совещания сумели довольно широко распространить среди бакинских рабочих, и кое-кто на него «клюнул».

Тогда, учитывая создававшуюся очень сложную обстановку, Бакинский комитет партии при участии Филиппа Махарадзе после долгих споров решил снять основные требования забастовки, поставив, однако, обязательным условием ее прекращения немедленное освобождение всех арестованных и прекращение дальнейших репрессий.

Получив согласие азербайджанского правительства выполнить это требование, Центральный стачечный комитет принял 12 мая решение «прекратить забастовку, приступив к работе 13 мая, в 12 часов дня».

Однако прекратить забастовку оказалось делом далеко не таким простым и легким. Наиболее активно противодействовали этому моряки и черноморские рабочие.

Как потом нам рассказывал Саркис, за час до решения Центрального стачкома на площади Свободы состоялся большой митинг, на который собралось около шести тысяч рабочих и много моряков. У всех у них было боевое настроение — продолжать забастовку. Нашим ораторам-партийцам стоило большого труда убедить их в необходимости прекратить забастовку. И все же участники митинга постановили: «продолжать забастовку до освобождения арестованных».

Правительство же, добившись решения Центрального стачкома о прекращении забастовки, стало тянуть с выполнением своего обязательства об одновременном освобождении арестованных. Во всяком случае, прошло 12 и 13 мая, а никто освобожден не был.

Тогда только стало ясно, что принятая участниками митинга на площади Свободы резолюция о прекращении забастовки **после** освобождения из тюрем арестованных была более правильной, нежели решение Центрального стачечного комитета, поверившего правительству на слово.

В БАКИНСКОЙ ТЮРЬМЕ. МОЙ ПОБЕГ

Вскоре всех нас пятерых перевели в общий корпус Центральной № 1 тюрьмы. Там уже находилось 37 человек, арестованных вместе с нами 9 мая на заседании Центрального стачечного комитета. Арестованная в то же время единственная

женщина — Вера Городинская — содержалась в другом месте.

Таким образом, в общем корпусе разместилось 42 человека. Среди нас были представители многих национальностей и разных партий. Большинство составляли коммунисты и беспартийные рабочие-активисты, но были и деятели из партии эсеров и меньшевиков.

Помимо нашей «пятерки», 9 мая были арестованы: Р. Восканов, А. Мещеряков, Г. Семенский, О. Фокер, Л. Каплан, Мир Башир Касумов, И. Исакин, Н. Меркель, М. Махмудов, Е. Радионов, В. Ананьев, С. Поповянец, Г. Стурца, М. Лелихин, К. Цимон, П. Орлов, В. Городинская, Б. Ломинадзе, Гусейн Кули Кербалай Мухтар-оглы, Я. Шерин, З. Поконова, М. Царев, М. Залов, Ф. Дыганенко, Ф. Суденко, Г. Степанянц, Я. Бабенко, Н. Тюртюнов, С. Илюхин, И. Колубяшкин, Н. Ляховский, И. Гандюрин, Н. Померанцев, И. Благодичный, Т. Кривой, В. Ребрух, Н. Рогов, Ф. Губанов.

Все они на основании постановления азербайджанского правительства были заключены в тюрьму «сроком на один месяц», как говорится в сохранившемся постановлении Бакинского полицеймейстера ротмистра Гудиева за № 2223.

Чтобы наше «тюремное» время не пропадало даром, мы решили максимально использовать его для своего политического образования.

Пользуясь существовавшей в этой тюрьме возможностью передвижения арестованных внутри корпуса, мы собрали всех вместе в коридоре и организовали для них несколько лекций. Помню темы наших первых лекций: «Национальный вопрос и коммунистическая партия», «Исторический материализм».

С лекцией по первому вопросу выступил я, а по второму — Ломинадзе. Одновременно мы предложили присутствующим на лекциях образованным эсерам Шерину и Ребруху, а также меньшевику студенту-юристу Поповянцу выступить с содокладами. Они согласились. После их выступлений и началась общая дискуссия. Выступали как слушатели лекций, так и мы сами, лекторы.

Мне и Ломинадзе пришлось выступать по несколько раз. Надо сказать, что нам удалось убедительно раскритиковать позиции эсеров и меньшевиков, не оставив камня на камне от их аргументов. Все присутствующие на лекции — не только коммунисты, но и беспартийные — почувствовали силу коммунистических идей и слабость позиций наших оппонентов.

Содокладчики настолько были удручены всем этим, что на второй день вообще отказались участвовать в дискуссии. Трое оппонентов — два эсера и один меньшевик — ушли в свои камеры. А мы продолжали пропагандистскую работу еще несколько дней.

14 мая администрация тюрьмы сообщила нам, что вскоре все заключенные, кроме 10 человек, будут освобождены. В число десяти входили члены Президиума Рабочей конференции, из которых двое — я и Коваль — обвинялись в подготовке вооруженного восстания и, как преступники особо важные, числились за английским командованием.

К слову надо сказать, это обвинение Ковалья было полнейшим недоразумением. Выходец из анархистов, ставший потом нашим близким и хорошим товарищем, Коваль никогда не был коммунистом и

не помышлял о вооруженном восстании, занимаясь узкопрофсоюзными делами. Видимо, его фамилию по ошибке спутали с другим — Ковалевым, который действительно был коммунистом и — я помню — даже входил вместе со мной и другими коммунистами в Военную комиссию Бакинского комитета партии.

Что касается меня самого, то я все время думал: на основании каких фактических данных мне предъявлено обвинение в подготовке вооруженного восстания? Какие у правительства есть против меня улики?

Наша партия действительно готовилась к вооруженному восстанию. У нас все время функционировала строго законспирированная Военная комиссия, которая добывала оружие, хранила его на особых складах, готовила кадры, но об этом ничего не было известно полиции, иначе были бы арестованы и другие товарищи, непосредственно и больше меня занимавшиеся этим делом.

Потом я вспомнил: за несколько дней до забастовки в наш рабочий клуб зашли трое рабочих и сообщили мне в присутствии Ковалева, что в порту находится баржа с 3 тысячами винтовок и другим оружием, что о существовании этой баржи правительству ничего не знает и, так как баржа не охраняется, этим оружием можно легко и незаметно воспользоваться.

Помню, мы были тогда очень этим удивлены и несколько раз переспрашивали их, действительно ли на барже нет никакой охраны. Они заявили, что уже несколько дней наблюдают за этой баржей и никакой охраны не видели.

Все это показалось нам маловероятным. Не верилось, чтобы мусаватское правительство и английские оккупанты, полгода орудовавшие в порту, ничего не знали о существовании этой баржи. С другой стороны, сообщение рабочих нас обрадовало: «А вдруг действительно это так и есть?»

Однако в ту пору мы ничего не могли предпринять с этой баржей: сообщение о ней поступило к нам всего за два дня до начала всеобщей забастовки, а во время забастовки было очень опасно что-либо предпринимать в отношении баржи. Поэтому мы решили, что, если сообщение этих рабочих действительно подтвердится, мы уже после окончания забастовки попытаемся часть этого оружия отправить в Дагестан, а также — в Ленкорань для вооружения революционных частей, действовавших там под руководством нашей партии.

Когда вскоре правительство опубликовало в газете сообщение, что эта баржа с оружием принадлежит Рабочей конференции, мы поняли, что, видимо, среди тех трех рабочих, которые приходили к нам со своим сообщением, оказался провокатор, подосланный к нам военным комендантом города Григорьевым, хотевшим поймать нас в ловушку. Как хорошо, что мы проявили тогда осторожность! Иначе мы бы влипли в опасную историю.

Теперь, сидя в тюрьме и думая о том, какие конкретные улики могут быть предъявлены мне для подтверждения обвинения в подготовке вооруженного восстания, я вспомнил всю эту историю с баржей и решил, что меня и Ковалю хотят как-то связать с этой злосчастной баржей, чтобы состряпать на нас «дело» и передать английскому военно-полевому суду или выслать через Персию в Индию, что по тем условиям было равносильно гибели.

Все эти вопросы тогда горячо обсуждались в узком кругу членов Бакинского комитета, находившихся в тюрьме. Строились разные планы нашего спасения. Автором и душой всех этих планов был

неутомимый, настойчивый и очень изобретательный Стура. Сперва он предложил организовать нападение на тюрьму отряда наших товарищей извне. Потом возникло предложение: во время проверки, когда к нам в камеру приходили обычно два-три надзирателя, напасть на них, разоружить и выйти из тюрьмы. Наконец, был предложен план — подпилить решетку в окне камеры и выбраться на волю.

Все эти планы технически было очень трудно выполнить. Все они скорее всего грозили провалом, но мы все-таки готовились к их осуществлению.

Через рабочего, который заправлял у нас в камерах лампы, мы связались с товарищами на воле и получили нужные пилки, а также веревку для лестницы, по которой нам предстояло спуститься из окна вниз. Это было особенно трудно сделать, потому что часовые все время ходили под окнами. Нужно было выбрать такой момент, когда часовой смотрит в другую сторону, напасть на него или вырваться каким-либо другим способом, имея не вдалеке подготовленный заранее фазтон.

Все это, конечно, было сопряжено с очень большим риском и опасностью провала.

Когда же тюремная администрация объявила о скором освобождении большинства арестованных из нашей группы, планы побега вообще были отодвинуты на задний план.

Но над Ковалем и в особенности надо мной продолжала висеть смертельная опасность.

Мы все надеялись, что рано или поздно недоразумение с обвинением Ковалю разъяснится и ничего страшного с ним не произойдет. Со мной же дело обстояло много сложнее. Поэтому Стура выдвинул новый план моего освобождения: выйти из тюрьмы под видом другого товарища. Мне лично не хотелось таким образом выходить из тюрьмы: получалось, что за меня должен был пострадать кто-то. Однако товарищи не дали мне даже возможности рассуждать по этому поводу.

Стура заявил, что тот, кто останется в тюрьме вместо меня, особенно не пострадает, разве что отсидит в тюрьме лишних несколько недель. «Тебе же, Анастас», — говорил он, — грозит смертная казнь».

Решение было принято. Охотников остаться в тюрьме вместо меня нашлось довольно много, но нужно было найти наиболее подходящего по внешности. Таким оказался Гриша Степанянц, технический работник Бакинского комитета партии. К тому же он особенно горячо просил оставить его в тюрьме вместо меня. Кандидатура его была «утверждена», и Стура принял за меня мою внешность. Откуда-то появились старые тупые ножницы, которыми он стал подстригать мою бородку и усы, буквально выдергивая волос за волосом. Было очень больно, но приходилось терпеть. Затем меня переодели в одежду Степанянца, а мою одежду отдали ему.

Мы никак не ожидали, что нас освободят так скоро. Однажды вечером, около 10 часов, когда обычно тюремные камеры запирались до утра, в наш корпус неожиданно вошли несколько человек из тюремной администрации. Все мы, арестованные, тут же, конечно, высыпали из своих камер и собрались в коридоре. Один из начальства объявил, что сейчас все арестованные, за исключением десяти человек, имена которых они назовут, будут освобождены из тюрьмы. Мы были очень удивлены: обычно из тюрем выпускали по утрам; нас же почему-то решили освободить ночью. Только позже мы узнали, что уже с вечера около здания парламента собралась делегация женщин Тагиевской текстильной фабрики с детьми и стали настойчиво требовать на-

шего освобождения: среди арестованных было несколько азербайджанцев — рабочих с их фабрики. Надо сказать, что вообще рабочие этой фабрики, в большинстве азербайджанцы, держали себя очень революционно и активно поддерживали линию нашей партии. До стачки я как-то был на этой фабрике, выступал на собрании, которое, помню, затянулось до поздней ночи. Фабрика находилась далеко за городом — на Зыхе, рабочие уговорили меня не уезжать домой так поздно. Я остался у них ночевать. Я подружился со многими рабочими с этой фабрики и особенно с председателем их фабкома, коммунистом, у которого, кстати, я тогда и остался ночевать.

Комendant тюрьмы стал называть имена тех, кто подлежал освобождению. Каждый из названных должен был откликнуться и отойти в сторону, на указанное место, ближе к двери. Когда была названа фамилия Степанянца, я, как и было условлено, откликнулся, вышел вперед и встал среди освобождаемых. В руках у меня для конспирации была большая подушка, которая почти наполовину закрывала мое лицо. Среди тюремных служащих, которые находились здесь, были такие, с которыми я общался, когда писал в конторе наше коллективное письмо в парламент. Эти люди могли меня запомнить в лицо, и тогда весь план моего освобождения лопнул бы, как мыльный пузырь.

Когда было закончено перечисление фамилий, всех нас, освобождаемых, вывели из тюремного корпуса в контору. Товарищи, которые шли со мной рядом, старались сделать так, чтобы я не выделялся среди них и не бросался в глаза администрации.

Вошли в контору. Она была плохо освещена: над столом висела одна лампа, свет от которой падал только на этот стол. Остальная часть комнаты была в полутьме. За столом сидел помощник начальника тюрьмы, перед которым лежала раскрытая толстая книга с фамилиями арестованных. Он стал вызывать нас поодиночке, задавать вопросы и слышать ответы с теми записями, что были сделаны в тюремной книге (фамилия, имя, отчество, место рождения, губерния, уезд, волость).

Зная примерно характер вопросов, обычно задаваемых в подобных случаях, я еще днем получил у Степанянца нужные мне сведения и выучил их, что называется, наизусть.

Поэтому, дожидаясь здесь своей очереди, я был уверен, что не встречу никаких неожиданностей или трудностей.

И вдруг я услышал, что у первого же вызванного товарища помощник начальника тюрьмы спросил его бакинский адрес.

К ужасу своему, я понял, что не смогу ответить на этот вопрос, так как забыл задать его утром Степанянцу: вызвано это было тем, что в момент моего ареста я сам отказался сообщить свой адрес, и этот психологический момент как-то «сработал» при беседе со Степанянцем. Я оказался в довольно трудном положении. Мелькнула мысль: вот дойдет очередь до меня, спросят адрес — и я провалился! Будет установлена попытка к побегу, а с этим — все связанные довольно неприятные последствия.

Я немедленно шепнул обо всем этом Стурю. Он не растерялся, тут же подошел к столу помощника начальника тюрьмы и попытался заглянуть в тюремную книгу, чтобы хоть как-нибудь узнать записанный там адрес Степанянца. Но это оказалось невозможным. Что же делать? Какой искать выход? Один из наших товарищей, не помню уж, кто именно, поняв, что произошло, предложил мне сказать, что я пришел в канцелярию тюрьмы не «освобождаться», а

написать заявление и не собираюсь поэтому скрывать, что я — Микоян. Но это было бы уже совсем неправдоподобно и наивно, хотя бы уж потому, что я не просил на это никакого разрешения, а кроме того, ночью, в момент освобождения арестованных, заявлений обычно не пишут. Ясно, что такой выход был абсолютно неприемлем.

Тогда у меня мелькнула мысль заявить, что так как моя квартира находится далеко и ночью заперта, нельзя ли мне остаться переночевать в камере, а утром освободиться. Так мы со Стурю и решили поступить.

Когда очередь к помощнику начальника тюрьмы дошла до меня, я обратился к нему с вопросом: «Нельзя ли мне остаться переночевать в камере?» Тот направил на меня электрическую лампочку, чтобы получше разглядеть, кто с ним разговаривает. «Как ваша фамилия?» — спросил он.

«Я — Степанянец», — ответил я и подумал: «Вот сейчас он меня узнает, и...». Но в конторе было темно, и он меня не узнал. «Подождите», — сказал он.

Я обрадовался. «Жаль, конечно, что я не выйду из тюрьмы, но зато попытка к побегу не будет обнаружена».

Но тут возникло еще одно обстоятельство. Если бы я остался ночевать здесь один, то легко мог бы привлечь к себе внимание надзирателей. Тогда, чтобы «прикрыть» меня, три или четыре наших матроса тоже попросились остаться на ночевку, заявив, что их суда находятся в море и им некуда идти ночью. Им разрешили. Я успокоился.

Но по всему было видно, что не успокоился неугомонный Стурю. Он все время пытался придумать какой-нибудь другой выход из создавшегося положения и во что бы то ни стало вызволить меня из тюрьмы.

Через несколько минут он подошел ко мне и тихо сказал: «Поповянец внешне очень похож на тебя. Сейчас его только что проверили. Я уговорю его остаться вместо тебя, а ты выйдешь на волю сегодня же». Это было для меня настолько неожиданно и казалось таким маловероятным, что я даже не нашелся что сказать.

А Стурю, даже не дождавшись моего ответа, подошел к Поповянцу и начал его уговаривать, чтобы он «стал» Степанянцем и остался ночевать в тюрьме.

Поначалу Поповянец не захотел этого делать, даже возмутился, но Стурю очень убедительно внушил ему, что «Микояну грозит смертная казнь, а тебе, если ты и останешься под именем Степанянца переночевать в тюрьме, ничего не грозит. Ну, может быть, посидишь лишнюю неделю-две в тюрьме, и все». К тому же Поповянцу как меньшевику нетрудно было бы освободиться.

Уже не возражая по существу, Поповянец сказал:

— Как же я могу заявить, что я Степанянец, когда я только что говорил, что я — Поповянец?

— Хорошо, — ответил Стурю, — тогда за тебя ответит другой.

Стурю потребовал, чтобы я «разыграл» эту сцену. Поэтому, когда среди выходящих на волю назвали фамилию Поповянца, я вышел и встал вместе с освобождающимися. Когда же назвали «мою» фамилию «Степанянец», Поповянец не шелохнулся, за него откликнулся другой товарищ, а он остался среди тех пяти человек, которым разрешили переночевать в тюрьме.

Нас же, выходящих на свободу, вывели на террасу. С минуты на минуту мы должны были быть освобождены. Но не тут-то было!

Один из освобождающихся стал требовать, чтобы ему немедленно отдали паспорт, так как без паспор-

та нельзя ходить по улицам города. Из-за этого произошла еще одна задержка, а между тем каждую минуту тюремщики могли обнаружить обман, и я был бы тут же задержан. Тогда все тот же неумный Стуря подошел к расшумевшемуся так некстати товарищу и внушительно сказал ему на ухо: «Прекрати шуметь о своем паспорте — завтра его получишь». Тот подчинился.

Перед тем, как открыть перед нами тюремные ворота, нас вновь сосчитали уже просто «по штукам». Все было в порядке. Открыли ворота, и мы вышли на волю.

Я облегченно вздохнул: наконец-то!

Все разошлись в разные стороны, чтобы вновь не попасть в лапы полиции. И, как выяснилось, правильно сделали, потому что одна из групп товарищей снова была задержана по подозрению в побеге из тюрьмы. Их привели обратно в тюрьму и только после того, как разобрались, освободили.

Мы со Стуря пошли вдвоем, избрав глухие переулки, по которым и добрались вскоре до конспиративной квартиры Каспаровых. Вот что по этому поводу вспоминает Мария Каспарова, старшая дочь хозяйки.

«Помню, как в полночь к нам явились после побега из тюрьмы Анастас и Георгий. Это был великолепный по своей смелости и удаче побег! Незадолго до этого азербайджанское правительство арестовало Анджиевского — одного из руководящих работников на Северном Кавказе — и передало его англичанам, а те, в свою очередь, — деникинским властям, которые повесили Анджиевского на Машуке. Зная об этом, мы приняли все меры, чтобы предотвратить подобное в отношении арестованных товарищей».

Мы с волнением до поздней ночи ожидали на нашей квартире, когда появится Георгий. Когда раздался звонок, мы все — я, Роза и другие — бросились к двери. Вошел Георгий. Все его окружили. Вначале никто из нас не заметил молодого человека, который стоял позади него. Это был Анастас Микоян. Неожиданное появление человека, о судьбе которого все так тревожились, вызвало у нас радостное оживление. Мы его посадили, тесно окружили и с волнением слушали все перипетии счастливо окончившегося побега».

Как потом мы узнали, наши пятеро товарищей, оставшихся ночевать в тюрьме, вернулись в камеру,

подождали около часа (как мы и договорились раньше между собой), потом, поняв, что мы уже находимся в безопасности, вызвали надзирателя и заявили, что среди них нет Микояна. Надзиратель перепугался, побежал в контору и стал проверять по книгам. Получалось, что я из тюрьмы не выходил, Поповянец был отпущен на волю, а Степанянец был в конторе, но вернулся ночевать в камеру.

Надзиратель вернулся и стал допрашивать, как все это могло получиться. Степанянец заявил, что он даже не выходил из камеры, потому что заблаговременно получил разрешение остаться ночевать в тюрьме и выйти на свободу утром. Поповянец сказал, что он был в конторе, просил разрешения провести ночь в камере, и это ему разрешили. Разобраться во всей этой путанице не было никакой возможности. Тогда взбешенный надзиратель ушел, заявив, что никто из пятерых освобожден не будет.

На следующий день наши друзья отправились к прокурору и потребовали освобождения оставшихся на ночь в тюрьме товарищей, потому что «они не могут и не должны отвечать за побег других арестованных». В конце концов их освободили, а помощник начальника тюрьмы был арестован.

В архивах Советского Азербайджана сохранился протокол, составленный 15 мая 1919 года начальником Бакинской центральной № 1 тюрьмы Абединовым. В протоколе описываются события, связанные с моим побегом из тюрьмы. А совсем недавно были обнаружены по этому же поводу еще два любопытных архивных документа, касающихся уже «пострадавшего» за меня помощника начальника Бакинской центральной тюрьмы Байрамова (полное его имя — Абас Кули бек Байрамбеков).

Пользуюсь случаем, хотя и с очень большим опозданием, чтобы опубликовать эти курьезные документы и принести свои «извинения» Байрамову, который как-никак целый месяц просидел тогда из-за меня в тюрьме. (Любопытно, что сам «арестант», за которого он пострадал, на этот раз пробыл в тюрьме всего лишь пять дней!)

(Продолжение следует)

Виктор
Тростников

А МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ МАТЕМАТИК?



Принимая во внимание возраст подписчиков журнала «Юность», я готов держать пари, ставя один против десяти, что читающий эти строки является потенциальным математиком. Условия вполне честные: вероятность того, что в молодом человеке, не прошедшем курс специального обучения, таятся неизвестные ему и окружающим математические способности, составляет что-то около десяти процентов.

Допустим, я выиграл спор. Это значит, что вы относитесь к одной десятой человечества, отмеченной некоей печатью. В таком случае у вас появляется шанс — получив соответствующее образование, из скрытого математика превратиться в явного, стать профессионалом-математиком. Как велик этот шанс? Пока отложим этот вопрос, попробуем разобраться в нем позже.

Вероятность стать математиком сохраняется, даже если вы не так уж юны. Имеется множество приме-

ров того, как математический талант раскрывался уже в зрелые годы — под влиянием случайных обстоятельств — и его обладатель становился крупным ученым, несмотря на то, что начал изучать математику, казалось бы, слишком поздно. Подобным образом сложилась судьба у столь знаменитых исследователей, как Лефшец, Эшби и другие.

Уважение к математике и людям, в нее посвященным, существовало всегда с самых первых шагов систематического человеческого знания.

Математику часто именуют «царицей наук». Кроме этого монархического титула, у нее есть и другой, более демократичный: «служанка наук». Но здесь «служанка» понимается скорее как добрая фея, всегда готовая прийти на помощь и не чуждающаяся черновой работы, если таковая оказывается необходимой.

Если математику восхваляют те, кто ее не очень хорошо знает, но кто нуждается в ее услугах, то что же говорить о самих математиках! Естественно, что они считают эту науку самой лучшей и самой важной. Но их можно заподозрить в небеспристрастности, поэтому будем считать, что общественное мнение выражается все же устами потребителей, а не творцов математики.

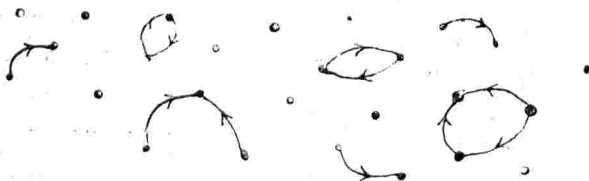
В наши дни число потребителей математики особенно велико; уважение к ней превзошло все рекорды прошлого. Математика занимает сейчас видное место в курсах обучения биологов, лингвистов, философов, экономистов. Ее господствующее положение в науке укрепляется с каждым годом, а авторитет прогрессивно растет. Математики ценятся сейчас очень высоко — выше большинства других специалистов; спрос на них намного опережает предложение, и они имеют возможность почти всегда выбирать себе работу по вкусу. Это значит, что, став дипломированным математиком, вы войдете в число представителей науки, окруженной ореолом славы и являющейся в некотором смысле символом современной цивилизации.

В таком случае не попробовать ли вам проверить самого себя? Я предлагаю вам упрощенный вариант проверки, который не потребует выучивания каких-то учебников и сдачи экзаменов. Конечно, такая поверхностная проверка недостаточно надежна, она полезна лишь в качестве первого шага. При положительном результате вы можете отвести к себе

серьезнее и приложить усилия к тому, чтобы реализовать свои возможности.

Если хотите рискнуть, следуйте за мной.

Сейчас вы подвергнетесь испытанию, в результате которого выяснится наличие или отсутствие в вашей натуре одного необходимого для математика качества. Какого, я скажу потом. А пока ознакомьтесь с несколькими задачами.



Задача № 1. На приведенном рисунке точками изображены ученики некоторого класса (мальчики и девочки). Каждая стрелка обозначает «отношение братства»; тот, к кому протянута стрелка, является братом того, от кого она протянута. Можете ли вы утверждать, что на схеме нарисованы не все стрелки? Можете ли вы определенно указать девочек?

Задача № 2. Какое число должно быть написано следующим в оборванном ряде: 2, 5, 9, 16, 27, 45, 74, 121, 197, ...?

Задача № 3. «Счастливым» называется троллейбусный билет с таким номером (они шестизначные), в котором сумма первых трех цифр равна сумме трех последних цифр. Сколько существует различных счастливых билетов?

Задача № 4. Сколько существует троллейбусных билетов с суммой всех цифр 27?

Задача № 5. В гостиницу приехал путешественник, у которого не было денег, а была серебряная цепочка, состоявшая из шести звеньев. Хозяин согласился получить за каждый день пребывания путешественника в гостинице по звену, но при этом взять не более одного распиленного звена. Как следует распилить цепочку, чтобы иметь возможность ежедневно расплачиваться с хозяином в течение шести дней?

Задача № 6. Докажите, что для раскраски любой географической карты (так, чтобы страны, закрашенные одинаковой краской, не граничили друг с другом) достаточно четырех красок.

Теперь приступим к испытанию. Впрочем, оно уже позади. Остается только ответить на вопрос: «Как вам понравились эти задачи?» Да, да, именно так я хочу поставить вопрос. Мне совершенно не важно сейчас, решили вы их или нет, тем более, что некоторые из задач чрезвычайно трудны. Возник ли у вас интерес к этим задачам, желание решить их? Вот что главное.

Если интерес появился, значит, вы прошли первое испытание. Если нет, не пытайтесь стать математиком: это будет лишь пустая трата сил.

Чтобы результат проверки был показательным, я подобрал задачи, не имеющие никакого практического значения. Мне нужно было выяснить, насколько ваш интерес к математике бескорыстен. В приведенных задачах все условно, надуманно; ситуации не являются в них жизненными. Это чистая игра ума. Тем не менее эти задачи непременно затронут всякого, в ком есть «математическая жилка».

Знаменитый английский математик Годфри Гарольд Харди утверждал, что «очень малая часть математического знания прямо используется в практике, а то,

что используется, является сравнительно малозначительным». Эта фраза, несмотря на кажущееся ее несоответствие действительности (мы ведь все время слышим разговоры о все возрастающей роли математики в достижениях других наук, техники, о ее роли в развитии народного хозяйства и т. д.), имеет очень глубокий смысл. Математика, безусловно, широко используется во многих областях, но используется больше косвенно, чем прямо. Творцы математики, как правило, не думают о применениях — последние возникают как некий побочный продукт мыслительных усилий.

Видели ли вы когда-нибудь маленьких лисят в зоопарке? Наблюдать за этими зверьками можно без конца. Они все время насакаивают друг на друга, борются, возятся. Воинственная игра составляет 99 процентов времени лисят, не занятого сном и едой. Примерно таким же образом ведут себя волчата, львята и другие детеныши млекопитающих.

Можно спросить: в чем смысл этой непрерывной игры? Выгода для вида в ней, вероятно, имеется: зверь с раннего детства вырабатывает определенные качества, которые понадобятся ему впоследствии, когда он будет охотиться, спасаться от врагов и прочее. Но ведь лисенок и львенок не знают о том, что тренировка окажется для них полезной. Объяснение механизма игры нужно искать не в абстрактных понятиях биологической целесообразности, а в тех конкретных свойствах, которыми обладают млекопитающие. В этих существах заложена огромная жизненная энергия, именно она обеспечивает процветание биологического класса. Но зверь не может с первых месяцев жизни знать, в каких случаях практически выгодно высвобождать энергию, а в каких нет. Экономии сил он научится уже в зрелом возрасте, в результате накопившегося опыта. Следовательно, игра есть побочное следствие тех особенностей зверя, которые обеспечивают ему успех в борьбе за существование, а не акция, сознательно направленная на подготовку к этой борьбе.

В этом смысле юного одаренного математика можно сравнить с резвящимся лисенком. Он не имеет ни малейшего представления о том, какие задачи важны для практики, а какие не важны. Скептическая мысль «а зачем это нужно?» не приходит ему в голову, так как математическая мощь, живущая внутри него, требует исхода, ей хочется расправить плечи, поиграть мышцами. Удаляя умственную забаву соответствует потребностям природы, поэтому все кажется слишком интересным, чтобы возникали проблемы применения.

Как объяснить человеку, начисто лишенному математического таланта, почему хороша задача о цепочке и гостинице, хотя она самым явным образом вымышленна и ее решение абсолютно никому в жизни не понадобится?

Былинные богатыри в юношеских забавах отрывали сверстникам руки и ноги. Молодые гиганты не понимали, какие цели являются достойными применения их сил; это понимание пришло значительно позже, когда они железным заслоном встали против врагов на рубежах Родины. Так же развивается и гигант математической мысли. Прежде всего он ощущает потребность реализовать свои огромные мыслительные возможности, в частности решать задачи. Неважно, какие задачи, лишь бы они были достаточно трудными.

Как-то я шел по лесу с девочкой девяти лет. Это была весьма легкомысленная особа, любившая самые глупые забавы. Ребенок как ребенок — шаловливый, шумный. Я сказал ей: «Нужно идти домой», — потом добавил для усиления эффекта: «Домой идти

нужно». И тут мне пришла мысль поиграть со своей спутницей. Я спросил ее:

— А сколько раз можно сказать эту фразу, переставляя по-разному ее слова?

— Шесть раз,— ответила она без малейшей паузы.

Я преподавал математику во многих вузах, поэтому смог оценить быстроту счета. Заметьте: я воспринял мгновенный ответ именно как молниеносный перебор в уме всех возможных вариантов построения фразы. Уже через несколько секунд я обнаружил, что жестоко ошибся.

— А если бы было четыре слова? — спросил я, сам не зная для чего, просто, чтобы поддержать разговор.

— Двадцать четыре,— ответила она, не прекращая даже занятия, которым в тот момент была поглощена,— обрывания лепестков у ромашки.

Мне стало не по себе. Тихим голосом я задал следующий вопрос:

— А если пять слов?

На этот раз она перестала заниматься цветком и взглянула на меня с искрой любопытства в глазах.

— Ну что ж, это можно подсчитать... Двадцать четыре умножить на пять... сто двадцать!

Теперь уже сомнений не было: ученица третьего класса самостоятельно открыла формулу для числа перестановок из n элементов —

$$P_n = n!$$

но не знала, что сделала открытие, ибо эта формула казалась ей слишком очевидной.

Девочка со столь блестящими способностями, с таким сильным и ясным мышлением, разумеется, не могла задать традиционного вопроса «середняка» — «Зачем это нужно?». Гимнастика была просто необходима ее великолепно устроенному уму. И потом, когда мы начали заниматься математикой серьезно и систематически, она ни разу не задумалась над проблемой практической полезности тех знаний, которые я ей сообщал. Для нее было самым естественным и приятным занятием решать задачи, если они не были очень уж простыми.

Итак, реакция «А для чего это может понадобиться?», если она у вас возникла при чтении текстов приведенных шести задач, означает, что первый же тур экзаменов вами не пройден и математик из вас не получится. Конечно, существует множество других не менее достойных профессий, и вы наверняка найдете себя в одной из них. Но мы сейчас говорим о математике. Однако те, кто был задет за живое нашими задачами, кого они вдохновили на размышления, не должны еще считать себя проигравшими спор. Впереди следующие туры проверки.

Великий французский математик Анри Пуанкаре сказал как-то: «Всякий хороший математик должен быть хорошим шахматистом, и, наоборот, кроме того, математик должен быть и хорошим вычислителем...

Но существуют и исключения, а может быть, я и неправ, называя их исключениями, ибо они, возможно, более многочисленны, чем случаи, подтверждающие правило...

Что касается меня лично, то я должен признаться: я абсолютно не способен сложить два числа без того, чтобы не ошибиться. Кроме того, я очень плохо играю в шахматы».

Пуанкаре говорит об этом как о парадоксе. На самом деле: странно, что математики в общем не выделяются в качестве шахматистов среди остальных людей, хотя в других, казалось бы, значительно меньше связанных с математическим мышлением занятиях (например, в раскройке тканей или в починке электропроводки) они имеют заметные преимущества. Парадоксальность ситуации проявится еще рез-

че, если принять известный тезис «математик сделает это лучше», под которым понимается, что в случае, когда двум людям, из которых один — математик, а другой — нет, поручается одинаково незнакомая для них работа, то первый справляется с ней успешнее. Есть серьезные экспериментальные подтверждения этого тезиса, конечно, если понимать его в статистическом смысле. Но коль скоро математическая одаренность помогает в любом деле, то почему же она не сказывается на умении играть в шахматы — в игру, которую можно рассматривать как математическую?

Чтобы попытаться объяснить видимое противоречие, подойдем к нему еще с одной стороны.

В Советском Союзе, как, вероятно, и во всех других странах мира, существует значительное число людей, посвящающих большие и длительные усилия разрешению «вечных» математических головоломок. В Академию наук и другие учреждения непрерывно поступает поток «доказательств» великой теоремы Ферма, «методов» квадратуры круга и т. д. Мне прислал недавно письмо некий энтузиаст, который, по его словам, уже в течение сорока лет занимается проблемой трисекции угла. К письму было приложено только что найденное автором «окончательное решение» древней задачи (конечно же, в рассуждении содержалась грубая ошибка). Будем называть тружеников такого сорта «ферматистами», даже если объектом их настойчивого стремления служит не доказательство теоремы Ферма, а решение какой-то другой проблемы такого же класса трудности.

Так вот, можно ли отнести представителей этого многочисленного отряда ферматистов — изобретателей, открывателей и реформаторов математических методов — к математикам?

Решительный ответ таков: нет, нет и еще раз нет. Несмотря на некоторую осведомленность в математических вопросах, знание соответствующей литературы (хотя бывают и совершенно невежественные ферматисты), несмотря на любовь и уважение к математике, несмотря на пылкость и трудолюбие, эти люди не имеют никакого права на то, чтобы называться математиками. Этого права их лишает полная бесплодность работы.

Математика часто представляет романтиком, идеалистом. В действительности он самый большой реалист. Но его реализм заключается не в узком утилитаризме, не в стремлении выжать из всего практическую пользу (об отсутствии таких тенденций, особенно у молодых математиков, мы уже говорили подробно), а в том, что он никогда не возьмется за какое-то дело, если не видит с достаточной ясностью возможности довести это дело до конца.

Ферматиста, по-видимому, привлекает сам процесс размышлений и поисков; математика влечет результат — не практический, а математический результат, решение поставленной задачи. Для ферматиста не существенно, если процесс исканий бесконечно затягивается, — тем дольше живет иллюзия творчества. Для математика топтание на одном месте невыносимо.

Мышление ферматиста можно охарактеризовать как сумеречное. Он живет в неясном ожидании некоего чуда и не обладает достаточной решимостью признать самому себе, что чуда не произойдет. Рассуждая поверхностно, отворачиваясь от всего, что может принести ему огорчение, он создает для себя искусственную ситуацию и с неизбежностью все дальше запутывается в самообмане. По прошествии нескольких лет бессмысленных, но дорогих ему усилий он оказывается настолько вовлеченным в систему лжи, что отбросить ее уже не может. Такое

встречается иногда и в других областях, например, в политической деятельности. Но там трусость и связанное с ней самоослепление чреватые страшными последствиями (вспомните судьбу «теоретиков», оправдывавших и обосновывавших нацизм), в то время как в математике или в других близких научных вопросах добровольное отторжение себя от реальности не приводит к трагической развязке. Ферматист сколь угодно долго может пребывать в не приносящем ему особой радости, но устойчивом состоянии равновесия.

Мышление математика последовательно и бескомпромиссно. Как бы ни были ему неприятны какие-то выводы, он принимает их, если они неизбежно следуют из достоверных фактов или принятых аксиом. Он стремится дойти во всяком рассуждении до самых основ, обрести полную ясность.

Самая большая любовь математика — любовь к простоте. Она является основной движущей силой его деятельности. Ему ненавистны завуалированность, недосказанность, двусмысленность, намеки, многозначительные недоговорки. Когда он сталкивается с запутанной ситуацией, которую многие другие люди, например, некоторые представители художественных профессий, очень любят (считая, что запутанность означает сложность, а сложность означает богатство содержания), у него появляется дьявольски сильное желание разубить ее прямолинейным ударом меча.

Именно с прагматизмом математика, с его непроборимой тягой к определенности и конкретности результата связано его равнодушное отношение к шахматам. Возможно, математик, если бы захотел, играл бы несколько лучше нематематика. Но все дело в том, что для него эта игра не представляется интересной. Вот если бы она была несколько проще — вроде «игры в 15» — и допускала бы полный обсчет, тогда бы этот обсчет представлял для математика любопытную задачу, которую он мог бы взяться решить. Но дать точную теорию шахматной игры пока невозможно. А выигрывать отдельные партии — занятие частное, не допускающее обобщения, не имеющее «выходов» в какие-то другие части интеллектуального царства, короче говоря, в прагматическом смысле бесперспективное. Играть в шахматы можно учиться всю жизнь, но никогда нельзя научиться играть абсолютно правильно. Поэтому с точки зрения математики шахматы являются чем-то вроде теоремы Ферма — топтанием на месте, упражнением, не приводящим к результату. В этом и заключается частичное объяснение парадокса Пуанкаре.

Можно спросить: так что же, «вечные» проблемы математики так и обречены оставаться нерешенными? Так их и будут обходить ученые, боясь зря потратить время?

Разумеется, нет. Ярчайшим опровержением служит недавнее разрешение американским молодым математиком Полем Коэном одной из казавшихся безнадежных задач. Она была сформулирована 80 лет назад, и в последние годы уже мало кто относился к ней серьезно. Однако Коэн взялся за эту проблему, не будучи ни в малейшей степени ферматистом. Просто он является ученым самого высокого класса, обладает огромными знаниями, талантом. Большому кораблю — большое плавание, говорят в народе. Коэн как математик так силен, что, выбирая задачу себе по плечу, остановился «всего-навсего» на проблеме континуума. И решил ее.

После этих вводных слов давайте приступим к проверке вашего качества № 2, необходимого математика, — стремления к конкретности, любви к резуль-

тату, научного реализма. Ответьте на нижеследующие вопросы с максимальной честностью, иначе все предприятие лишается смысла.

1. Когда вы в детстве задавали взрослым традиционные «почему?», старались ли вы докопаться до самого корня, нанизывая вопросы один за другим, как шашлык на шампур, или удовлетворялись первым же ответом, хотя бы и совершенно бессмысленным?

2. Слушая чей-то рассказ о некоторых событиях, пытаетесь ли вы во что бы то ни стало уловить основную мысль, вывод или вам доставляет удовольствие сам процесс словесизъявления, радуется чистая, так сказать, риторика?

3. Рассказывая что-то другим, подчеркиваете вы в конце основную свою мысль или вам приходится часенко слышать реплики «Ну и что же из этого следует?» и «Что же ты хочешь этим сказать?»

4. Возникало ли у вас когда-нибудь сильное желание узнать, из каких частиц состоит материя и какова структура Вселенной, или вы изучали атомную физику и астрономию только потому, что они входили в учебные программы?

5. Являетесь ли вы решительным противником того мнения, что древние люди, например, египтяне, населявшие природу мифологическими существами, жили более интересной эмоциональной жизнью, чем мы, которым открыта вся «подноготная» явлений окружающего мира, или вы согласны с этим мнением?

6. Предпочитаете ли вы Хемингуэя Голсуорси или ставите второго выше первого?

7. Раздражаетесь ли вы, когда вам рассказывают содержание фильма, который вы собираетесь посмотреть, или же, наоборот, вы любите предварительно послушать такой рассказ?

Эти вопросы, конечно, не идеальны с точки зрения качества теста, а может быть, и просто плохи. Они подбирались без помощи какой-либо психологической теории, вроде тех, которые употребляются при изучении умонастроения избирателей перед выборами президента США или при измерении интеллектуальных способностей призывников в тех же США. И все же, если вы в каждой из семи альтернатив укажете на первую часть, это будет означать, что вас можно рекомендовать к следующему туру испытания.

На этот раз поговорим о качестве № 3 — качестве, которое чрезвычайно характерно для математика. Это способность к логическому мышлению. Четкая логика нужна в математике в большей степени, чем в какой бы то ни было иной области, кроме, может быть, юриспруденции. Логический склад ума — первейшая жизненная необходимость для математика, его воздух, вода и хлеб насущный.

Человек, обладающий логикой, всегда является реалистом (в математическом, а не в практическом смысле), значит, нельзя быть реалистом, не обладая логикой. Экзамен на логику, таким образом, более труден, чем экзамен на реализм, — качество № 3 распространено реже, чем качество № 2. Вы ждете, когда он начнется, этот логический тест? Он уже начался. Вас не покорила фраза, стоящая в начале этого абзаца? Если в вас обостренно развито логическое чутье, она должна была покорила: фраза составлена логически неправильно. Перечитайте ее еще раз как можно внимательнее. Ничего не заметили? Тогда объясню.

Из утверждения «логик всегда является реалистом» не вытекает (как это подразумевает употребление слова «значит») утверждение «реалист всегда есть логик» — точно так же, как из посылки «лошадь есть млекопитающее» не следует вывод «млекопитающее есть лошадь». Если бы качество № 2 яв-

ялось следствием качества № 3 и наоборот, то они были бы тождественными и нельзя было бы сказать, что третий экзамен труднее второго (что совершенно верно). Способность к логике проявляется только некоторыми из реалистов, и можно быть реалистом, не имея этой способности.

Человек с логической одаренностью очень чуток к ошибкам в рассуждении, подобным той, которую я сознательно допустил в обсуждаемой фразе. Такой человек иногда выглядит настоящим занудой для окружающих: он придирается ко всякой неточности, которыми изобилует человеческая речь. Но он делает это не из-за скверного характера — просто такого рода неточности, совершенно не замечаемые другими, ранят его душу, как фальшивые ноты ранят душу музыканта. Не замечали ли вы за собой этого стремления «ловить блох»? Если тяготение к логической завершенности высказываний в вас развито достаточно сильно, оно должно было обязательно проявиться, ибо не только в устной речи, но и в книгах, журналах и газетах, в статьях, песнях и стихах то и дело допускаются погрешности против логики. Фразы вроде той, которую я сконструировал намеренно, постоянно просачиваются на страницы печатного текста по халатности авторов, по «логической глухоте» редакторов и т. д. Удел врожденного логика — постоянно страдать из-за этих фраз. Испытывали вы такое страдание?

Если вопрос кажется вам слишком расплывчатым, поставлю его яснее. Вы наверняка знаете слова популярной песни:

Кораблям не спится в порту,
Им снятся моря, им снятся ветра...

Нравятся вам эти строки? Бесспорно, они очень образны и поэтичны, но... логика они заставят поморщиться. Если кораблям не спится, то как же они могут видеть сны, а если они видят сны, значит, они спят, а следовательно, им спится. Нехорошо получается, товарищ поэт, скажет бдительный страж безупречности рассуждений, неувязочка-с! И для него уже безразлично будет, хороши ли эти стихи по другим статьям, — ошибка в логике сразу обесценит в его глазах многочисленные достоинства стихов, лишит их привлекательности (в скобках говоря, я готов с ним согласиться: ведь существуют стихи одновременно и очень точные и очень художественные, значит, эти два достоинства не являются взаимно исключающими, так пусть поэты соединят их вместе во всех случаях!).

Я не случайно взял «литературный» пример. Именно в сфере речи проявляется логическая мощь ума. Математические рассуждения, в которых необходима логика, тоже являются словесными, они есть продолжение и уточненное развитие тех логических рассуждений, которые всеми нами употребляются в повседневной жизни.

Человек с полным отсутствием логики не справится с простейшими бытовыми задачами. Человек с хорошей логикой может быть полноценным исполнителем почти любого интеллектуального дела. Но чтобы быть крупным математиком, необходимо обладать гениальной логикой — как для того, чтобы быть композитором, нужно иметь гениальный, особый музыкальный слух.

Та девочка, о которой я уже говорил выше, — настоящий бич для всех, кто не следит тщательно за своей речью. Она не прощает ни малейшего отступления от железной логики. Однажды при мне ей читали стихи Чуковского:

Уходи-ка ты домой, говорит,
И лицо свое умой, говорит.
А не то как налечу, говорит,
Растопчу и проглочу, говорит.

Дальше читающий решил пошутить и допустил «отсебятину»:

Как пустился я по улице бежать, говорит...

— Кто говорит?! — возмущенно оборвала его слушательница. — Кто говорит?

Ее резануло нововведение чтеца: ей было ясно, что персонаж сменился — раньше «говорил» Крокодил, а теперь повествование повелось от лица автора поэмы, а следовательно, сохранять присказку «говорит» стало логически бессмысленным...

Вот еще несколько из многочисленных случаев «реакции математика» на представляющиеся обычным людям вполне правомерными тексты.

Преподаватель вуза, очень тонкий математик, сказал однажды, что знаменитая русская песня о замерзающем «в степи глухой» ямщике кажется ему нелепой по своему содержанию. Такую оценку песни он пояснил следующим образом: в тексте говорится, что ямщик, замерзая, «товарищу отдавал наказ». Из этого следует, что товарищ надеялся добраться до дому и передать всем, кому следует, предсмертную волю несчастного ямщика. Значит, товарищ не подвергался угрозе замерзания, на которое был обречен герой песни. Но как можно представить себе ситуацию, в которой один из двух друзей прекрасно себя чувствует и собирается ехать или идти домой, а второй погибает от холода? Если даже предположить, что товарищ пойдет домой пешком, то, поскольку он не подвергается опасности замерзнуть, можно заключить, что он тепло одет. Почему же в таком случае он не дал часть своей одежды второму?

Подумав, я должен был согласиться, что вообразить такое стечение обстоятельств, в котором произошло бы описываемое в песне событие, очень трудно. Но миллионы людей, слушающих знакомую с детства песню, не обращают ни малейшего внимания на необычность действия...

Другой мой знакомый, физик, проявляет особую придирчивость к стихам русских поэтов прошлого века, не затрагивая, правда, Пушкина. Немало достается от него, например, Фету. Известный романс последнего, в котором есть четверостишие, принимаемое большинством совершенно нормально:

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней. —

он не может слышать из-за того, что нужно сказать не «все бледней», а «тем бледней» (поскольку выше есть слово «чем»).

Можно иронизировать над такой требовательностью, но нельзя отрицать, что в ней есть что-то справедливое. Если бы все читатели имели «абсолютный логический слух», поэтам пришлось бы работать над своими произведениями более тщательно. То, что подавляющее большинство людей обладает некоторой логической глухотой, показывает твердо установленный факт: почти все люди (вероятно, и вы тоже), цитируя по памяти прославленные строки из «Евгения Онегина», произносят:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем больше нравимся мы ей...

У Пушкина же стоит: «тем легче нравимся мы ей», а это придает мысли почти противоположный смысл — несравненно более точный и глубокий. Верность и целенаправленность пушкинской мысли подчеркивается последующими словами: «и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей». «Легче» и «вернее» сочетаются, гармонируют, резонируют. Но «больше» и «вернее» не выражают совместно ничего определенного. Идея, которой мы подменяем пуш-

кинскую, не только расплывчата, но и просто неправильна.

Кто из нас не употреблял фразы типа «если во Франции производится столько-то стали, то в Московской области...». Такие обороты кажутся нам вполне нормальными. На самом же деле под сочетанием «если ...то» подразумевается причинно-следственное соотношение, а в приведенном примере его абсолютно нет (а если бы во Франции не производили столько стали, то в Московской области тоже перестали бы ее производить?).

Итак, ответьте мне, как следует подумав, проявляя вы когда-нибудь свойства рьяного защитника логической непорочности? Находят ли в вашей душе отклик приведенные выше примеры, замечали ли вы перечисленные выше огрехи в популярнейших фразах или другие, о которых здесь не говорилось, но имеющие ту же природу и тот же уровень ошибочности? Нравятся вам такие обиходные выражения, как «дождь перестал», не режут ли они вам слух?

Как видите, на сей раз вашу экзаменационную оценку предлагается выставить вам самим. Но не пытайтесь завышать ее. Сказав, «у меня хороший слух», еще не станешь музыкантом. Коль скоро у вас нет явного обостренного логического восприятия, никакие упражнения его не создадут (хотя и могут несколько улучшить). В этом случае быть творцом в математической науке вам не суждено.



Ну что ж, дорогой читатель, у нас с вами позади уже три очень серьезных испытания. Может быть, вы уже сдались и читаете статью из простого любопытства. Если дело обстоит не так, разрешите спросить вас: не надоели вам тесты, не устали вы от экзаменов, не появилось ли желание уклониться от дальнейших проверок?

Коли вы не боитесь новых испытаний, а тем более, коли вы жаждете их, чувствуете, что борьба становится все более важной для вас, то я приготовил вам сюрприз.

Я выиграл — вы можете претендовать на то, чтобы стать настоящим математиком. Ваши качества позволяют рассчитывать на этот высокий титул. Смелость в стремлении к цели была последним из этих качеств. По существу, математик не так уж сильно отличается от остальных людей. Но что-то должно присутствовать в нем от рождения, и это «что-то» присутствует в одной десятой части человечества. Не так уж мало!

Но не торопитесь считать себя готовым для математической карьеры. Не забудьте, как был сформулирован наш спор. То, что я выиграл, означает лишь, что у вас появился шанс сделаться математиком. Но стоит ли ловить этот шанс, об этом необходимо очень серьезно подумать, взвесив на этот раз уже не способности, а особенности темперамента, характера, воли.

Вначале мы обсуждали с вами привлекательность профессии математика. Да, слово «математик» звучит громко и современно. Но прежде чем решиться не на шутку пробовать свои силы, нужно дать себе ясный отчет в том, что, входя в «большую математику», человек бесповоротно обрекает себя на вечный, непрерывный труд. Можно возразить, что, мол, это относится и к любому другому делу. В какой-то степени это справедливо и по отношению к некото-

рым другим профессиям, но в такой ли степени, как по отношению к математике?

Вы можете накопить себе «научный капитал», обрести учеников, получить лабораторию, вырастить толковых помощников и сотрудников и к пожилому возрасту разрешить себе больше отдыхать, осуществлять идейное руководство или научное администрирование. Во многих занятиях у вас может возникнуть инерция имени, этакая пробивная сила славы. Ученые степени и прошлые научные заслуги играют большую роль при оценке трудов, сказываются в быстроте их публикации, в их распространении. Наконец, повсеместно огромное значение имеет опыт, хотя бы обычный жизненный опыт, не говоря уж о научном опыте: он позволяет делать работы с меньшей затратой сил как раз к тому времени, когда этих сил остается не так уж много. Короче говоря, представителям интеллектуальных профессий как бы помогает сама природа, и они вопреки возрасту могут непрерывно идти вверх по лестнице успеха — практически до самой смерти.

Математики — исключение!

Наука, которой они служат, беспощадна. Ее не интересуют ни накопленные заслуги, ни пышные звания, ни членские билеты академий. Ей нужны конкретные результаты. Ей нужен гигантский и притом непрекращающийся труд всей жизни.

Математики прекрасно понимают это и сами становятся беспощадными. Поговорите с математиком о математиках, спросите его: «А как вы расцениваете того-то?» Вы никогда не услышите в ответ: «Он много знает», или «Он эрудит», или «Он очень трудолюбив и образован». Ответы будут только двух типов: «Он сделал то-то и то-то» или «Он ничего давно уже не публикует». В первом случае ученый признается ученым, во втором — нет, какие бы степени у него ни были. Математика не проведешь на мякине, не обкрутишь вокруг пальца, не пустишь ему пыль в глаза с помощью сотрудников и помощников, с помощью обобщающих эссе. Ему подавай результаты, подавай всегда, каждый год, иначе тебя сбросят со счетов и никакая славная биография тебе не поможет. А ведь с годами добывать результаты становится все труднее.

Поэтому математика по судьбе можно сопоставить скорее со спортсменом, чем с ученым другой области науки. Он знаменит только до тех пор, пока остается сильным. Ослабел — дай место другим, сходи со сцены. Такова простая, жестокая и все-таки прекрасная логика самой логичной из наук.

Но математик, конечно, и отличается от спортсмена. Последнему нужны прежде всего мышцы, первому — ум. А сила ума может сохраняться значительно дольше силы мышц, но для этого человек должен все время работать. Поэтому, став профессиональным математиком, человек отрезает себе пути к расслаблению, к приятному пользованию нажитым. И само собой получается так, что вечный труд все больше и больше становится его образом жизни, его привычкой, а потом переходит в потребность и постепенно заменяет все — и радость физических наслаждений, и удовольствие широкого общения с людьми, и все то, без чего многие не представляют себе жизни.

Теперь, когда вы знаете и эту суровую правду о судьбе математика, делайте свой выбор — и да сопутствует вам успех!



ЗАМЕТКИ
И
КОРРЕСПОН-
ДЕНЦИИ



СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ КОМИССАР

«Алая гвоздика» — так называется учрежденный ЦК ВЛКСМ приз за лучший фильм для детей и юношества. В этом году, на закрытии Недели детского и юношеского кино, «Алая гвоздика» была присуждена фильму Ленинградской киностудии «Начальник Чукотки», с успехом прошедшему по экранам Союза.

Вот что рассказывает об этом фильме один из его авторов, сценарист Владимир Валуцкий:

— Мы начинали работать, отгадываясь от подлинного факта. В 1921 году на Чукотке, где бесконтрольно хозяйничали иностранные мехоторговцы, появился молодой комиссар из Анадыря Алексей Бычков, человек энергичный и деятельный. Он положил конец расхищению пушных богатств, установил твердую пошлину. Однако получилось так, что, спасая от недобитых белогвардейских банд собранные деньги, Бычков вынужден был бежать... в Америку. Этот мужественный человек совершил кругосветное путешествие, привез деньги в Москву, о чем в «Известиях» была коротенькая информация. Собственно, с этой информации и начался наш фильм.

Но история Бычкова стала скорее поводом для сценария, а не его основой. Гораздо важнее казалось нам рассказать о времени, об удивительных людях революции, одержимых высокой идеей, может быть, в чем-то наивных, но беспрельдно преданных делу революции. Ведь это было время, когда все только начиналось, когда ни у кого не было государственного

опыта, когда слесарь учился искусству дипломатии, крестьянин руководил наркоматом, а вчерашний писарь искренне верил в возможность за год построить на Чукотке социализм. Что это были за люди, какая сила заменяла им университеты, какая вера помогала преодолевать неграмотность и неумение? Это были люди, у которых дело было словом и слово было делом. Люди, чуждые всякой двойственности. Донкихоты в лучшем толковании этого слова.

Мы сознательно «занизили» возраст нашего героя — в картине ему не 25, а 17. Сознательно создали драматургическую «случайность», благодаря которой писарь Алеша вынужден остаться один с чужим мандатом в кармане в должности «начальника Чукотки», вовсе ему не предназначавшейся...

Наш фильм называют героико-романтическим. Это так. Хочется добавить слово «комедия». Героико-романтическая комедия. Сочетание это может показаться странным, но ведь в жизни не бывает чистых жанров, комическое соседствует с трагическим, серьезное — со смешным. Молодость нашего героя ставит его в забавные положения, он порой комичен в парадоксальности своего поведения, но дело ведь в том, что классовое чутье, верность революции и человеческая честность позволяют ему с честью выпутываться из любой, самой нелепой ситуации, — и в этом зерно героического и романтического образа.

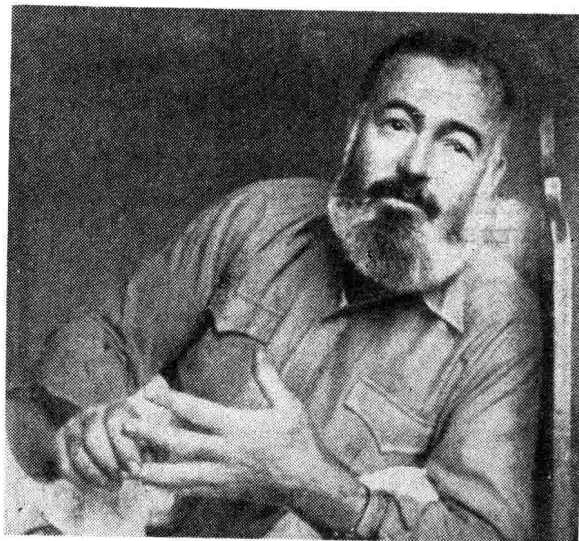
Должен заметить, что такого рода жанр очень понравился мне и режиссеру В. Мельникову, и нам бы очень хотелось продолжать по-

иски в этом направлении. Пользуясь средствами комедии, говорить о вещах вроде бы вовсе не смешных. Сейчас мы готовимся к работе над современной комедией, героем которой будет симпатичный солдат Костя Збруев, а речь в ней пойдет о любви, об отношении к женщине, о трагическом непонимании некоторыми людьми того факта, что истинная любовь приходит лишь тогда, когда человек научится отдавать себя людям, любимому, любимой бескорыстно и щедро... Но это — будущее, а если говорить о «Начальнике Чукотки», то... как много хотелось бы переделать в этой картине, как много видишь теперь в ней ошибок и просчетов, и возникает извечная мысль: если бы начать все сначала! Мы ведь тоже учились, как и наш Алексей, это наша первая большая работа...

Однажды на одном из обсуждений картины кто-то сказал, что в начальника Чукотки с удовольствием будут играть дети. Скажу честно, мне не довелось видеть такой детской игры. Я видел игру в Чапаева, в красных дьяволят... Но если где-нибудь, в каком-нибудь одном из тысяч дворов, какой-то мальчишка сейчас лихо разделяется с жадным американским купцом Стенсоном и забирает в курятник коллежского регистратора Храмова, то можно ли мечтать о более достойном продолжении удивительных приключений милого нашему сердцу Алеша Глазкова?..

Кадр из фильма «Начальник Чукотки». Справа — Алеша Глазков.

ЛЮБИМЫЙ СТУЛ «ПАПЫ ХЕМА»



Гаванское время шестнадцать часов!.. — разносится голос из радионамиков. — Закончить судовые работы!.. Желающие идти в увольнение могут записаться у вахтенного штурмана. Автобус на пляж будет у борта судна в семнадцать ноль-ноль!..

Выходят на кормовую палубу механики, мотористы, матросы. Ну и жаряща же сегодня! Хотя почему «сегодня»? Тут, на Кубе, каждый день жарко. Третий месяц я работаю в гаванском порту, в ремонтной команде Калининградской базы экспедиционного флота, и не помню, чтобы за эти три месяца хоть раз тучи закрыли небо и на землю бы хлынул холодный, освежающий ливень. Что поделаешь, тропики!

Испачканные солидолом и краской парни закуривают. Сейчас умыться — и на пляж...

— Так как, ребята, насчет ремонтника?.. Кто со мной? — Еще вчера за ужином я рассказал, что в ближайшее время на Кубу приезжает вдова Эрнеста Хемингуэя, Мери, и мой хороший знакомый Рене Вильяре, кубинский приемный сын знаменитого писателя, директор дома-музея «старика Хема», просил немного помочь с ремонтом. Сотрудников в музее мало, боится, что не успеет все сделать до приезда Мери. — Нужно десять человек. Думаю, за неделю справимся...

Все молчат, поглядывают на толстяка боцмана. Боцман пользуется авторитетом. Как скажет, так и будет. Я тоже гляжу на боцмана. Ну так как, Серега?..

— Ладно, поработаем, — говорит боцман. — Он был толковый му-

жик. Рыбак. И писал о рыбаках. Читал я про старика, который выудил из океана марлина. Железно написано.

Через полчаса приходит автобус. Мы тащим в него кисти, скребки, ведра и тяжеленный бидон с краской. Едем не на пляж, а в дом Эрнеста Хемингуэя.

Под могучими, усаженными длинными иглами кактусами лежит тощая, облезлая кошка. Когда-то тут, на территории усадьбы Хемингуэя, обитало несколько десятков кошек и собак — писатель любил животных. После его смерти многочисленные «Аннели», «Арики», «Джен» и «Бланки» покинули гостеприимный холм, на котором в скудной тени пальм стоит дом Хемингуэя, и разбрелись по окрестностям Сан-Франциско де Пауло в поисках новых хозяев. Лишь две кошки упорно не покидают привычного места.

— Вот тут папа отдыхал, — говорит Рене. Приемный сын писателя невысок, смугл, подвижен, в разрезе рубашки поблескивает золотая цепочка амулета. — А потом он купался и опять шел работать. Когда папа заболел и не мог сам ходить, мы его привозили сюда вот на этой тележке. Это было очень тяжело: папа весил почти сто килограммов...

Зеленая ящерица ползет по горячему бетону бассейна. Воду выпустили из бассейна, как только умер владелец усадьбы.

— Тоже надо ремонтировать, красить... — говорит Рене. — Но все сделать не успеть. Нас тут очень мало. А хотелось бы к приезду вдовы...

— Когда приезжает Мери?.. — спрашивает боцман, окидывая

взглядом бассейн и громадную кучу железных стульев, сложенных под навесом.

— Через месяц, — отвечает озбоченно Рене и выволакивает из груды железа большое металлическое кресло. Дожди и зной сделали свое дело: краска облезла и висит лохмотьями, из-под нее просачивается ярко-рыжая ржавчина. — Это было любимое кресло папы. И вот это тоже. И вот тот столик. И вот те три стула. Он на них сидел у башни после ужина. И еще вот это, очень любимое кресло. В нем он вычитывал рукопись своего самого последнего романа... А вот этот стул...

— Сколько всего у папы любимых стульев и кресел? — спрашивает боцман.

— Сорок, — отвечает Рене, озбоченно улыбаясь.

— Ну, что ж, за дело, парни. — Боцман сбрасывает рубашку и повязывает на голове носовой платок. — Обдерем все это железо, засуричим и покрасим. А потом возьмемся за бассейн...

Солнце печет немилосердно. Работаем молча. Мне попало «любимое кресло папы». Чертов изобретатель накрутил на нем всяких железных финтифлюшек. Широкий скребок с трудом продирается сквозь вязь ржавых цветов и фигурных листьев. Едкая пыль и чешуйки краски оседают на теле... Работа движется медленно. Проходит час, другой, третий, а гора стульев и кресел ничуть не скудеет, а, наоборот, даже растет:

Редкая фотография Хемингуэя, которую Рене Вильяре подарил советским морякам.

мужчина в военной форме подтаскивает и подтаскивает облезлый металлический хлам. Где только, оказывается, не таились выводки тонконогих стульев! На теннисном корте, в глухих уголках сада, на открытой веранде возле дома. Однако отступать неудобно. Ничего, не переломимся. Надо помочь Рене. Подзапустил он все же усадьбу: силенок маловато. Работает тут всего несколько человек, за всем не уследишь.

Так проходит неделя, вторая. После работы к трапу судна, которое мы ремонтируем, подкатывает маленький автобус, и мы, шестеро механиков и матросов ремонтной команды, втискиваемся в его душное чрево.

— К папе?.. — спрашивает шофер Андрей просто так, для порядка.

— К папе, — отвечает боцман, вытирая промасленной тряпкой руки.

Автобус мчится по узким старинным улочкам пригорода Гаваны, а затем шоссе круто забирает вверх, вот и холм виден, пышные шапки пальм, под которыми таится дом писателя.

Рене встречает нас у ворот. На его лбу белые веснушки известки: рабочие, присланные министерством культуры, красят потолки дома.

— Кофе? — предлагает Рене.

Я киваю головой: тут, на Кубе, все начинается с кофе и все кончается им же — знакомства, встречи, работа.

Мы выпиваем маленькими глотками по чашечке крепчайшего, душистого, черного и густого, как смола, напитка, говорим о каких-то пустяках, поглядываем на часы: дел еще очень много, а Мери должна приехать вот-вот. Чахлая кошка трется о мои ноги и провожает нас к бассейну. Горы железа уже нет. Стулья, как новенькие: выстроившись рядами, сохнут, поблескивая свежей краской. Еще денек — и можно будет взяться за бассейн.

Этот денек заканчивается. Боцман промывает в керосине кисти и ворчит, что мы неэкономно расходует белила. В душевых плещутся мои товарищи. Рене тащит за хвост шкуру льва. Того самого, которого Хемингуэй убил с расстояния в четыре метра. Рене берет палку и выбивает из львиной шкуры пыль.

...В один из теплых майских вечеров мы с Рене сидим на открытой веранде дома и пьем все тот же черный, крепчайший кофе. На столике фотографии, толстая «хозяйственная» тетрадь, которую вел писатель.

— «...закупить пятнадцать бутылок «Клико», двадцать «Чинзано», двадцать «Баккарди»... «заменить аккумулятор на автомашине»... — читает Рене. — «Сделать укол «Негрите»... Это одна из любимых собак папы. Похоронена вместе с «Бланкой» возле бассейна... А вот еще интересная запись: «отремон-

тировать и покрасить заново железные садовые стулья».

Рене смеется. У него сегодня отличное настроение. Бассейн наполнен водой, все садовые стулья отремонтированы и покрашены заново. Теперь можно встречать Мери.

Юрий ИВАНОВ

Прослушав у нас в редакции эту историю (в тот день двенадцатый номер «Юности» как раз макетировался), Мери Хемингуэй крайне развеселилась:

— Но у нас в саду почти не было стульев. Рядом с бассейном стоял простой белый стол, два стула — и все. А вы говорите, сорок стульев?! Придерживаться истины — это ужасно, правда? Это разрушает иллюзии. Но, несмотря ни на что, я очень люблю этого директора. Я называю Рене — «мой кубинский сын». А он начинает письма ко мне всегда так: «Моя северная мама»... Когда мы жили с Эрнестом в этом доме, Рене уже работал у нас. Рядом с нами в маленьком домике жили его родители...

Мери Хемингуэй, приглашенная в нашу страну Союзом писателей СССР, побывала и в редакции «Юности». На встречу с вдовой столь читаемого нашей молодежью писателя собрались авторы «Юности»: молодые писатели и поэты, сотрудники редакции. И, естественно, возник разговор о творчестве Хемингуэя.

Мери сразу предупредила, что была всего лишь женой Эрнеста Хемингуэя:

— Мы были муж и жена. Я никогда не брала у Эрнеста литературных интервью, хотя, конечно, мы часто говорили о литературе. Поэтому не требуйте, чтобы я авторитетно высказывалась о творчестве современных американских писателей и о творчестве самого Хемингуэя. Если вы были женой такого человека, то это еще не значит, что ваши литературные суждения безупречны.

Хемингуэй, как муж? О, тут она может сказать многое! Она может сказать, что это был один из самых привлекательных, самых удивительных, самых замечательных в беседе людей.

— И, кроме того, дьявол с рогами! — восклицает Мери. — Я все еще пытаюсь держаться истины...

В течение всех семнадцати лет их совместной жизни она не сделала ни одной дневниковой записи, но готовится написать книгу, в которой попытается кое-что вспомнить об Эрнесте. Когда, однако, ее просят рассказать что-нибудь из будущей книги, Мери разводит руками.

— Я смотрела все последние дни на Россию и, честное слово, ничего не помню из этой книги.

Видно, что Мери свято чтит память Эрнеста Хемингуэя и боится исказить его облик чем-то случайно вспомнившимся или излишне личным, боится выглядеть традиционной вдовой великого писателя, щедрой на воспоминания и необузданной в литературных суждениях. Ну, конечно, такая, только такая жена могла быть у Эрнеста Хемингуэя.

Он назначил ее своим литературным душеприказчиком. И Мери рассказывает, что рукопись одного из двух неопубликованных романов Хемингуэя она никогда печатать не будет, что действие этого романа происходит во Франции двадцатых годов, там много прекрасно написанных страниц, которые можно издать в виде новелл, но в целом Эрнест не завершил работу над рукописью, и она уверена, он не захотел бы, чтобы в таком виде роман был опубликован.

Другой роман, как сказала Мери Хемингуэй, сейчас готовится к изданию. Действие в нем разворачивается в продолжение двадцати лет: начинаясь на небольшом острове около Флориды, где ловят рыбу, потом переносится в Европу, потом возвращается опять на Карибское море, на Кубу. В финале романа герой и его друзья преследуют немецкую подводную лодку, которая пытается торпедировать танкер, везущий нефть союзникам.

— В этом замечательном эпизоде, — говорит Мери, — такое проникновенное восприятие моря, такой превосходный диалог, такая насыщенность действием!



Мери Хемингуэй у нас в редакции.
Фото С. Васина.



Борис Майоров

ТРИ ДНЯ В ГРЕНОБЛЕ

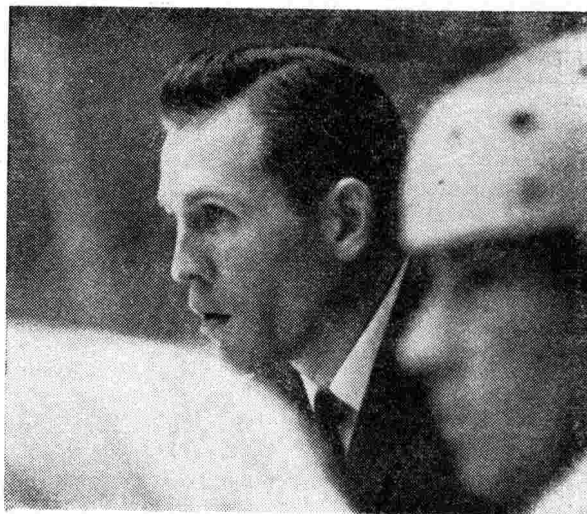


Фото
Ю. Моргулиса.

Перед вами — дневник капитана нашей хоккейной сборной Бориса Майорова, дневник, который он вел в Гренобле на Олимпийских играх. О том, что Майоров будет вести такой дневник, мы условились заранее. Потом, прочитав его, я попросил Бориса расширить некоторые записи, прокомментировать их.

И вот теперь записи Бориса Майорова предлагаются читателям «Юности». Здесь рассказ о трех днях. 15 февраля наши хоккеисты играли со сборной Чехословакии, проиграли этот матч и едва не лишились золотых медалей. 16 февраля готовились к последнему бою. 17 февраля победили канадцев и стали чемпионами Олимпийских игр.

Если вы любите хоккей, то, вероятно, прочли в свое время не менее ста репортажей об этих днях, видели те матчи по телевидению, слушали о них радиорепортажи. Так стоит ли снова?..

По-моему, стоит. Спортсмен видит спорт по-иному, чем репортеры. Мы — со стороны, он — изнутри. И этот взгляд изнутри освещает события новым светом.

Да и много ли мы с вами знаем о жизни спортсмена вне стадиона? О том, как он переживает победы и поражения? О его взаимоотношениях с тренерами, друзьями, противниками? Эти заметки ведь можно было бы озаглавить и так: «Три дня из жизни хоккеиста» или «Три дня из жизни сборной».

Этот дневник, как, впрочем, и каждый дневник, может многое рассказать о его авторе. О том, наблюдателен ли он, интеллигентен ли, скромнен ли, хорошо ли разбирается в людях. Я думаю, эти страницы помогут вам поближе познакомиться с Борисом Майоровым.

Евгений РУБИН

День первый, 15 февраля

День, как всегда, начинается с зарядки. И, как всегда, ведет ее Тарасов. Настроение неважное. Предчувствия плохие. Может, потому, что мне вообще трудно играть против чехов? Или все эти предчувствия оттого, что не очень-то у меня игра здесь ладится?..

Вечно прихожу последним в столовую: вожусь всегда больше, чем нужно. Наши уже все ушли. Встретил в столовой чехов. Поздоровались. Заговорил с Косткой — их тренером. Хотя говорить с соперником перед матчем вообще-то не стоит.

Когда нас спрашивают, верим ли мы в приметы, мы искренне отвечаем: «Нет». И действительно, кто сказал, что мы верим в приметы? Просто иногда не хочется искушать судьбу. Помню, в 1963 году в Стокгольме Аркадий Иванович Чернышев увидел в метро монету на «орле». Он проехал две лишние останов-

ки, чтобы поднять ее и чтобы никто не заметил этого. Он пронес ее до конца чемпионата в кармане. Мы тогда выиграли. А я в прошлом году нашел шиллинг в венском отеле и носил его весь чемпионат и даже привез этот шиллинг сюда, в Гренобль.

Поговорили с Косткой о том о сем. Об игре ни слова. А ведь они наверняка нам готовят какую-нибудь тактическую ловушку. Они нас учили играть в хоккей, но роли давно уже переменились. Нас, естественно, такая перемена устраивает, но их...

Ребята разбрелись кто куда: некоторые пошли в клуб, другие по комнатам — отдыхают. Каждый готовит себя к игре по-разному. Я, например, люблю поспать перед обедом. Только сегодня не уснуть. Развлечись бы чем-нибудь... Может, «Золотой теленок» выручит?

Нет, бесполезно. Все равно думаешь об игре.

Вдруг вспомнил своего друга Сашу Альметова. Этот — оптимист. В такие дни перед игрой я обяза-

тельно шел к нему. И всегда спрашивал: «Саш, ну как мы сегодня?» «Да ты что, Боб, сомневаешься? Конечно, выиграем». Знаю, он тоже сомневался, но почему-то в такие минуты я верил ему и успокаивался. А после выигрыша он любил спросить меня: «Ну, Боб, что я тебе говорил?» Да, какая была команда — Костя Локтев, Саша Альметов, Эдик Иванов, Витя Якушев! Жаль, что их нет с нами.

Все ясно: заснуть не смогу. Пошел погулять. Встретил одного из руководителей нашей делегации. И он на ходу мне бросил: «Если так будете играть, как со шведами, Олимпиаду не выиграете».

Все переживают за результаты игр. А больше всех, кажется, начальство. Почти каждый вечер заседает бюро делегации. Всех ругают, а про нас говорят приблизительно так: «Эти-то выиграют». Для нас это плохо: вроде мы ни на что, кроме победы, и не имеем права. Может, так оно и есть?..

Пять раз мы были чемпионами. Пять раз возвращались домой с победой. Привыкли и мы к победам, привыкли и наши болельщики. Лишь первый свой чемпионат мира я проиграл — это было в 1961 году в Швейцарии, — но тогда особенно не расстраивался: я был молод, у меня не было ни одной медали, даже чемпионата страны, а тут сразу две — мировая «бронза» и европейское «серебро». Тоже неплохо! С тех пор прошло семь лет, и сборная не проигрывала. Как нас встречали каждый раз после победы! Как мы были рады и горды! Мы улыбались, когда нам говорили, что из-за нас ночами не спали.

Победы вошли в мою жизнь, и я не мог представить себе возвращения домой без победы.

Прошла «установка». Прошел обед. Все вместе не заняло и часа. Лучше бы подольше, а то время будто остановилось. Когда не надо, часы ползут, как черепаха. Все наоборот.

На «установке» все получили персональные зада-

ния, все сказали по несколько слов. Слова обычные: что надо сыграть как следует, не подкачать. Я понимаю: всем хочется произнести что-то необычное, действительно подбодрить друг друга. Да уж столько этих «установок» было в нашей жизни, столько говорено! Я, как капитан, выступаю последним и тоже говорю какие-то дежурные фразы.

Потом наступает самое трудное — последние часы ожидания. А тут хуже, чем везде, — игры начинаются поздно вечером, в девять. Куда девать четыре с половиной часа? Еле дождался семи. Теперь можно уже одеваться. Раскладываю форму, думаю, с чего начать... Все делаю, как в замедленной съемке. А то оденешься за 15 минут — и некуда себя деть.

Заходит в комнату Зингер, уже одетый. Перекидываемся с ним парой слов. Беру в руки клюшку, на клюшку насаживаю коньки, перчатки — на руки, шлем — на голову (на игру — шлем на голову, обратно — без него) и — к автобусу. Сажусь. В автобусе какая-то женщина. Заходит Аркадий Иванович. Я его спрашиваю: «А эта женщина с нами поедет?» «Не волнуйся, попросим выйти», — отвечает он.

Женщина в автобусе — это плохо. Мы все помним, как в 1963 году в Праге, когда ехали на матч, посадили какого-то знакомого Вити Кузькина с женой. Проиграли тогда 3:4. За 10 секунд до конца нам шайбу забросили. Хорошо еще — игра была товарищеская...

Автобус трогается, и Саша Урбан, наш переводчик, зачитывает телеграммы, в которых нас поздравляют с победами, желают успеха. Потом кто-то говорит: «Саш, почитай про зверюшек». Саша достает из кармана маленькую книжечку и читает занимательные истории про зверей. Все делают вид, что слушают, но, наверное, как и я, думают о своем, об игре.

Вот и стадион. Автобус останавливается у входа на арену. Здесь нас ждут наши туристы. Они тоже вол-



День первый: на скамейке нашей сборной, мы проигрываем...

Фото Л. Бородулина.

нуются, что-то говорят, но что — я не слышу. Молча, по одному выходим из автобуса и направляемся в туннель, который ведет в раздевалки.

Пятнадцать минут катаемся, искося поглядывая на соперников, впрочем, как и они на нас.

Звучит сирена. Покидаем поле на 15 минут. Снова идем в раздевалку. Все сели. Немного помолчали. Затем — на лед. Я, как всегда, выхожу первым. Это из года в год, и вперед никто не лезет. А если человек первый год в сборной, то его одернут. Как всегда, катаюсь по кругу. Жду свистка. Наконец-то. Наша тройка остается на площадке. Судья готов вбросить шайбу. Мы замираем на своих местах...

Придя после матча к нам в раздевалку, Николай Озеров сказал, что это была самая длинная пауза в его долгой жизни теле- и радиорепортера. Продолжалась она ровно 29 минут.

А случилось вот что. Когда судья собирался уже вбросить шайбу, к нему подъехал капитан сборной Чехословакии Головка и стал что-то объяснять. Потом они вместе отправились к судейскому столу, туда же подошел президент Международной хоккейной федерации Ахерн, наши тренеры, Костка. Подъехал туда и я. Мы долго не могли понять, в чем дело. Наконец поняли. У трех наших — Фирсова, Блинова и Давыдова — на задниках коньков нет наконечников. По международным правилам они должны быть. И хоть этот пункт обычно нарушается, но раз есть возражения, ничего не попишешь: закон есть закон.

Что делать? Где взять наконечники? Хорошо, тут же в зале оказались норвежцы, одолжившие нам свои. Пока пришел мастер, пока возился с коньками, и проползли эти бесконечные 29 минут.

Игра началась, но первый запал — очень дорогой и, я бы сказал, ничем не восполнимый — пропал. Дмитрий Николаевич Богинов, первый тренер Коноваленко, помню, сказал мне как-то: «Если Витка встал в ворота, а игра задерживается, лучше его менять сразу...»

Однако «установка» есть «установка» (силовое давление, мощный натиск, штурм всей команды), и на 28-й секунде мы открыли счет. Забей мы еще гол, и могла бы повториться Любляна, когда мы в первые минуты забросили в чехословацкие ворота три шайбы. Но Любляна не повторилась. Игра вошла в спокойное русло.

«Ничего, сейчас забьем, и все будет нормально», — думал я и в то же время не верил, что забьем. Слишком легко нам далась первая шайба. Мне казалось (а может, так и было), что каждый из нас действует на поле не с полной отдачей сил, что мы слишком самоуверенны. Да, мы атаковали, но не было мощи в наших атаках, они захлебывались где-то на подступах к воротам чехословацкой сборной.

Потом шайба влетела в наши ворота. Ничего особенного, бывает. Но вот еще гол. И он обязан был заставить нас насторожиться. Сама ситуация — гол нам забили потому, что мы неудачно производили смену составов без остановки игры, — была сигналом: что-то мы заранее демобилизовались. И тут же второй сигнал — третий гол, после того как Коноваленко, опять-таки по небрежности, отбил шайбу прямо на клюшку противника.

Когда я был помоложе, то всегда кричал на вратарей. А теперь я отношусь к вратарям снисходительнее. Ошибки вратаря просто более заметны — и на этот раз нельзя было винить одного Коноваленко: вся команда играла не ахти как.

Весь второй период мы пытались переломить ход борьбы. Но когда соперники приблизительно равны по классу, это чрезвычайно трудно. 1:1 — все, чего мы могли добиться. Разрыв в две шайбы остался, а

времени мало — всего 20 минут. И мы заспешили. В последние минуты мы цеплялись за свое территориальное превосходство, как утопающий за соломинку. Мы все рвались вперед, спешили, сбивались в кучу, бросали лихорадочные взгляды на секундомер.

Спасти игру мы не сумели. 4:5 — счет матча.

Чехи обнимаются, целуются, кричат. Со стороны странно на это смотреть — ну, выиграли и выиграли. Но тут же думаю: а мы-то разве ведем себя иначе, когда выигрываем в таком вот матче? Я им завидую. Поздравляем их с победой и — в раздевалку.

...В нашей раздевалке гробовое молчание. Первая мысль, которую я прочитал в глазах ребят: «Все конечно, надежд никаких». Я и сам так думал. Не хотелось идти в автобус, проходить сквозь строй молчащих болельщиков.

Отношение болельщиков к нашим успехам и неудачам для меня очень важно. Выигрываем мы или проигрываем, я всегда думаю о том, как реагируют на это болельщики. Помню, как после наших побед Саша Альметов мне говорил: «Ну, Боб, сегодня в Москве винные отделы план перевыполняют...»

В тот момент в раздевалке я почему-то сразу вспомнил композитора Яна Френкеля. Как он пришел к нам в Олимпийскую деревню, как весь вечер пел нам свои песни, пел долго, пел столько, сколько мы просили. А письма и телеграммы, которые болельщики прислали нам из Москвы! А мы...

Домой ехали молча. С нами — шведы. Успокаивают нас. Наконец добираемся до Олимпийской деревни, до своих комнат. Сел на кровать прямо в форме. Не хочется раздеваться, нет сил идти мыться.

Заходит Жора Авсеенко — наш массажист.

— Когда-нибудь должны же были проиграть.

— Брось. Когда-нибудь, но не сейчас.

— Все будет нормально.

— Нет, Жора, не будет. Первого места нам не видать.

Надо идти ужинать. Первый час ночи. Не хочется. Но там, должно быть, ребята...

После ужина долго стоим на балконе с Александровым. На чем свет стоит ругаем начальство. Надо же в такие часы кого-нибудь ругать. Потом иду спать, предварительно взяв у врача снотворное. Опять заглянул Жора.

— Может, помассирую?

— Не надо.

Не верится, что проиграли. Не верится, что уходит первое место, к которому мы так привыкли.

День второй, 16 февраля

Проснулся и почувствовал, что не выспался. Настроение — хуже не придумаешь. Чернышев на зарядке сказал: «На проигрыш наплевать и забыть. Еще не все потеряно, а впереди матч с Канадой. Готовиться надо, как и прежде».

Представляю, что пишут газеты. Наверное, камня на камне не оставили. Зашел знакомый журналист из «Советского спорта», и я его спросил об этом. Он говорит, что написал очень миролюбиво. Считает, что просто не получилась игра, недооценили противника. Что написали остальные — не знает. Конечно, нас можно ругать. Но сейчас — ни в коем случае. До начала турнира — пожалуйста, если это, как у журналистов говорят, «линия». Но когда чуть ли не ежедневно превозносят, хвалят, называют «ледовой дружиной» — и после первой же неудачи сразу в атаку, — это уже ликуда не годится. Ну, да бог с ними, с журналистами. У них сейчас свои заботы, у нас — свои.

Зашел Полупанов. Интересно, что он меня называет Борис Александрович. Я его — Витя, а он меня — по имени-отчеству. Ничего не попишешь: я ветеран. А у него еще все впереди, разница между нами — восемь лет. Порядочно. Он говорит: проиграла потому, что многие несерьезно отнеслись к матчу. Считали, что раз мы до Олимпиады три турнира выиграли, то и тут нам все нипочем. Уже дырки в пиджаках прокручивали для значков «Заслуженный мастер спорта». И в его голосе звучали и обида и злость: «Как, мол, они могли так рассуждать?»

Вот вам и мальчишка. Он все знает и все понимает. В этом смысле он даст сто очков вперед многим, кто постарше. И ближайший его друг Володя Викулов тоже. Да и что значит «тем, кто постарше»? В нашем деле тот человек старше, кто дольше испытывал на своей шкуре, что такое чемпионат мира. Это такая тяжесть, такая нервная нагрузка, с которой не может сравниться ничто. Со стороны это даже представить себе невозможно. Даже сто матчей против самой сильной команды на каком угодно турнире не заменят одного, сыгранного на первенство мира. Так что не такие уж они мальчишки: третий год тянут с нами чемпионскую лямку.

И вообще повезло нам, что попали в сборную эти парни. Хорошие они ребята и умные. Сразу приглялись ко двору. Далеко не всегда такое бывает.

Днем — тренировка. Как ни странно, чувствую себя легко и свободно. Как будто вдруг какая-то тяжесть свалилась с плеч. Это, должно быть, оттого, что сам-то я неплохо вчера сыграл. Если бы не поражение... Словом, катался легко. Чувствовал, что не все силы вкладываю в ускорение. Значит, форма хорошая. Но понадобится ли она еще?..

Дома, в «деревне», спустился вниз и стал ворошить кипы телеграмм и писем. Пришли некоторые телеграммы для команды. Ободрают, желают удачи, советуют не расстраиваться, верят в победу. Верят в

победу — значит, верят в шведов. Взяли бы шведы у чехов хоть очко — и тогда наша судьба опять у нас в руках. А уж мы ее не упустим.

Шведы почти никогда не уезжают с первенства мира, не отобрав одного или двух очков у какой-нибудь из сильных команд. Здесь пока еще не отобрали. А игра осталась всего одна. Значит... Да ничего это не значит. Эх, начать бы все сначала!

И никуда от этих мыслей не денешься. Обстановка такова, что приходится все время сталкиваться с хоккеем. Вот почему я не люблю, когда все команды живут вместе. Вроде бы неплохо — можно поговорить с приятелями из других команд. Но, с другой стороны, они тебе все время напоминают о себе, о своем существовании, о том, что против них придется играть. То перед тобой канадцы, то чехи, то шведы. И так целый день.

Вот почему, кстати, меня так тяготят сборы, когда они затягиваются свыше недели. Нельзя замыкать человека надолго в рамки хоккея. Это его ограничивает, обедняет. Да и здесь я все поровню сменить обстановку: хожу к друзьям в пресс-центр, гуляю по городу с Жорой Авсеенко.

После обеда, когда я отдыхал, пришел мой старый знакомый — массажист шведской команды Рольф Асп. Сколько лет мы с ним знакомы, я уж не помню. Он наш старый болельщик. Огорчается, когда мы проигрываем, радуется, когда побеждаем. Да и вся шведская команда с нами дружит. Когда мы встречаемся со шведами — никаких оборонительных вариантов, открытый хоккей. Наверное, поэтому игры всегда получаются интересными и содержательными.

Разговариваем на английском.

— Как дела, Борис?

— Плохо.

— Все будет нормально, завтра вы будете чемпионами.

Я вспомнил Вену. Вспомнил, как перед нашим мат-



День второй: скорей бы спать, да наступало бы уже утро... На первом плане — Вячеслав Старшинов.

Фото В. Шандрина.

чем со сборной Чехословакии ко мне подошел тренер шведов Стрёмберг и спросил, выиграем ли мы (в случае нашей победы шведы выходили на второе место, в ином случае серебро доставалось чехам). Без тени сомнения я ответил: «Да». Вспомнил я, как после приезда один мой знакомый болельщик сказал с упреком: «Не могли, что ли, уступить?» Не могли. Иначе нет честной борьбы и нет спорта. Да и такие признанные мастера хоккея, как наши чехословацкие друзья, в уступках не нуждаются. В бескомпромиссной мужественной борьбе они способны сами победить любого соперника.

Рольф рассказал мне, что шведы не тренировались сегодня на льду, а ездили за город. Сделали гимнастику, пробежали небольшой кросс. «Не волнуйся, Борис», — еще раз успокоил он меня на прощание. Затеplилась надежда. Не может быть, чтобы шведы так плохо сыграли чемпионат. Такого не бывало.

Перед ужином зачитался «Золотым теленком» и в столовую явился, как всегда, последним. Там уже не было никого из команды. Вдруг так захотелось повидать ребят — даже не поговорить, а просто так, посидеть со всеми, что я бросился в кино, надеясь, они там. Нет, никого из наших нет. Поскучав немного в зале — шел ковбойский фильм, — ушел в наш корпус. Половина команды спокойно сидела у телевизора. Сразу стало веселее.

Разошлись рано. Наверно, у всех на уме то же, что и у меня: скорей бы спать, да наступало бы уже утро. С трудом дождался одиннадцати часов, взял таблетку снотворного у доктора и — в постель.

Когда лег, подумал о Чернышеве и Тарасове. Они-то уж точно не спят. Нам худо, а им — и вовсе. Мы-то, каждый из нас, еще как-то можем себя оправдать, свалить на другого: «Не отдал пас, не забил». А им кого ругать? Вроде бы все продумали, все продискутировали, и вот на тебе — осечка. Да еще где — на олимпийском турнире! И не докажешь ведь никому, что спорт есть спорт и всякое может быть.

Что-то они сейчас думают о каждом из нас? Кого ругают? А что про меня говорят?..

День третий, 17 февраля

А дежурный входит в комнату и будит меня: «Боб, вставай». Вставать не хочется. Настроение — нечего и говорить. На зарядке Чернышев молча стоит в стороне, наблюдает. Тарасов подбадривает нас: «Ну, ну, веселей, сегодня наш последний и решительный бой». Я понимаю, что и его терзают сомнения, как и каждого из нас, но он не имеет права давать волю чувствам. Он должен нас подбодрить, настроить на игру с самого утра.

Подхожу к Чернышеву.

— Ваш прогноз, Аркадий Иванович?

— Знаешь, Бося (он меня так зовет), я верю в шведов.

Может, и верит, а может, тоже настраивает на игру. Нет, скорее всего верит. Наверное, заметил в игре и чехов и шведов то, чего не заметили мы.

День до обеда проходит в ожидании матча Чехословакия — Швеция. Не знаю, куда себя деть. Пошел гулять — не гуляется. Стал читать — не читается. В конце концов услышал смех в одной из комнат и зашел туда. Собралось полкоманды. Начались воспоминания об играх и игроках, о чемпионатах и тренерах.

На собрании Аркадий Иванович сказал: «Сами проиграли из-за себя, сами теперь и выпутывайтесь». Обсудили план игры с Канадой. В воротах вместо Коноваленко должен играть Зингер. «А теперь отдыхайте», — сказал Чернышев, — и постарайтесь не смотреть матч чехи — шведы по телевизору».

Пообедал и прилег отдохнуть. Не тут-то было. Пришли мой брат Женька, Наум Резников — судья — и наш приятель Володя Железнов. И начались воспоминания о матче с чехами. Спорили, шумели. Сошлись на том, что не все еще потеряно.

Вот и пять часов. Нет, не могу ничем заниматься. Пойду к телевизору, взгляну, что там происходит.

Никогда еще я не смотрел матчи, в которых решалась судьба нашей команды. Слишком велико нервное напряжение и без этого. А здесь надо переживать еще и за других. Поэтому мы вообще редко сидим у телевизора. Лучше пойти погулять. Результат узнаешь потом. Помню Стокгольм. Предпоследний матч Швеция — Чехословакия. Если шведы победят или сыграют вничью — они чемпионы мира; если проиграют — дорога к золотым медалям нам открыта. Помню, как втроем — Слава Старшинов, Женька и я — ушли в город. Некоторые ребята смотрели матч, а мы — нет.

А теперь не могу заставить себя уйти от телевизора: нервы уже не те. Пришел в холл, а вокруг телевизора полно ребят.

Бойкое начало, и шведы ведут 1:0 — шаткий счет. Смотрю матч с чувством, что шведы вот-вот пропустят шайбу. Так оно и случилось. В конце периода Голонка с подачи Иржика сравнял счет. Не верится, что чехи упустят шанс выиграть золотые медали. Потом, когда я стоял на пьедестале с Голонкой и Джонстоном, Голонка сказал мне: «Нет у нас счастья». Да, счастье в спорте — великое дело.

Второй период. Равная борьба. И в этой равной борьбе шведы забрасывают вторую шайбу. В перерыве оглядываюсь — уже вся команда смотрит матч. Нет только тренеров и Коноваленко. Обсуждаем игру и приходим к выводу, что шведы все-таки физически подготовлены неважно, но играют самоотверженно. Выдержат ли? Вот в чем вопрос.

Не прошло и половины третьего периода, как счет становится 2:2. А впереди еще 13 минут игры. Появился Коноваленко. На него зашикали: «Уходи отсюда, тебя не было, и все было нормально». Смущаясь, он уходит. Он, конечно, понимает, что это не серьезно. Но не уйти нельзя. Потом будешь себя терзать: «Вот остался, и...» Мне тоже захотелось уйти и вернуться после окончания матча. Я уже приподнялся было со стула, но подумал: «Пусть все будет»...

Видно, как шведы с трудом сдерживают натиск, как они кидаются под броски, как из последних сил догоняют противника. Когда же этот матч кончится!

И вот за несколько минут до конца матча шайба попадает к Голонке. Он совсем один перед воротами, почти на том же месте, откуда два дня назад забил гол нам. Ему никто не мешает. Он даже успевает осмотреться. Шведский вратарь слишком рано дожится под бросок. Теперь Голонке совсем легко: перебросить шайбу над Холмквистом.

Голонка бросает и попадает прямо в лежащего вратаря. Да, «нет счастья», хотя на сей раз чехи сделали все, чтобы его заслужить. Ах, Голонка, Голонка... В другом турнире такой мастер из подобного положения забросил бы десять шайб из десяти. Здесь же такое могло случиться с любым из нас.

Матч закончился. Шведы оказались верны себе: они отобрали очко у лидера. А заодно и открыли нам путь к золотым медалям.

Я бросился одеваться. Когда оделся, меня попросили зайти к себе тренеры. Там уже были Александров, Фирсов и Зайцев. Что еще за совещание перед самой игрой? Оказывается, после окончания матча Швеция — Чехословакия к тренерам зашел Коноваленко и попросил поставить его на матч. Они вызвали нас, чтобы посоветоваться. Мы были «за». Все в

один голос сказали, что Коноваленко два раза подряд плохо не сыграет.

В автобусе все сразу закричали Саше Урбану: «Читай про зверюшек». И он приступил к своим обязанностям. Все было, как обычно. Но с каким настроением мы разминались и выходили на игру! Не было лозунгов вроде: «Отдадимся игре полностью». Каждый понимал и знал, что это надо сделать. Мне кажется, канадцы почувствовали наше состояние. С первой минуты мы подавили их огромным желанием победить, быстротой и необычностью комбинаций, работоспособностью. В первом периоде, находясь в меньшинстве, мы открыли счет. Это сделал Фирсов. Только в первой половине второго периода была относительно равная борьба, но как только Мишаков удвоил счет, всем стало ясно, что мы победим.

В первом периоде я получил травму: кто-то ударил меня клюшкой в горло, и говорить мне было трудно, а тем более кричать. Но молчать я тоже не мог. Успокоился только к концу второго периода. Но тут ко мне подошел Тарасов: «Что молчишь? Поднимай народ!» А я ему: «Нужно ли? Посмотрите, все летают на крыльях». Да, команда играла легко, непринужденно, и никого не надо было подгонять.

Когда раздался финальный свисток, мы бросились обниматься, качать нашего вратаря, наших тренеров, целовались и готовы были расплакаться. Кого только не было на поле в этот момент! На каждые два-три знакомых лица приходилось полсотни незнакомых, которых я видел в этот вечер первый раз в жизни. Мы обнимались с ними, как со старинными друзьями, и они, кажется, были счастливы не меньше нас. Мы позировали фоторепортерам. Позировали, наверное, раз сто. А могли бы и тысячу — мы были в этот

вечер очень покладисты и никому ни в чем не отказывали.

Потом мы спустились к себе в раздевалку и около часа ожидали церемонии награждения. Опять было полно народу, опять бесконечные разговоры, поздравления, объятия. Мы сидели в форме, потные и измученные, но время летело незаметно. Я готов был сидеть вот так и слушать, и говорить, и принимать поздравления хоть целую вечность.

Протискался в раздевалку мой приятель — Дима Зотов с киностудии имени Горького. Днем он и еще один наш турист спешили на матч Чехословакия — Швеция и по ошибке проехали лишнюю остановку. Вернулись. Сели на свои места. Им показалось, что в зале очень холодно. Они подняли воротники пальто и так молча просидели весь матч. Вечером наша игра. Они снова проехали лишнюю остановку, теперь уже нарочно. Снова, усевшись на трибуне, подняли воротники и снова промолчали всю игру, хотя им очень хотелось кричать «Шай-бу!»

После церемонии награждения мы ехали домой, пели песни, и мне казалось, что в Гренобле праздник. Так улыбались нам и махали руками прохожие, так много было народу на улицах.

Я улегся спать, когда уже светало. Да что там спать! До утра я не мог даже переодеться. В моей крошечной комнате невозможно было протолкнуться. Время от времени я вспоминал, что еще до сих пор не снял форму, и бежал за перегородку к умывальнику, включал кран, но вдруг, услышав, как кто-то что-то кому-то объясняет, выскакивал обратно и кричал: «Да не так! Сейчас я вам все объясню, как было!»



День третий: когда раздался финальный свисток...

Фото Л. Бородулина.



Марк Захаров

САДОВЫЙ УЧАСТОК

Когда тебя назначают старшим инженером, кому-нибудь это всегда не нравится. А уж когда назначили меня, это всем не понравилось. Потому что способный человек. При ближайшем рассмотрении. Издали, может, и ничего особенного. А вот когда рядом посмотришь, то способный. А если долго смотреть, и с близкого расстояния,— прямо очень способный, почти из ряда вон выходящий.

Еще когда кандидатскую диссертацию защищал, уже и тогда некоторые от зависти коситься начали, а уж когда за докторскую взялся, многие вообще не выдержали и затаились. После чего вызвали как бы невзначай в местном и ласковым голосом взяли и выделили мне садовый участок. Как бы от души. Как бы вроде для того, чтобы мне же лучше было на свежем воздухе.

Я, конечно, в то время, ничего не подозревая, говорю:

— Спасибо, друзья, тронут.

Покупаю себе мотыгу, грабли, вилы, еще чего-то и на участок. В хорошем таком настроении. Сажаю себе яблоню, потом грушу, потом смородину, потом ежевику, потом бруснику, потом, чувствую, остановиться не могу. Фикус сажаю, эту... мать-и-мачеху, анютины глазки, грибы прямо обратно в землю закапывать стал. Все пересажал, что мог. Участок большой, чувствую, мне каждый клочок в нем дорог. И с каждым часом все дороже... дороже... Чувствую, уже во мне какие-то мысли бродить начинают неясные... Какие-то инстинкты пробуждаться начали.

Особенно когда кое-что выросло. Я прямо сразу птиц возненавидел. Грачей прямо, чувствую, ненавижу от души. В особенности, когда они над смородиной пролетают. Хоть и высоко, а я палку в руки — и разные выкрики им вслед. Нехорошие такие выкрики. Соловья тоже с участка шуганул. Потому что, вижу, он, мерзавец, на огород косится. Сам будто поет себе, а одним глазом так на редиску и зыркает.

Ну, дальше — больше. Забор стал наращивать. Жена — за калитку, говорит:

— Милый! Я огурчиков хочу купить.

Я говорю:

— Зачем же деньги тратить? Свои есть.

Она — за салатом. Я говорю:

— Зачем? Свой вон зеленеет.

Она говорит:

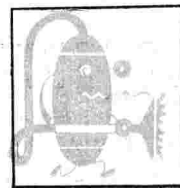
— Тогда я хоть сметаны куплю.

Я говорю:

— Зачем? Лучше козу заведем. Своя сметана будет. И сыр свой. И шерсть своя.

Сказано — сделано. С головой в работу. Потом перекур. Достāju папироску и сразу назад в кармашек. Думаю: «Зачем? Лучше свой табак выращу».





Рисунки И. Оффенгендена.

Выщипал на участке всю лишнюю траву и сажаю себе табак на здоровье, потом овес, потом клевер, потом пшено, гречку, рис, манку, геркулес стал высаживать. И за женой слежу, чтоб никуда с участка не отлучалась. С работы ее забрал, в драмкружок не пускаю.

Она мне:

— Милый, — говорит, — я только за хлебом и обратно.

Я говорю:

— Здравствуй! А зачем я рожь посеял? А пшеницу на кой посадил!

Она на меня глядит с тоской, всхлипывает, бедная, и глазам своим не верит. Потому что я целыми днями в одной прозрачной жилетке хожу на голое тело (из старой болоньи выкроил) и в галифе дедовских, еще от гражданской войны остались, ну, а на ногах одни галоши на босу ногу и больше ничего.

Она прямо еле сдерживается и говорит мне дрожащим голосом:

— Милый! У тебя сзади-то от галифе уже ничего не осталось. Начисто. Ты бы себе хоть брюки новые купил!

Я говорю:

— Зачем? Я лучше хлопок посажу. Или лен-долгунец. Из него такую пряжу можно получить, — говорю, — никакая синтетика не заменит.

Вообще я как-то, чувствую, в синтетике стал почему-то разоча-

ровываться. В эстетике тоже. Чувствую, как-то и в кибернетику уже не верю. К электричеству прежнего доверия нет. От свежих газет отрешиваюсь.

А тут как раз приезжают родственники, я им навстречу с этим... как бы это поприличнее сказать, с одобрением. Весь буквально в удобрении. Разные его сорта смешиваю в поисках наилучшего.

Родственники в панике. Говорят: — На работе кошмар! Шеф в отчаянии! Без тебя там чего-то не ладится.

Наконец делегация от месткома. Все в один голос:

— Сергей Иванович, — говорят, — кончай с этим делом! Опомнись! Хорошенького понемножку. Гляди, как тебя скрючило, гляди, как засосало! Остановись! Нам заказ новый осваивать, дел невпроворот! В лабораторию новая аппаратура поступила! Вернись в науку!

Я говорю:

— Да? А помет, — говорю, — кто за меня сушить будет? А бузину кто за меня окучивать станет? Эх... да? — говорю. — Как его... Ну, поэт еще такой был... кудрявый, с бакенбардами. Фамилию уже забыл. Как-то все не до него. И не до вас, — говорю. — У меня вон коза не доена. Куры чего-то нестись хуже стали, индюк прихворнул, телок хромает... А ну, — говорю, — отойдите с участка, не мешайтесь, я сейчас кроликов разводить буду!

Ну, они сперва назад подались, потом ведущий инженер ручкой махнул, все враз на меня набросились — под руки, в зубы кляп, — и в санаторий за счет месткома. Целый месяц отхаживали. Я и отошел. Даже под конец фамилию вспомнил этого... которого уже забывать стал. Пушкин это, Александр Сергеевич!



СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» ЗА 1968 ГОД

РОМАНЫ И ПОВЕСТИ

АКСЕНОВ Василий. Затоваренная бочкотара. (Послесловие Е. Сидорова)	3
АЛЕКСИН Анатолий. Поздний ребенок	5
АМИЛИНСКИЙ Владимир. Жизнь Эрнста Шаталова. (Послесловие Бориса Полевого)	12
БАГРЯК П. Месть	8, 9
ГЕРАСИМОВ Иосиф. Двадцать второго	9
КАРЕЛИН ЛАЗАРЬ. В доме оружейника	1
МИНУТКО Игорь. Двенадцатый двор	1, 2
МИХАЙЛОВА Марина. Большая Медведица плюс Южный Крест	7
ОРЛОВ Владимир. После дождика в четверг	10, 11
ПРИСТАВКИН Анатолий. Птушенка	4
СКОП Юрий. TV-104 и другие	6
ТАМАРИНА Г. Спохохи	2
УВАРОВА Людмила. Мытная улица	4
УНТ Мати. О возможности жизни в космосе	7
ЯКИМЕНКО Л. Дороги	5

РАССКАЗЫ

АНТРОПОВ Юрий. Роевник де-душки Ераса	12
АРКАНОВ Аркадий. Прыжок в высоту с разбега	4
БААЛЬ Вольдемар. Ваня	6
БАРУЗДИН Сергей. Васа — Маточкин шар	8
ВОЛОДАРСКИЙ Эдуард. Бешеная	7
ГЕНАТУЛИН А. Две недели	11
ИБРАГИМБЕКОВ Мансур. Дороги нашего детства	6
КАЗАНОВ Борис. Афоня	12
КНОРРЕ Ф. Ночной звонок	3
КОРОБОВ Алексей. Запасной	8
КУКУШКИН Николай. Всего хорошего	2
ЛАСКИН Борис. Папа и мама	11
ЛЕСС Ал. Невыдуманные новеллы	4
ЛЬВОВ Аркадий. Сухой Лиман	8
ЛЬВОВ Сергей. Друг моего детства	12
РОСЛЯКОВ Василий. ...И слезы первые любви. Двое в августе	3
СИЛЕЦКИЙ Александр. Обыкновенный уникум	12
ХОЛЕНДРО Дмитрий. Лев и Роза. Игрушки	8
ЧИЛАДЗЕ Тамаз. Жатва	10

СТИХИ И ПОЭМЫ

АБАШИДЗЕ Григор. Зов. «Мгновенный мир — мы, по нему скользят...». Осень	4
АЗИЗОВ Альберт. «Гроза прошла, казарма опустела...»	7
АМАШУКЕЛИ Резо. Апрель. «Я знаю: прогресс победит...». Село Шрома. «Не выдержали и сбегали...». «Я судьбою опять удостоен...». Старый рыбац	4
АХМАТОВА Анна. Надпись на книге	3
БАБАЕВ Ибрагим. Летний лес. «Пищу о зиме, и, сходя, застывают...»	7
БАЛАШОВ Эдуард. «Я у Нарвских ворот...»	3
БАРАТАШВИЛИ Николоз. Ме-	

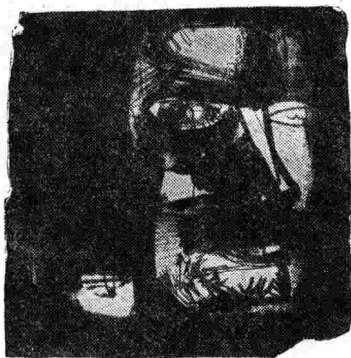
рани. Злобный дух. Одинокая душа. Моим друзьям. Раздумья на берегу Куры	9
БАРМИЧЕВ Валерий. Проводы Пушкина. «Все отошло. И отшумело...»	7
БАРТО Агния. В пустой квартире. Я люблю ходить вдвоем. Мы в парк идем	11
БЕЛКИН Владилен. «Из плена каменных ночей...»	5
БЕРЕСТОВ Валентин. Фляга. Конь. Водораздел. Подражание восточному. Словарь тоски. Птица. Пава. Утешение. Агния Барто	5
БОКОВ Виктор. У моря и у гор: Абхазия. Не просто мне. В ущелье. Терек	10
БОТВИННИК Семен. «Есть чудо внезапных страстей...»	3
БРОВКА Петрус. Ровесники	9
ВАГАБЗАДЕ Бахтияр. «Откликнись, строка, словно эхо». Ответ. Карусель	10
ВАНШЕНКИН Константин. «От всех мадонн, стоящих у развилки...». «В дни тишины и в годы грозные...». Концерт. «Закат на стволах погас...». «Темнея колонной ствола...». «В природе наметился спад...». «Право, это вовсе ничего...». Пугник. «Утеряны в жизни тобой...». «Родинка смешная на щеке...»	2
ВАССЕРМАН Ян. Кыты. «Остался в географии невеждой...»	7
ВЕГИН Петр. Петроградский экспресс. «Я все забыл — деревья и цветы...»	11
ВЕКСЛЕР Ася. «Падали, не дойдя до конца...». «Казалось, что в невыпавшей росе...». «Что случилось! Спокойная до грусти...». «Со снегом белым были в связи...». «Где скрипка — листовую...»	3
ВИНОКУРОВ Евгений. Из военного дневника. Сейчас. Вера в себя. «Лишь мыслью будешь ты пробить...». Бессонница. Сонет о пределе. Индийская философия. Монумент в Кракове	2
Кама. 1941. Настроение. Рабле. Омар Хайям. Абсурд. Я понимаю...	12
ВЫШЕСЛАВСКИЙ Леонид. Его весеннее тепло	4
ГАМЗАТОВ Расул. Гроза. «Сегодня ночью было мне виденье...». Помогите! Прости	9
ГИН Виктор. «Когда закат багров и гулок...». «Когда случается, что не с кем...». «Я знаю, был я не виновен...»	7
ГИТОВИЧ Александр. Памяти Анны Ахматовой. Воспоминание. Моим читателям. Остров святой Надежды	3
ГЛАЗОВ Григорий. Моя старая фотография	5
ГОЛУБКОВ Дмитрий. Осенние прогулки. «Дождя конец. Опять смуглеют лица». «Наука уходить. Уменье в срок...». Женщине	12
ГОРДЕЙЧЕВ Владимир. Курортная баллада. Горные вершины	9
ДЕМЕНТЬЕВ Андрей. «Грустит ночами старый дом...». Зависть. «Поселилась древняя Помпея...». «Стареет поколение мое...». «Людей друг у друга крадут...». «Я помню первый день войны...»	11
ДМИТРИЕВ Олег. «Вот я иду, влюбленный...». Тишина подмосковных перронов. Псков	11
ДОРИЗО Николай. Слава. «Моя любовь — загадка века...». «Мне бы себя не пережить...». Тост	5
ДРОФЕНКО Сергей. «Стучат за лесом поезда...». «Умирает атеист...». «Живописец тщедушный с бородкой...». Праздники	4
ДРУНИНА Юлия. «Когда пройдут с песней батальоны...». «Я опять о своем, невеселом...». «Над Россией шумели крыла похоронок...». «Я люблю тебя злого...»	2
ДУБРОВИН Борис. Немедленная готовность. «С полетами сейчас повременили...»	2
ДЫМОВА Лорина. Муза. «Предчувствие какой-то встречи...»	7
ЕВТУШЕНКО Евгений. Из баллады о темах. Декабристские лиственницы. Баллада о ложных маяках. Мой почерк. За молочком. Баллада о ласточке	1
ЕМЕЛЬЯНОВ Виктор. Мои ученики. Луна	5
ЖИГУЛИН Анатолий. Коршево. «Вот и жизнь пошла на убыль...»	4
ЗАВАЛЬНИК Леонид. «Забить про все, стихи писать...». «Пустой паром пронесит по реке...». «Маркшейдер, словно цапля, длинноног...». Ночь. Подранок	4
ЗЛОТНИКОВ Натан. «Октябрьским лесом утомлен...». «Когда ты уезжала и когда...». «Еще не снился первый лед...». «Звезда горит среди бела дня...». «Легко оставил я стальщик...». «Деревянный Звенигород канет...». «Печально, друг, на этом полустанке...». «Ничто не изменится все же...». «Забитый сад. Я холодею...». «Все чаще, все легче, все чище...»	9
КАЗАКОВА Римма. «Мне знакомо это чувство...». Тишина. Сказка	8
КАЗАНЦЕВ Василий. Дорога домой. «По полю, по травам, как легкая тень...». «О солнце второй половины зимы...». «Снежинок белые иголки...». Кедр	3
КАРИМ Мустай. Когда заболела моя мать	8
КАШЕЖЕВА Инна. Декабри. «Стареет эпоха металла...»	3
КЕРБАБАЕВ Берды. Шести-стишья	11
КОВДА Вадим. Зима. Автобус 6.30. «А, может, мир вокруг недоустроен...»	7
КОРНИЕНКО Владимир. Бухтарма	7
КОСЬКОВ Лев. Ленинград. «Вьет виноград задумчиво вдоль окон...». «Огни далекие перронов...»	7
КРАСКО Валерий. Конец лета	7
КУГУЛЬТИНОВ Давид. «Я помню трудные года...». «Скляная к трубке телефонной...». «Малыш игрушку бросил дорожную...». Сквозь века. «Солнцем напоен досыта воздух...»	1
КУЗНЕЦОВ Юрий. Отец. Пилотка	7
КУЗОВЛЕВА Татьяна. «Темно-головая девочка Оля...»	3
КУНЯЕВ Станислав. Южный бе-	

рег. «Опять высокая вода...» «На рассвете холодная дрожь...». «Гуляет ветер в камыше...». «Пучина каспий- ская глухо...». «Как посвет- дела к осени вода...». «Уви- деть родину весной...»		РЕЗНИК Валентин. Россия . РОГОВ Алексей. Лошади. «Вот отплывает парходик...»	7	шарманщику Шава из каба- ка «Бетани»	1
КУШНЕР Александр. Баллада. «Я был в тот вечер вкрадчи- вою тенью...». «Средь соли- ца, ветра и дождя...»	8	РУБИН Валерий. Бухара — Урал	7	ШАЛАМОВ Варлам. «Рассказа- но людям немного...». Про- щание. Рязанские страда- ния. «Мне снова жажда ви- жет губы...». Пушкинский вальс для школьников. «Вче- ра я кончил эту книжку...».	8
ЛАПИН Владимир. Детское творчество	11	РУБЦОВ Николай. Ночь на ро- дине. Кунавы. Синенький платочек. Ты с кораблем прощалась	3	«В воле твоей — остано- вить...»	5
ЛЕВИТАНСКИЙ Юрий. Из кни- ги «Кинематограф»: Тревож- ное отступление. Как пока- зать зиму. Взаимосвязи. Как показать весну	7	РЫЛЕНКОВ Николай. «И сам бы я хотел забыть...». «Не затем ли бродил я по дебрям лосиным...». «Как пчелы ле- тят к цветам медоносным...»	12	ШАМАНСУР Юсуф. Карандаш ШЕФНЕР Вадим. Переулочек па- мяти. Ступени. Дворец. На пенсии. «Ты, детство, — золо- тое дно...». Смех на раз- валинах	7
ЛИСЯНСКИЙ Марк. «Правый берег в огне...». «Я высту- пал в концертных залах...».	9	РЯБИНИНА Наталья. «Все мне чужится...»	7	ШКЛЯРЕВСКИЙ Игорь. «Слы- шу птиц улетающих кри- ки...». «Вдруг я живу рыбу отпустил...». Веселая балла- да. «Журавль, хромающий в небе...». «Визжащий дождь мой лоб остудит...». «Дрожал июнь, и ночью лунной...».	8
Алые маки. Наши матери. Грусть	4	САВЕЛЬЕВ Иван. Утро . . . САДРИ МУХАМЕД. Моя От- чизна	7	«В Пропойще — май! Коза жует афишу...». «Всем не страшно заблудиться...».	
МАРКИШ Давид. Откровение. «В долинах разлегшихся...»	7	САДЫК Фикрет. «Вдыхаю солнце, воздух пью...». Тро- па. Самолет	9	«Еще и воздух не остыл...».	
МАРТЫНОВ Леонид. Былое. «Не сочтешь...». Ильин день. Строптивый нрав. Тетрадь. Детский мир. Надо бы съез- дить в деревню. Дневники. Старое поле. «Язычники, христиане, буддисты, мага- метане, оставьте бомбоме- танье...». Хвост земли . . .	5	САЙЯР. Мой стих	10	«Ярко горели сухие дро- ва...»	
МАРЦИНЬЯВИЧУС Юстинас. В это утро. Из летних впечат- лений. Каникулы. «Ты, что идешь и проходишь...». Гром, елка и портной. Почти серь- езно	12	СЕМЕНОВ Глеб. Верховья. «Моя зима — мой снег — мои сле- ды...». Бах	11		
МАРЧЕНКО Эмма. Детство. «Вот зеленою краской забор подновил...»	7	СЕНКЕВИЧ Александр. «Опять тепло. Мир отошел от сна...»	7		
МЕРЕЖНИКОВ Николай. «А знаете, наверно, нелегко...».	7	СИМОНЕНКО Василь. Край лю- бимый. Слышу голос . . .	7		
«И вдруг — бог весть отку- да...». «Набухли кроны вла- гою дождя...»	7	СЛУЦКИЙ Борис. «Россия уве- личивала нас...». «Брали на обед по три вторых...». Род- ной язык. Светлые окна. Дом. Погоня. Величие души. «Поэта подбирают, как ходо- ка...». «Скамейка на десятом этаже...». «Ответственные по- вестования...»	10		
МИЛЛЕР Лариса. «А у нас ни двора, ни кола...». «А у меня всего одна картина...»	7	СМЕЛЯКОВ Ярослав. Сирень. Зарядка в Гагре. Володя. Колокольчики	3		
МОРИЦ Юнна. Таврида. Зей- дер-Зее. «В том городе мне было двадцать лет...». «Я ни- куда не уйду...». «И коло- кол в дупле часовенки пу- стой...». «Когда четыре ветра в пустоте...». Ялта	6	СОЛНЦЕВ Роман. Барьер Ура- ла. «Грозы отошли за Мекки и за Ниццы...». «Ждал уни- жения, что ли...». «В лесу — чудес, как синих клякс во- круг стола...»	10		
НАСУНОВ Джангр. «Бил пуле- мет отчетливо и хлестко...».	7	СТЕПАНЮК Борислав. Ульяна и Демон	10		
Снова на коне. Картошка . НЕВСКАЯ Тамара. «Мы горо- жане. Мы привыкли так...»	12	СУРКОВ Алексей. Через плоти- ну лет	6		
Поют протяжно плотогоны. «Я разучилась находить грибы...»	4	УКАЧИН Борис. «Годы долгие дома родимого я не видал...»	7		
НОНЕШВИЛИ Иосиф. Не ищи- те могилы Руставели. Снова мне в душу весна ворва- лась	4	УРИН Виктор. Легенда о шлеме ФОНЯКОВ Илья. Путешествие к истоку	11		
ОКУДЖАВА Булат. Путешест- вие по ночной Варшаве в дрожах. Времена. Цирк . ПАТТЕРСОН Джемс. Обраще- ние к веку	2	ХИМЕТ Назым. Воскресенье. Как житье-бытье? Сон Ибра- гима. Завистник. Улудаг. «Четыре часа, ты не при- шла...». Грусть. 20 сентяб- ря 1945. 22 сентября 1945. 23 сентября 1945. 24 сентяб- ря 1945. 6 октября 1945. 8 октября 1945. 10 октября 1945. 27 октября 1945. 28 октября 1945. 30 октября 1945. 5 ноября 1945.	5		
ПЕТРОВ Владимир. «Загля- жусь ли на воды пристраст- но...». «Не слюбилось оно. Не стерпелось...». «Я восхожу по ребрам сходен...»	9	ХРАМОВ Евгений. В лесу. «Средь недель, друг на дру- га похожих...». «Я это в па- мяти берегу...». «Целую твои тоненькие руки...»	11		
ПЕТУХОВ Анатолий. Родня. «Я пойду по линии, по шпа- лам...»	7	ХРИЛЕВ Леонид. «Маша, будь умницей...». «Года из памя- ти восходят чередой». Ба- гульник	12		
ПИРГОВА Наталья. Свадьба. «Небо летное. Ветер жу- чий...»	7	ЧАПКА Екатерина. «Уже от- тенекал дождь по кры- шам...». «Люблю смотреть на солнечный заход...»	7		
ПОТАПЕНКОВ Николай. Стихи о тепле. Лазареты 41-го . . .	3	ЧИЛАДЗЕ Отар. В горах. «Вре- мя настанет: днем или но- чью...»	4		
ПОТЕХИНА Ирина. «Влиянье ль слова, жеста беглого...».	7	ЧУХИН Сергей. «Свалянные травы под ногами...». «Оси- новые крупные листья...»	7		
«Уезжаю от белых ночей!...».	7	ЧУХОНЦЕВ Олег. «Душа че- му-то противостоит...». По- вестование о Курбском. Монолог Каховского. Чаа- даев на Басманной. Север- ный месяц. Обращение к	3		
«А случилось это далеко»					
ПРЕЛОВСКИЙ Анатолий. Во- рон. Хлеб. Два мальчика, Сибирь, стихи	3				

Д. Сарабьянов

ШЕСТЕРО ИЗ АРМЕНИИ

При мысли об армянской живописи мы привыкли представлять себе яркие краски, сильные цветовые контрасты; нам кажется, что жаркое южное солнце всегда должно быть главным источником армянского искусства. Но такое суждение поверхностно. Традиции армянского искусства разнообразны. Фантастическая средневековая скульптура, изысканная, отточенная графика старых миниатюристов, простодушная портретная живопись художника середины прошлого столетия Овнатяна, смелая декоративность нашего современника Мартироса Сарьяна — вот разные грани этого богатого наследия.



Г. Элибекян.
Автопортрет.

Молодые армянские художники расширили за последнее время круг отечественных традиций; они отказались от «национальных штампов», наметившихся было в армянской живописи. Это качество проявилось на выставке шести молодых ереванских художников в редакции журнала «Юность».

Участники выставки разные. Они несхожи не только индивидуальностями дарований, но и характером поисков. Неравнозначны и таланты художников, и глубина их отношения к собственному творчеству, и степень зрелости. Шесть художников как бы представляют разные направления того широкого фронта, которым движется сегодняшняя живопись, скульптура и графика в Армении.

Можно было бы составить выставку по-другому, собрав на ней мастеров, более близких по духу. Экспозиция была бы тогда более цельной и строгой. Но она не отразила бы широты и разносторонности исканий.

Насколько молодое армянское искусство ушло вперед от привычных представлений, показывает графика. На выставке два художника, представивших графические листы. Один — скульптор Араман Шираз, другой — живописец Генрих Элибекян. Графика была для них прежде «побочной профессией», но сейчас она увлекла их всерьез.

Генрих Элибекян любит эксперимент. Его не устраивают старые, сложившиеся приемы и техника графического изображения. Лишь немногие его листы сделаны в технике литографии и офорта. Большинство же — гравюры на картоне и пластмассе или рисунки, в которых смешаны темпера, гуашь, акварель, тушь, пастель. Фактура листа — один из главных объектов внимания художника. Он обрабатывает лист умело, но свободно, подчиняясь творческой интуиции, стремясь сохранить всю непосредственность художниче-

ского порыва. Интерес к форме, к технике, к приему закономерен. Элибекян ищет разнообразные способы претворения, переосмысления мира; он никогда не копирует то, что видит. Его образы построены на метафорах, сопоставлениях, ассоциациях. Естественно, что графический язык становится способом «переложения» реального мира в мир образный.

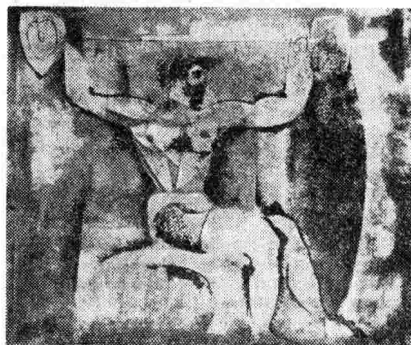
Шираз в графике представляет то же направление. Разница между ними в технике (Шираз предпочитает технику монотипии) и в том, что образный мир этого графика более конкретен. А в некоторых вещах за графическим образом явственно вырисовывается скульптурный. Графика оказывается поэтому не только самостоятельным видом творчества, но и помощником скульптуры.

В этом интересе к графике скульптор Шираз не одинок. В ереванских мастерских скульпторов часто увидишь интересные графические листы. Графическое мышление вступает в союз с пластическим на основании общих законов современного видения мира. Ереванские скульпторы часто стремятся к декоративности, к выявлению ритма на плоскости, к разработке невысокого рельефа. Графика оказывается на этих путях своеобразной лабораторией.

Интересам декоративности подчинены показанные на выставке работы Юрия Петросяна. Они выполнены в дереве, и, хотя невелики по размерам, их легко представить увеличенными, украшающими стены интерьеров или установленными на открытом воздухе среди зелени. Петросян чаще обращается к женским образам. Он ищет лиризма в их столкновении — в основном ритмическими средствами, мягкостью контура, используя фактуру материала.

Среди живописцев самым интересным и самостоятельным представляется мне Роберт Элибекян. У него есть своя тема, которой он занят уже многие годы, свой мир поэтических представлений, своя живописная гамма. Чаще всего Роберт изображает двух женщин в интерьере. Погруженные в себя или как бы занятые бессловесной беседой — внутренним общением, эти женщины отделены от прозы повседневного бытия, они переносят нас в сферу мечты, вымысла, чистого чувства. В этих картинах нет ни действия, ни события. Время в них словно остановлено, движения замедлены. В этом мире, лишенном суеты, каждая мелочь приобретает ценность, и художник стремится найти своеобразный эквивалент этой ценности в пластике, композиции, живописном строе. Мягкая ритмика линий и пятен, нежные цветовые переходы и отношения, бережность касания кистью поверхности холста — все эти качества и делают живопись Элибекяна своеобразной и индивидуальной.

В натюрмортах и портретах Эдмона Закаряна чувствуется стремление «строить» картину, а не просто переносить натуру на холст. Однако, опираясь на



А. Шираз.
Атлет.

опыт предшествующей живописи, художник не всегда умеет преодолеть влияния, прийти к цельности художественного образа.

У Рубена Гевондяна уже есть свой голос. Условные, обобщенные формы, привычные мотивы (девушки с кувшинами, фигура у колыбели), четкий контурный рисунок, декоративный принцип цветового решения — все это уже найдено, как будто отстоялось и, кажется, «не собирается» видоизменяться. Однако, мне кажется, Гевондяна подстерегает опасность повторений, стилизации, опасность легкого пути — использования уже найденного.

Какими бы ни были соображения критика или зрителя по поводу отдельных работ, в целом выставка не может не вызвать радостного чувства. Она — свидетельство движения, исканий, перспектив.

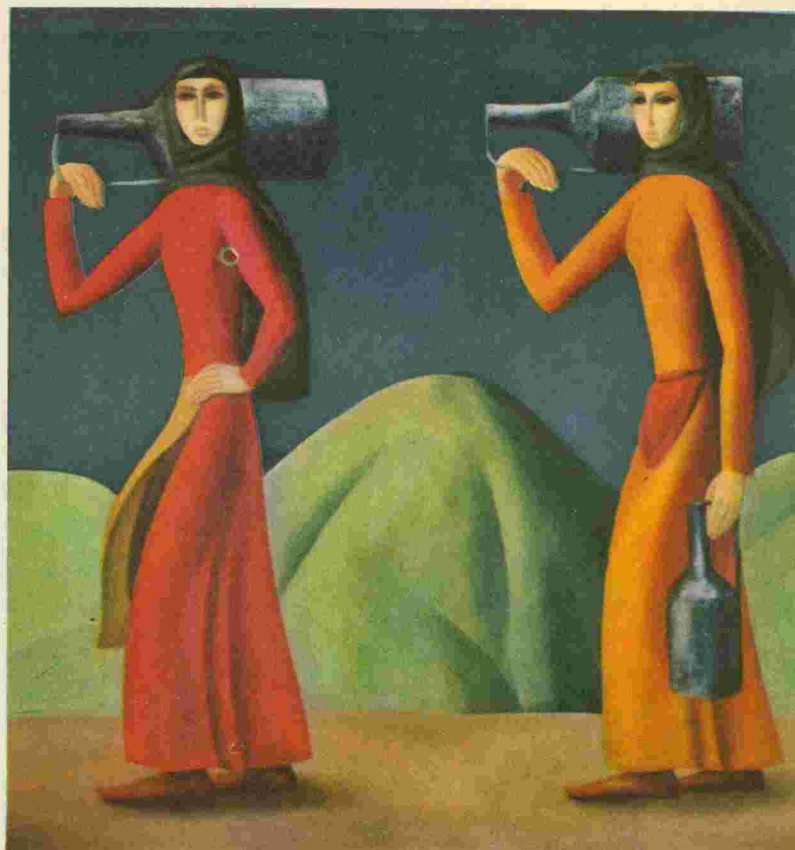
На стендах
«ЮНОСТИ»

**МОЛОДЫЕ ХУДОЖНИКИ
АРМЕНИИ.**



Ю. Петросян.

Портрет Асмик (дерево).



Р. Гевондян.

Девушки.



Р. Элибекян.

Цирк.



Э. Закарян.

Автопортрет.



Цена 40 коп.

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Первый заместитель главного редактора
С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ,
В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120.